

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

8/2016

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

Содержание

ПРОЗА

Урмас СООС. Цена мечты. Рассказы.	3
Валерия ИВАНОВА. Чужая музыка. Рассказы.	55
Наталья КОВАЛЁВА. Билет в другие времена. Рассказ.	73
Александра НИКОЛАЕНКО. Цветные сны. Рассказы.	97

ПОЭЗИЯ

Андрей БОЛДЫРЕВ. Молчание сверчка. Стихи.	51
Серафима САПРЫКИНА. Скорбные места. Стихи.	69
Евгений БАБИКОВ. Предпоследние годы. Стихи.	93
Евленья ВИНОГРАДОВА. Стрекоза в стекляшке. Стихи.	112

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Всеволод ИВАНОВ. Проспект Ильича. Роман. Продолжение.	117
---	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир КОСТИН. Эпоха великой засухи.	153
--	-----

Народные мемуары

Пётр МУРАТОВ. Погреб.	161
-----------------------------------	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Издано в Сибири.	182
------------------------------	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Светлана ГОЛИКОВА. Из наследия Александра Заковряшина. Портреты писателей.	189
--	-----

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Урмас СООС

ЦЕНА МЕЧТЫ

Р а с с к а з ы

Серенький козлик

Кризис поджигал. Деньги в кошелке таяли серым сугробом в весенний солнечный день, новых поступлений не ожидалось, и я, отложив все остальные дела, поехал бомбить.

Пока не везло. Мы с «копеечкой» доехали уже до Черной речки, но попутчиков не попадалось. Вдруг я увидел впереди на противоположной стороне улицы чью-то вытянутую руку и замедлил ход. Встречные машины не останавливались, образовался просвет, я резким движением рванул руль влево и развернулся точно перед клиентом, радуясь почину. Резкий визг тормозов прервал радость: прямо мне в лоб с бешеной скоростью летела черная BMW, уткнувшись мордой в асфальт и тормозя с дымом из-под колес. Пальцы, вцепившиеся в руль, побелели, все тело будто парализовало. «Копеечка» тоже сильно дрожала.

Страшная черная машина остановилась в метре от нас, оттуда выскочили три амбала в черной коже. Самый здоровый рванул дверцу жигуля, одним движением вытащил меня наружу и кинул на бежевый, с пятнами ржавчины капот.

— Ты совсем?.. Ты понимаешь, какого... ты сейчас?.. Да я тебя!.. — заорал он на меня.

Сопротивляться или возражать было бесполезно — я был виноват, хотя до сих пор не понимаю, откуда взялась эта BMW, я ведь перед разворотом успел глянуть в зеркало.

Я лежал на капоте тихо, не шевелясь. Прочие машины и люди тихонечко огибали нас, стараясь смотреть в сторону. Мы с «копеечкой» были одиноки против этих монстров в гуще большого города. Из-за широченных плеч амбала вынырнул человек нормального размера с более-менее осмысленным взглядом — их главный, шеф.

— Тебе жить надоело? — спросил он меня ласково.

Я молчал, только теперь поняв, как смотрит кролик на удава.

— Паспорт есть?

Сглотнув сухую слюну, я отрицательно покачал головой.

— А что есть?

— Права... — еле выдавил я.

— Давай!

Аккуратно, стараясь не совершать резких движений, я вытащил кошелек и протянул ему. Он брезгливо заглянул внутрь, вытащил права.

— Так, Урмас... поедешь с нами.

— Зачем? Может, здесь? — пискнул я.

Он посмотрел на меня — и я сник.

Один из бугаев протянул шефу мобильный телефон. Тот приложил его к уху, посмотрел на едва различимое над домами небо и негромко сказал:

— Так, срываемся.

Через полминуты не было ни братвы, ни шефа, ни BMW. Я медленно стек с капота на асфальт, пытаясь осмыслить, что сейчас произошло.

— Давайте я вам помогу... — прорвался в мой закукленный мозг незнакомый голос.

Я сидел на асфальте, прислонившись спиной к колесу. «Копейку» трясло крупной дрожью, которая через колесо передавалась мне. В руке я сжимал свой кошелек. А надо мной склонился пожилой, не очень опрятный, но приятный мужчина с тревогой во взгляде.

Я вскочил. «Копейка» уже даже не тряслась, а крупно вздрагивала. Заглянул в кабину — мотор перегрелся. Я выключил двигатель и ответил старичку:

— Спасибо, все нормально.

— Вас ограбили, я видел. Я могу выступить свидетелем...

— Нет, спасибо, не надо. Никто меня не грабил, я чуть аварию не устроил, а они рассердились...

— Вам успокоиться надо, у вас руки трясутся.

Я кивнул: руки у меня действительно тряслись.

— Мне надо кофе выпить. Может, вы мне компанию составите?

Он задумался и, после некоторой внутренней борьбы, сказал:

— Я бы с удовольствием, но у меня пенсия, и вообще, мне уже пора идти, а то на электричку опоздаю.

Мне не хотелось его отпускать:

— Вон кафе напротив, там кофе по-турецки делают. Я вас угощаю, а потом отвезу, куда скажете. Пожалуйста...

Он еще пытался сопротивляться:

— Да вы ж, наверное, тоже не миллионер, да и неудобно, что так...

— Удобно-удобно... — ответил я, уже улыбаясь. — Нынче так редко в людях участие встретишь, что просто так я вас не отпускаю.

Пока мы пили кофе и знакомились, я перестал дрожать да и «копеечка» остыла. Мы вышли, и я спросил Виктора (так звали нашего нового знакомого):

— Так куда вас отвезти?

— Вы знаете, я, наверное, на метро, спасибо, вы меня и так хорошим кофе угостили. Правда, электричку я уже пропустил, следующая через час.

— Давайте я вас отвезу прямо домой? Работать сегодня все равно не получится, а, когда я за рулем за городом, это успокаивает.

После недолгого сопротивления он согласился. «Копейка» вырвалась из города и понеслась вдоль побережья Финского залива.

Любая машина, даже самая мелкая, мечтает о дальней дороге, когда вместо унылого ползания по давно изученному и потому скучному лабиринту городских улиц вылетаешь на бесконечную трассу. Цель поездки становится неважной, а ее приближение, означающее скорый конец дороги, вызывает скорее раздражение, чем радость — все подчиняется процессу движения. Уплотнившийся от скорости свежий воздух усиленно нагнетает горючую смесь в цилиндры, туго бьет в лобовое стекло и гнет в дугу антенну. За окном проносятся виды, сменяя друг друга, как кадры в телерекламе, без видимой логической последовательности: лес, речка, деревня, поле, бензоколонка, перекресток, грузовик пылит вдали, неопрятный придорожный магазинчик, снова поле... Когда нам удавалось вырваться на свободу, мы менялись ролями и «копейка» безудержно неслась вперед, а я ее сдерживал. Такое выходило нечасто, но сегодня случилось.

Я молча наслаждался движением и единением с бежевой подругой. В городе хлопотно и суетливо, только на трассе полностью сливаешься с машиной. Виктор же скучал и рассказывал о своей жизни. Живет он в доме, на краю дачной деревни на Карельском перешейке. Раньше жил в городе, но после того, как дети, сын и дочка, разъехались кто куда (сын в Израиль, а дочка — в Сибирь, в военный гарнизон), они с женой поменяли квартиру на дом в деревне и обосновались там. Им нравился такой образ жизни, но жена через год умерла — инсульт: пока добрался до телефона, пока «скорая» приехала, уже упустили... А теперь он живет бобылем, но старается себя и хозяйство не запускать: «Есть причины», — загадочно подмигнул он. Я подмигнул в ответ, ухмыльнувшись про себя.

Враскачку, по неровной грунтовке мы въехали в тупичок на окраине небольшого дачного поселка.

— Вот здесь, — указал Виктор на слегка покосившиеся, но еще прочные ворота, крашенные шаровой краской.

«Копеечка» остановилась. Напротив, перекрывая вид, высился мрачный кирпичный забор с железными воротами. А над ним торчала вершина замкоподобного трехэтажного сооружения, резавшего глаз своей аляповатостью после потрясающе красивых, но не бросающихся в глаза домов Петроградской стороны. Я сразу вспомнил шефа из того черного BMW — наверняка у него такое же уродище.

— Соседи не мешают? — спросил я.

— Не мешают, — добро улыбнулся Виктор и добавил: — Кофе, извините, нету, но без чая я вас не отпущу.

Я согласно кивнул и, толкнув дверцу, вышел на свежий воздух, резко пахнущий деревней, свежестью и солнцем. Виктор просунул руку в щель в заборе и открыл изнутри щеколду, потом толкнул калитку и жестом пригласил меня войти. Я похлопал «копейку» по теплomu боку, запер дверцы и шагнул к калитке.

Не слишком ухоженный участок был приятен глазу: вместо стройных грядок большую часть участка занимал лужок. Газоном назвать его было



нельзя в силу нестрижености и кочковатости. Ближе к забору сбились вместе несколько разросшихся корявых деревьев, кажется яблонь, а чуть подальше виднелись шары смородиновых кустов. Все было уютно и практично. Я посмотрел в другую сторону и вытаращил глаза — на меня несся грязно-серый ком. Едва успел отскочить, как мимо просвистел небольшой козел, даже козленок. Он тут же остановился, развернулся и снова помчался на меня.

Виктор перехватил козленка за рога и прижал его голову к земле:

— Извините, это он так играет, молодой еще.

Я пожал плечами.

— Это Серый, его так зовут, вообще-то он не мой, — продолжил Виктор.

Я удивленно вздернул брови.

— Ну да, запутал я вас совсем. Пойдемте в дом, я за чаем объясню.

Вскоре на допотопной газовой плите загудел чайник, на столе появились сушки, мед и домашнее варенье. Хозяин был домовитый — все в доме было прочное, добротное, хотя и не очень аккуратное. Чувствовалось отсутствие женской руки. Он заварил чай, и в воздухе явственно запахло душистыми травами, у меня даже потекли слюнки — ужасно захотелось хлебнуть горяченького и зажевать сушкой.

В окно что-то стукнуло. Я оглянулся, но увидел только мелькнувшую тень.

— Анюта, — улыбнулся Виктор и встал.

Дверь открылась, и вошла молодая женщина.

— Здравствуйте, дядя Вить! — поздоровалась она. — Серый опять к вам сбежал?

Ухоженная, со вкусом одетая, она была будто из другого мира. Не то чтобы красива броской яркостью городских девиц — просто радовала глаз доброй улыбкой и правильными формами. Ее присутствие здесь сначала показалось диссонансом, но, когда я увидел, как она по-домашнему улыбается хозяину дома, чувство неловкости пропало.

Она увидела меня, улыбка ее сошла с лица, взгляд насторожился.

— Анюта, это мой гость... — засуетился Виктор. — Его бандиты чуть не ограбили, вот я и позвал чаю попить.

Я встал и представился:

— Здравствуйте, я Урмас, только меня не грабили, я сам чуть аварию не устроил.

На ее лице отразилось удивление.

— Анечка, садись с нами, — пригласил хозяин.

Гостья посмотрела на меня, на секунду задумалась и отказалась:

— Нет, дядь Вить, спасибо, я побегу. Вы Серого потом ко мне загоните, ладно?

— Обязательно! — согласился Виктор. — А может, все-таки чаю?

— Нет, я побежала. Всего! — Она улыбнулась хозяину, холодно кивнула мне и пропала.

За окном снова мелькнула тень. Виктор смотрел в окно.

— Так это ее козлик, да? — спросил я.

Он встрепенулся:

— Серый-то? Да, ее. Анюта подобрала его. Кто-то привязал его к столбу на пустыре и оставил, он там три дня блял. Она его к себе забрала, усыновила вроде, с мужем поругалась из-за этого, а оставила себе.

Он налил себе еще чая и медленно, обстоятельно начал рассказывать, аппетитно прихлебывая из большой чашки.

— Аня — она вон в том доме живет, напротив. — Он показал на тот самый аляповатый замок. — Она не работает, дома сидит. Это летом, конечно, а так-то у них квартира в городе. А это — вроде как дача. Когда они сюда приехали, скучно ей было после города. А тут этот козленок... Она его усыновила, а что с ним делать, не знает. Ну, у меня и спросила. Я вообще-то тоже в козах не очень, но разобрались, что к чему. Анюта теперь часто ко мне забегает — и на чаек, и так, поболтать, всякими деликатесами балует, попробовать приносит. Вот эту гусиную печень, как ее?... Фута га?..

— Фуа-гра? — переспросил я.

— Во-во, она самая. Интересно, но мне не понравилось. Сало, ежели с чесноком, да с прожилочкой... или, например, груздь соленый... куда как лучше, особенно если под рюмочку.

Мне было уютно и спокойно. Я не перебивал, не спрашивал, даже почти не слушал, пребывая в каком-то взвешенном состоянии.

А он продолжал:

— Муж ее сперва косился, даже зашел узнать, куда это его жена бежит. А потом даже и обрадовался, что я такой неказистый, но поболтать люблю. Но вы не подумайте, муж ее не из тех бандитов, что на вас сегодня напали, он... биз-нес-мен, — Виктор аккуратно, по слогам произнес это сложное слово, — и вообще, хороший человек, но суетный какой-то, все ему быстро надо, раз-два — и дальше бежать. Даже чаю тогда не попил. И на жену времени не хватает, все дела разные. Зато придумал проход между заборами сделать, мол, нечего Ане по улице у всех на виду бегать, мало ли кто что скажет. Посмотрите вот...

Мне пришлось встать с уютного продавленного стула и выглянуть в окно. Скосив взгляд совсем в сторону, я увидел небольшую деревянную дверцу в глухом заборе.

— Мы эту дверь не запираем. Серый любит ко мне бегать. Боднет с той стороны и ко мне бежит, зелень щипать. Там-то, за забором, газон стриженный... да розарий, особо не развернешься, а у меня — ешь не хочу. А назад ему никак, дверь в эту сторону открывается.

Он подлил себе чаю и продолжил:

— А мне Анюта... как дочка: свою-то я почитаю и не вижу годами. А тут — такая интересная, образованная, столько мне рассказывает всего. И я ей помогаю, Серого вместе растим, как внук он почти. У меня своих-то пока нету.

У меня начали слипаться глаза. Я протер их, тряхнул головой и сказал:



— Спасибо вам, выручили вы меня.

— Да чем выручил-то? — всплеснул руками хозяин. — Это вы меня подвезли, хотя чай, конечно, у меня хороший, я туда чабрец добавляю и еще...

— За чай спасибо, но не в чае дело, — перебил его я. — Вы мне веру в людей сегодня вернули. Вы сами, и соседка ваша, и даже муж ее, и уж, конечно, козлик усыновленный.

Я встал и почему-то, неожиданно для себя, поклонился ему, положив руку на грудь.

— Какая вера? Вы о чем? — Виктор смотрел на меня ласково, как на неопасно помешанного.

— Сейчас каждый сам за себя, как в джунглях, в каменных джунглях, — сбивчиво объяснял я. — Понимаете, родные, несколько близких друзей... и все, больше ты никого не интересуешь, разве только в качестве мишени. Эти... — я пошевелил пальцами, не желая произносить вслух, — утром могли убить меня... и никто бы ничего не заметил. А вы подошли, помогли. И у вас тут козлик, калитка незапертая между дворами, Аня на чай приходит... Здорово тут у вас. Спасибо вам большое, мне пора ехать.

Я сделал шаг к двери.

— И тебе спасибо, — Виктор перешел на «ты».

На улице меня поджидал Серый, сразу кинувшись в атаку. Я схватил его за рожки, они удобно ложились в руки, и стал качать его голову влево-вправо. Серый попробовал вырваться, но сил явно не хватало. Тогда он смиренно сдался, позволяя мне качать его головой. Я отпустил козленка, он отбежал назад и тут же, пританцовывая задними ногами, ускакал за дом.

— Уже с Серым подружился, — улыбаясь сказал Виктор.

Запыленная «копеечка» ждала меня за воротами. Она не бросилась бодаться, а только радостно скрипнула, когда я подошел. Виктор, шедший за мной, протянул мне руку. Я пожал ее, получив в ответ крепкое пожатие рабочей мужской ладони.

— До свидания, здорово тут у вас! — попрощался я.

— А ты заходи, в любое время, — ответил он. — Я тебя и с Аней познакомлю, она тебе понравится.

— Обязательно! — ответил я, думая, что вряд ли сюда вернусь, хотя... кто знает...

На въезде в город я заметил голосующего человека, но останавливаться не стал: хватит на сегодня приключений. Бежевая подруга согласно кивнула на неровности дороги.

— Ну вот и отлично! — заметил я. — Давай-ка я тебя лучше помою, а то вся запылилась.

И мы поехали в гараж.

«Психопаты»

Смерть человека — это всегда трагедия, но уход по собственной воле особенно страшен. Самоубийства подростков из-за несчастной любви или непонимания взрослых еще можно списать на неустойчивую психику и гипертрофированную реакцию при конфликте между внутренним и внешним миром. Когда проигравший сражение полководец пускает пулю в висок или самурай совершает сеппуку, мы говорим о кодексе чести и даже уважаем таких сильных людей. Но что заставляет вполне благополучного и состоявшегося человека без всякой видимой причины сводить счеты с жизнью, иногда прихватывая с собой близких людей, остается непонятным для остальных. Исследования продолжаются, и, возможно, когда-нибудь проблема будет решена.

Как-то был у нас с «копеечкой» случайный гость — молодой человек, спокойный и ничем внешне не примечательный. Ехали молча, работало радио, вздох, с подробностями пугая дедовщиной и издевательствами в армии.

Гость вдруг сказал негромко:

— Все так, но мне армия жизнь спасла. — Увидев мой недоуменный взгляд, пояснил: — Я в школу в восемь лет пошел, и меня сразу после школы в военкомат загребли, раньше остальных. А когда вернулся, из нашей команды только двое остались в живых. Не понимаешь? Ну да, что ж с вас, столичных, взять... В бандиты они все пошли, куда ж еще пацану было податься... А тут — тачки, стволы, крутизна, бабло, девки пицчат от восторга... А жили мелкие шестерки не больше года-двух. Все на стрелках и разборках полегли. Говорят, Серый Димона замочил — в разных командах оказались, а потом и его порезали...

Жизнь человека в нашей стране никогда не была особо ценной, а в те годы и вовсе ничего не значила. Там, где миллиардные состояния делались за полгода, за сто долларов или мобильный телефон могли убить не задумываясь.

В начале 1990-х профессиональные психологи-психопатологи, которых мы про себя называли «психопаты», с удивлением узнали, что в развитой Германии и других благополучных местах, включая спокойную Скандинавию, уровень самоубийств среди трудоспособного здорового населения гораздо выше, чем у нас, где все разваливалось на части на всех уровнях, от сверхдержавы до отдельно взятого подъезда. И заграничные «психопаты» снарядили научную экспедицию в рассыпающуюся империю, чтобы понять, почему же люди здесь, в этом хаосе, не спешат расставаться со своей жизнью, которая ничего не стоит и никому, кроме мамы, жены и пары друзей, не интересна.

Экспедиция прибыла на место и отобрала дюжину разнородных аборигенов для опытов. Тут были женщины и мужчины, молодые и не очень, семейные и одинокие, успешные и формальные неудачники, с высшим образованием и без оногo — с бору по сосенке, чтобы выявить группы риска. Мне тоже повезло стать подопытной мышкой, представителем

большой социальной группы. К счастью, обошлось без вивисекции, зато на подкормку нам выдавали по сто дойчмарок в месяц — бешеные деньги. Выходит, бывает бесплатный сыр...

В первый раз нас, мышек, собрали в спортзале какой-то школы, где трое «психопатов» объяснили свои цели и интересы — выявить причины депрессии и суицидных настроений в условиях социальных потрясений. Для начала они провели с нами занятие по основам аутотренинга. Эти наивные теоретики и не знали настоящих приемов поддержания себя в тонусе.

Затем задание: каждой мышке предложили прилюдно изложить свою самую важную проблему, предполагаемые способы ее решения и что делать в случае неудачи. Проблемы у всех оказались какие-то несуразные, на повод для суицида явно не тянули. Все сводилось к занудно невыразительному рассказу о нехватке денег и попытках их заработать на второй, третьей, пятой работах и каких-то халтурах. Кто-то ради оригинальности пожаловался на неудачи в личной жизни, но вышло как-то неубедительно: похоже, его это не сильно волновало. И только у одного мышца, живущего в малагабаритной квартире не только с женой, но и с тещей, голос срывался в искренний надрыв. Впрочем, и тут все решилось просто — германский «сыр» в дойчмарках позволил снять комнату в коммуналке, и проблема была исчерпана. Я тоже пробубнил что-то в общем русле мелких жалоб на непростую, но очень насыщенную жизнь. Что-то про памперсы, выходящий из строя телевизор... сейчас уже и не вспомнить. В общем, сепушкой не пахло... «Психопаты» были недовольны нашей неискренностью, подозревая в сокрытии реальных проблем, и выдали первое хитрое задание, чтобы обойти нашу замкнутость. Нам надо было вести дневник, каждый день записывая в аккуратную тетрадочку, заранее разграфленную, свои желания, планы на будущее и этапы их осуществления. На этом и расстались.

Когда мы ехали домой, я сказал своей бежевой подруге, поглаживая карман, в котором надежно укрылись триста дойчмарок, аванс за три месяца вперед:

— Ну что, можно жить. Сегодня гостей не возим. Семью подкормим... и тебе перепадет, обещаю!

В тот вечер мы прокатились по городу в свое удовольствие, просто так, без цели. Впервые за много лет я просто побродил по Петропавловке: сверкающий золотом шпиль, освещенный низким солнцем, рельефно выделялся на фоне слоеного, живущего собственной бурной жизнью серо-белого неба, и на него можно было любоваться часами. Потом мы проехали по набережным Невы и Невки. Я был пьян от внезапного ощущения свободы, невнятные мысли причудливо цеплялись одна за другую, я вываливал это на «копейку», а она слушала и не перебивала. Может, и не соглашалась, но не перечила.

— Смешные эти «психопаты», — развивал я тему. — Что-то исследуют, тренинги, анкеты... Им интересно, почему мы в этом турбулентном водовороте хаоса не накладываем на себя руки, а их успешные граждане — нет-нет да и соскользнут... Все же ясно: когда борешься за существование, свое и детей, не до мыслей о суициде. Для такого силь-

ного поступка нужна сильная причина — какое-то серьезное событие. А отсутствие чего-то событием не является. Все четко и просто: надо верить, искать, добывать. Все зависит от тебя. Сегодня есть чем накормить ребенка — хорошо, можешь спать спокойно. Если нечем — надо крутиться шибче. Ты кому-то нужен, на тебя надеются. Пока ты нужен, не уйдешь в никуда. Каждый прожитый день — маленькая личная победа. А у сытого бургера все основные проблемы решены. У него все налажено, все работает, все по плану, и он чувствует, что никому не нужен. И тогда отсутствие или задержка очередного положительного события автоматически становится событием отрицательным. Но человек не может без проблем, он сам создает себе новые. Хорошо, если это что-то осуществимое, типа мерс купить или построить уменьшенную копию Тадж-Махала из портновских булавок. Тогда это в его силах, он занят и иногда счастлив. Можно больным детям помогать, тогда тоже получается череда маленьких побед. А если придумал проблему, которую решить не в состоянии: спасти мир или поймать идеальную любовь? Тогда-то и возникнут нехорошие настроения, когда поймет, что разрешить эту проблему не в силах. А если каждый прожитый день — твоя победа, то и руки на себя не наложишь. Не там «психопаты» ищут... Если бы люди вешались от бытовой неустроенности, наши предки самоуничтожились бы в каменном веке.

Потом я купил «копеечке» новую обувь на задние колеса, взамен изношенной, и отличное масло. И кое-что в дом...

Разумеется, благие намерения рухнули. Заполнять дневник каждый день почему-то не получалось: дела валились как тяжелый мокрый снег в марте — пока разгребашь один конец дорожки к дому, другой уже снова засыпан. Звонок от «психопатов» о том, что послезавтра семинар, застал врасплох. Пришлось за пару часов, насильно отобранных у сна, и без того не слишком долгого, сочинять свои планы и их поденную реализацию за последние месяцы. К тому моменту, когда мы снова ехали на собрание, дневник был в идеально красивом состоянии, хотя если бы кто вчитался, то затосковал бы уже на второй странице: записи блистали лаконичностью, но отнюдь не разнообразием. Дневник у меня забрали, и больше я ничего про него не слышал. Скорее всего, он вошел в чью-нибудь диссертацию по психологии — единичкой в статистическом океане. Надеюсь, никто в него особо не вчитывался.

Когда я попробовал на семинаре высказать свои мысли о самоубийствах, «психопаты» меня быстро отшили, пригрозив изгнать из группы каждого, кто будет задумываться на эту тему. Мышиное дело — отвечать на вопросы и заполнять анкеты, а думать будут те, кому положено, в другом месте и в другое время.

Темой нового семинара была алкогербатерапия. Кто-то придумал, что подавленное состояние можно лечить настойками на травах, и на нас это надо было проверить. «Психопаты» вывалили на стол чемодан, полный маленьких гомеопатических бутылочек, наполненных настойками разных трав на спирту. Каждому из нас досталось несколько бутылочек. В случае хандры, усталости или апатии надо было выпить четыре капли настойки и записать эффект в опять же заранее разграфленную книжечку.

Хандра навалилась в тот же вечер. Не то чтобы была какая-то особая причина, но семинар, реакция «психопатов» и даже аванс в дойчмарках, выданный для подкрепления научного энтузиазма, оптимизма не вызвали. Деньги были тут же потрачены на латание бюджета, включая обновления для «копейки», но вместо вздоха облегчения мысль о дойчмарках вызвала горечь. В голове незаметно росло сознание обмана «психопатов», немецких налогоплательщиков, себя самого. В общем, типичный беспочвенный легкий депрессник. Четыре капли из первой бутылочки с нечитаемым немецким названием легли под язык и сгнули как в прорву: никакого эффекта. Еще четыре капли — туда же. Потом еще и еще... И эффект проявился — стало отпускать, тяжелые мысли, бешено плясавшие в голове и норовившие проломить темя изнутри, утихомирились. Я попытался подумать о самоубийстве, и меня разобрал смех, настолько несуразны были все мои мелкие неурядицы. Видимо, засмеялся я вслух, ибо жена пробормотала сквозь сон что-то неодобрительное про ночное пьянство в одиночку.

Я отправился спать в умиротворенном настроении, но перед этим написал в книжечку: «Подавленное состояние. Принял четыре капли — не помогло. Продолжил принимать до достижения положительного эффекта». Вообще-то эти травяные настойки мне не очень понравились: у них был резкий и горький вкус, коньяк лучше.

Третий семинар был совсем короткий. «Психопаты» объявили, что программа сворачивается — то ли они все уже поняли, то ли деньги закончились. Нас поблагодарили за вклад в мировую науку и отпустили назад в реальный мир. Мы с «копеечкой» слегка погрустили, что кончился легкий заработок, основанный на любопытстве немецких психологов. С другой стороны, мне было немножко стыдно за свою не совсем добросовестную работу на скрупулезных исследователей. Да и легкие деньги обычно не бывают впрок. «Копеечка» была не слишком согласна с таким взглядом — ей нравилась новая обувь и свежее хорошее масло. Ну так ведь это же не ее совесть грызла...

Оружие

В Городе была напряженка с бензином. Не то чтобы совсем не было, но его надо было ловить, загонять в угол и там уже, придерживая, чтоб не убежал, заполнять все возможные емкости. У меня в багажнике постоянно валялась небольшая канистра с НЗ для моей «копеечки». В большинстве гаражей стояли канистры или бочки с бензином про запас, ибо не было никакой гарантии, что завтра сумеешь залить бак. У моей бежевой подруги своего дома-гаража не было, но в гараже отца, в дальнем правом углу, на деревянных подпорках стояла черная и замасленная 200-литровая бочка с запасами машинного питания. Мне было разрешено использовать ее в качестве буфера — брать бензина сколько надо, но потом вновь заполнять по мере возможности.

Потому, когда Ваня, мой друг и коллега по ремеслу, позвонил и сказал, что на одну удаленную заправку скоро подвезут бензин и надо ехать

занимать очередь, я не стал уточнять, откуда у него такие сведения, а вскочил с рабочего места, выбежал на улицу, погладил бежевую подругу по не очень чистому дырявому крылу, заклеенному липкой лентой, и сказал:

— Ну, поехали тебя кормить, проголодалась небось.

И мы помчались в гараж взять три пустые канистры, а потом отправились по указанному адресу. Бензозаправку, о которой по секрету сообщил Ваня, я знал — она находилась на выезде из Города, неподалеку от поста ГАИ. Маленькая неприметная заправочка вдруг стала меккой для местных автомобилистов: очередь была уже метров на сто пятьдесят. Видать, сегодняшний секрет был не таким уж и секретным, но шансы залиться были вполне реальными. Время в очереди пролетело быстро, и вскоре «копеечка» с полным, по самое горлышко залитым, брюшком и тремя канистрами в багажнике вывернула на шоссе и радостно поскакала в сторону Города. Я, хоть и расстался с изрядной долей содержимого потертого коричневого бумажника, тоже был рад за нас обоих. Далее по дороге был небольшой поселок, и мы законопослушно снизили скорость. На автобусной остановке, где бетонный навес был когда-то кем-то раскрашен непонятным орнаментом из разноразмерных прямоугольников, стоял приличный, явно городской мужчина и напрашивался в гости к проезжающим машинам. Мой почти пустой бумажник, тихо лежавший в левом нагрудном кармане, тут же толкнул меня прямо в сердце: «Надо брать, деньги нужны». Я послушно нажал на тормоз, «копеечка» аккуратно остановилась передней дверью прямо под руку гостю.

— Здравствуйте! До метро не подбросите? — спросил он.

— Добрый день, садитесь, — ответил я.

— Вперед можно сесть?

— Да-да, конечно.

Он плотно уселся, пристегнул ремень безопасности и принялся.

— Извините, — признался я, — бензин. Только заправились. Сейчас выветрится.

Он кивнул, бежевая подруга стартовала с места и легко побежала на восток.

— Автобус пропустил, а может, его и вовсе не было, — сказал попутчик.

Я кивнул: бывает, мол.

Впереди показался пост ГАИ на въезде в Город. Там стояли два автоматчика, напоминавшие кукол-неваляшек из-за пухлых бронежилетов, одетых поверх курток, круглых касок и не менее круглых добродушных лиц. Мы снизили скорость и проползли мимо неваляшек на цыпочках, стараясь не дышать. Те скользнули дулами прищуренных глаз по бежевому борту и своей неподвижностью милостиво разрешили продолжать движение. Только метров через сто мы вздохнули и набрали свой привычный темп.

— Вот времена нынче пошли, — сказал я, — без оружия уже никак.

— Всегда можно без оружия! — ответил он довольно агрессивно.

— Ну как же! — загорячился я. — Сейчас бандитов всяких полно, сплошные разборки кругом. Вы «600 секунд» смотрите?

Он брезгливо поморщился, словно увидел дохлую крысу, и спросил в ответ:

— У вас есть оружие?

Я напрягся: выглядит-то он прилично, а кто на самом деле?

— Нет, — ответил, подумав. — Но... — Я вытащил из-под сиденья монтировку. — Если что, не с голыми руками.

Он кивнул задумчиво и продолжил опрос:

— А применить вы ее сможете?

— Ну, если придется... — Я был не очень уверен, но хорохорился.

Мы молчали, «копеечка» бодро бежала по шоссе навстречу Городу, в приоткрытой форточке посвистывал ветер.

— А у меня ведь было оружие, — неожиданно выдал гость.

Я удивленно посмотрел на него.

— Мы как-то с Димой, это друг мой, а я — Игорь... впрочем, неважно... у него на участке копали грядки... и откопали нечто. Ржавый ком. Там много всякого попадает, линия Маннергейма проходила в Зимнюю войну... — начал гость.

Он говорил, «копейка» ровно везла нас в уплотняющемся потоке машин в сторону вспучивающих горизонт высоток Города, а я почти видел то, что происходило на Диминой даче...

— Глянь-ка, — сказал Дима, — железяка какая-то, с войны небось.

— Да выкинь! — Гость брезгливо покрутил ком в руках. — Там же все насквозь прогнило.

Он положил предмет на крыльцо и несильно стукнул лопатой. Кусок проржавевшей земли отвалился... и показалось нечто, похожее на пистолетную рукоятку. Еще один тычок, теперь уже черенком, и все стало ясно — это пистолет. Очень старый, заросший ржой, пистолет времен войны, а может, и старше.

— Ого! — воскликнул Дима. — Круто! Парабеллум, что ли, немецкий?

— Какой, в ногу, парабеллум?! — возмутился гость. — Начитался «Двенадцать стульев», про «дам вам парабеллум». Это или ТТ, или беретта. Так не разобрать.

Он взял обнаруженное и пошел в дом.

— А не боишься? — бросил ему в спину Дима. — Нельзя же.

— Так это же ржавая железяка, нерабочая, насквозь прогнила. Да и кто узнает? Ты же не стукнешь.

Дима яростно затряс головой: мол, ни в коем случае.

Через день Игорь задержался на работе, в институте, чуть подольше и заглянул в слесарную мастерскую. Механик Володя что-то точил на станке. Все знали, что он по вечерам работал на казенном оборудовании налево, но, поскольку слесарем он был от Бога, на это закрывали глаза. А еще Володя был знатоком оружия. Поговаривали, что в надежном месте у него хранится целый арсенал времен аж Первой еще мировой войны.

— Привет, дядя Вова! — Гость подошел поближе, пряча что-то за спиной.

— А, привет! — Володя обернулся и внимательно посмотрел на собеседника. — Что?

— Посмотри, а? Совет нужен.

Игорь выложил на рабочий стол тряпичный пакет и осторожно развернул его.

— Давай завтра. — Дядя Вова был недоволен, что его отвлекли.

— А ты глянь сейчас, — настаивал гость, звякнув об столешницу бутылочкой с бесцветной жидкостью.

Спирт — универсальная валюта. На звон стекла дядя Вова обернулся и с неохотой подошел к столу.

— Твою мать! — выразился он, беря предмет в руки. — Это же ТТ, наградной. Откуда?

Гость пожал плечами.

— Это надо почистить, перебрать и устаканить, — подвел дядя Вова итог после осмотра.

— Ну, устаканить — это мы организуем, — заверил гость.

— Через недельку загляни, — закончил разговор дядя Вова, накрывая бутылочку волосатой лапой.

— А ТТ? — не понял гость.

— Оставь, через неделю заберешь.

На следующей неделе дядя Вова встретил давешнего посетителя в коридоре и бросил:

— Загляни вечером.

Вечером «копатель» снова зашел в мастерскую, пряча за пазухой остатки казенного спирта. Дядя Вова закрыл дверь на замок, вытащил из какого-то загашника сверток и торжественно развернул. Там лежал пистолет, источенный вьевшейся ржавчиной, но грозного вида.

— ТТ, родной, довоенный, — рапортовал дядя Вова, — именной, но табличка сгнила совсем. Думаю, в рабочем состоянии, без магазина.

— Спасибо... — медленно выдавил гость. — Как это — в рабочем?

— А почему нет? Боек исправен, там ржавчина на механизме, но если в керосине вымочить подольше и смазать как следует, будет порядок. Магазин тебе достать?

— Нет-нет, на фиг. — Гость выставил на стол спирт, завернул пистолет в тряпку и убрал за пазуху.

— Ну, смотри, — усмехнулся дядя Вова. — Если что, патрон можно прямо в патронник вогнать, если постараться, тогда на один выстрел хватит. Патрон 7,62 на 25 миллиметров.

Обладатель ствола вымочил-смазал, прикупив у того же дяди Вовы несколько подходящих патронов, и отправился к Диме, по телефону предварительно предупредив о своем визите. Еще с порога он первым делом спросил:

— Один?

— Один, — удивленно ответил Дима.

Удовлетворенно кивнув головой, гость не раздеваясь прошел на кухню и водрузил на стол бутылку водки.

— Ого! Повод есть?

— Обмывать будем!

— Что?

Гость молча снял куртку и повернулся к Диме спиной. Тот присвистнул — из-за пояса торчала устрашающая рукоятка пистолета.

— В бандиты подался? — удивленно спросил Дима.

— Ну зачем же сразу в бандиты? Мужиком решил стать! — Гость с лязгом грохнул пистолет на стол. — Помнишь, ТТ откопали?

— Ни фиги себе! Я думал... там вообще ничего не разобрать будет.

— Давай закусь, обмоем, а завтра поедем опробовать.

— Так он стреляет?

— Пока не знаю, но должен.

Когда решивший «стать мужиком» старательной походкой вышел из подъезда, над Городом властвовал темный вечер, переходящий в ночь. Мир, ограниченный желтым световым куполом уличного фонаря, покачивался и сбивал с равновесия. Поясницу натирала рукоятка заряженного пистолета, в кармане куртки лежало два патрона. Он шагнул за пределы этого желтого мирка и очутился в другом, громадном мире, с Большой Медведицей над головой, мириадами жилых огней вдаль и маленьким фонарным мирком позади. Он встал, широко расставив ноги, и глубоко, шумно вдохнул прохладный, пахнущий сыростью воздух. Его накрыло пронзительной любовью ко всему сущему, в глазах защипало.

— Стоять, Атос! — раздался сзади женский окрик.

Игорь обернулся. По желтому фонарному мирку неслось что-то коричневое и лохматое. Оно ворвалось в его ночной мир и злобно залаяло — нестриженный, в колтунах, королевский пудель. Мужчина протянул к пуделю руку, но нетвердые ноги подвели, и он позорно качнулся вперед. Пудель испуганно замолчал, присев на задние лапы, потом подпрыгнул, цапнул нетрезвого доброхота за запястье и тут же отскочил назад, снова залившись лаем. Игорь посмотрел на руку — там появилось черное пятно, оно разрасталось и наливалось болью. Пистолет на пояснице налился тяжестью и требовал, чтобы его вытащили. Правая ладонь вспотела и легла на рукоятку, ожидая команды. Глаза сфокусировались на открытой лающей пасти с неопрятными потеками слюны. С такого расстояния можно и не целиться, пуля разнесет эту лающую голову в мелкие брызги...

— Мужчина, он вас укусил? Да вы же пьяны! Атос не любит пьяных. Сами виноваты, испугали мне собаку! Атосик, иди сюда...

Молодая женщина могла бы показаться красивой, если бы не была так уродлива в крике. Второй патрон заткнет ей глотку. Его, правда, надо будет зарядить, но она все равно ничего не успеет сообразить.

Левая рука в кармане куртки нащупала патрон и тоже замерла... Но вместо всего нафантазированного он развернулся, задрал голову к небу и медленно пошел прочь от злобного фонарного мира, который лаял и кричал позади. Проходя мимо пруда, Игорь не глядя достал из кармана и швырнул в воду что-то тяжелое, с задорным плеском пошедшее ко дну, изморщив блестящую черную поверхность, и пропал в темноте...

— Вот тут можно остановить? — Голос попутчика вернул меня к действительности.

Сквозь хаос из машин и пешеходов мы медленно подрулили к тротуару около входа в метро.

— Спасибо! Сколько с меня?

— Триста. Впрочем, можно и двести. Скажите, а как же тот ТТ?

— Поверьте, лучше без него, — сказал он, протягивая мне три сотенные купюры.

Через десять секунд его уже не было.

Цена мечты

Изморозь. Мокрый ледяной туман заполнил Город в то январское утро. Мы с дочкой выползли из уютного дома на улицу, и зябкая тьма, не развеянная редкими фонарями, набросилась на нас. Меня передернуло, а дочка на такие пустяки внимания не обращала — в желтой мутоновой шубке, коричневой шапочке с болтающимися помпончиками и в валенках она походила на забавно-неуклюжего плюшевого медвежонка. Мы, как обычно, направлялись в детский сад, находящийся в трех километрах от дома. Все неудобства, связанные с таким удалением, с лихвой перекрывались одним железным аргументом: ребенок не приносил оттуда домой матерные словечки и похабные анекдоты, ибо садик был ведомственный, от Академии наук.

Когда мы подошли к машине, «копеечку» было не узнать: она стала вся бело-серебристой от наросшего за ночь инея и сверкала под тусклым уличным фонарем.

Я с трудом открыл дверцы и стал усаживать дочку на заднее сиденье.

— Я сама! — неожиданно заявила дочь и с грацией медвежонка начала забираться в машину.

Я сел на каменно-ледяное водительское сиденье, на полминуты включил фары, чтобы прогреть аккумулятор, вытянул подсос, выжал сцепление и повернул ключ зажигания.

— Дыр-дыр-дыр-дыр... — сказала «копеечка», но не завелась: и ей нелегко было проснуться в такую промозглую погоду.

Я открыл капот, вручную подкачал бензин, протер заиндевевшие провода зажигания, убрал подсос и снова повернул ключ.

— Дыр-дыр-дыр... Пчхи! — «Копейка» чихнула — это хороший признак, сейчас заведется.

Я оглянулся назад: «медвежонок» успешно вскарабкался на заднее сиденье и там завалился набок, закрыв глазки, уже сладко посапывая. Я улыбнулся и снова повернул ключ:

— Ды-ы-ы...

Ну вот, сел аккумулятор, теперь без посторонней помощи не завестись. Я вышел из машины и оглянулся: мимо проезжала большая грузная «Волга». Я замахал руками, «Волга» остановилась.

— Доброе утро! — затараторил я. — Друг, помоги, не заводится, зараза, а мне ребенка в садик везти. Дерни, а?

— Да уж, погодка сегодня нелетная, — солидно ответил водила. — Трос есть?

— Есть! — обрадовался я. — Я мигом!

Пока «Волга» сдавала задом, я успел достать из багажника трос, усадить хлопающего глазами «медвежонка» вертикально и пристегнуть ремнем и привязать трос к своей бежевой помощнице. «Волга» аккуратно вытащила ее на проезжую часть и чуть ускорила. Когда скорость дошла до двадцати километров в час, я выжал сцепление, включил третью передачу, нажал на газ и довольно резко отпустил сцепление. Обычный порядок вещей нарушился: теперь колеса заставляли двигатель крутиться. От такой наглости «копеечка» еще раз чихнула, выпустила облако сизого дыма, широко раскрыла глаза и проснулась. Двигатель заурчал уже самостоятельно.

Поблагодарив водителя «Волги» за помощь, мы доехали до детского садика. Там неуклюжий медвежонок волшебным образом превратился в нарядную шустрюю девочку, которая, поцеловав меня на прощание, убежала по своим важным делам.

Я вышел на улицу, похлопал «копеечку» по рулю:

— Ну что, оплошали мы с тобой сегодня? Не переживай, прорвемся — надо тебе новый аккумулятор купить и свечи прокалить. — И мы поехали по своим делам.

Не успели отъехать и сотню метров, как я увидел взъерошенного мужичка, размахивающего руками около машины с открытым капотом. Я остановился.

— Не заводится?

— Никак... и аккумулятор уже посадил, — пожаловался сердешный.

— Ну что, дернем? — спросил я.

— Да у меня, понимаешь, троса нету... — виновато понурился бедолага.

— У меня найдется, — утешил я его.

Мы прицепили его москвичок к моей «копеечке», которая честно старалась помочь коллеге, но безуспешно: мы три раза объехали двор, но москвич не желал просыпаться, даже ни разу не чихнул.

— Тебе надо систему зажигания проверить: трамблер, провода, свечи... — объяснил я. — Похоже, искра ушла.

— Да-да, — не слушая поддакивал он. — Черт, ехать надо... Слушай, а может, ты меня подкинешь до Чернышевской... или хотя бы до метро? Я заплачу.

— А подкину! — согласился я. — Садись.

Он закрыл свою заупрямившуюся машину и сел ко мне пассажиром. Мы выползли из двора и влились в угрюмый утренний поток грязных машин.

— Семён, Сеня, — представился он.

— Урмас, — ответил я.

— Эстонец, что ли?

— Типа того.



Он не стал уточнять. Видно было, что его распирает что-то важное, чего не может удержать в себе. И точно — он посмотрел в окно и сказал, как бы ни к кому не обращаясь:

— А у меня сын будет!

— Поздравляю! — ответил я. — А у меня — дочка.

— Ты не понял! — заволновался он. — У меня сы-ы-ын будет!

А дочерей у меня уже четыре штуки.

Он произнес это с таким напором, что я с удивлением посмотрел на него и не заметил, что на светофоре зажегся зеленый свет, о чем сзади любезно напомнили многочисленными гудками.

— Я пятнадцать лет этого ждал, четырех дочек родил, жен меня!

Я все еще не понимал, и он рассказал мне свою историю.

Семён, Сеня, был одержим идеей иметь сына, ходить с ним на рыбалку, играть в футбол, научить его стрелять из рогатки... и вообще, делать все, что положено нормальному мальчишке. Сам Сеня рос без отца, при строгой и заботливой матери и еще более заботливой бабушке. Будучи единственным сыном-внуком, он был полностью лишен главной прелести мальчишеской жизни — свободы. Постоянная опека лишила его шанса быть нормальным уличным пацаном, о чем он всегда жалел, тихо ненавидя своих «надзирательниц». Он полагал, что упустил что-то важное, и хотел все-таки пройти через все это заново, пусть не сам, а с помощью сына.

Жизнь шла по накатанной колее: у Семёна была неплохая работа в «почтовом ящике», он удачно женился на однокашнице. Они друг друга любили, вместе становились на ноги. Через пару лет родилась девочка. Они радовались ребенку и, как и все, страдали от бытовых сложностей, сопровождающих жизнь молодых родителей. Когда дочка чуть подросла, Сеня подбил жену на второго ребенка. Она не очень хотела, но против его напора устоять не смогла. Он уже присматривал игрушки для сына, на даче, доставшейся от родителей жены, планировал постройку индейского вигвама. И вдруг, подлым ударом под дых в мальчишеской драке, ошеломительная новость: опять девочка. Как девочка?! Так нечестно! У него же уже есть девочка!.. Как же этот мир несправедлив!

Сеня замкнулся; вторая дочка причиняла те же бытовые неурядицы, усугубленные малогабаритностью квартиры, а радости уже почти не доставляла. Жена наотрез отказывалась говорить о третьем ребенке и имела неосторожность что-то упомянуть о генетике. Он полез в литературу и ничего не понял, кроме того, что дело это индивидуальное: может, с другой женщиной все будет правильно. Эта мысль так засела Сене в голову, что он через полгода развелся, бросив жену с двумя детьми. Впрочем, он оставил им общую квартиру и честно платил алименты с основной работы, так что формально упрекнуть его было не в чем. Чтобы свести концы с концами и снова выступить женихом, ему пришлось устроиться на подработку — дежурить по ночам в одной конторе в качестве охранника.

Вскоре он женился вторично, на женщине из соседнего отдела в «ящике», которая вообразила себя старой девой и готова была выйти за кого угодно. Она была скучна и постна, особенно в постели — Сеню эти



нечастые «упражнения на бревне» совершенно не вдохновляли, но мечта о сыне подстегивала. Долго ничего не получалось — и вот наконец жена забеременела. Как же он надеялся! По ночам долго не мог заснуть — глядел на затейливые узоры, прорисованные на потолке светом уличного фонаря, который пронизывал листву тополя, росшего прямо под окном, и неплотные занавески. В узорах ему виделись картинки, неподвижные, как фотографии, где он играл с сыном, и Сеня засыпал со счастливой улыбкой на лице...

И опять — о мир, где твоя справедливость! — это была девочка. И снова пеленки, бессонные ночи, тихие всхлипывания жены в ванной комнате («Она-то чего там плачет? У нее-то все в порядке, муж, ребенок — это у меня сына нету!»). Его понесло — изредка приходил домой навеселе, хоть и нечасто — все-таки не алкаш какой-нибудь. Жене иногда кричал, что зря на ней женился — не может сына родить, но руку никогда не поднимал. Один раз даже стал бить посуду, а потом поглядел на жену — она побледнела, но слез не было и лицо стало каменным, высеченным из мрамора (как она красива и холодна, будто античная статуя, подумал он).

Из комнаты вышла, раскачиваясь и держась за стену, дочка в розовой пижамке, сказала, не открывая глаз:

— Папа, не ругай маму, она не нарочно тарелку разбила! — и ушла назад спать.

Сеня, впервые после многих месяцев, снова увидел в жене женщину и с неистовством изголодавшегося хищника набросился на нее. Теперь он был уверен, он знал наверняка, что должен родиться сын. Но... через девять месяцев опять родилась девочка.

Он озлобился, ожесточился, скоро бросил и эту семью и начал скатываться вниз, но желание иметь сына было стержнем, ухватившись за который он смог выползти. Прочитав в каком-то медицинском журнале, что мальчики чаще рождаются у молодых мам, он принялся искать невесту помоложе. В третий раз Сеня женился на двадцатилетней деbsелой девушке, приехавшей в Город из загибающегося колхоза и работавшей на табачной фабрике. Новая жена не скрывала, что выходит за него из-за городской прописки, но взамен честно трудилась золушкой, наводя домашний уют в съемной комнате, где они жили. Уют был, на Сенин вкус, меццанским и пошловатым, но обеды из трех блюд были отменными, так что он начал отращивать брюшко и почему-то лысину.

Энергия молодого здорового тела жены требовала выхода, и по ночам она донимала уставшего мужа долгими и ритмичными, хотя и однообразными экзерсисами, пока наконец, раскрасневшаяся и горячая, не говорила:

— Ну все, пора спать.

А он снова глядел в темный потолок, на котором теперь не было никаких узоров, но тем шире был простор для фантазии, и засыпал, улыбаясь и думая о мальчишке, с которым они будут строить пиратское логово. Вскоре молодая жена известила его, что ожидает ребенка, и он подумал, что если опять девочка, то не переживет. Время шло, и настал момент, когда можно было определить пол будущего ребенка. Сердце замирало,

он ожидал результатов. И вот вчера подтвердилось: мальчик. Теперь, только теперь начинается жизнь!

Сеня отчаянно жестикулировал.

— Ну поздравляю, — сказал я.

— Спасибо! Ты не представляешь, как я рад! Моя мечта сбывается!

— А как же четыре дочки, бывшие жены? — спросил я.

— Дочки... — Он загрустил. — Ты знаешь, я ведь их не вижу совсем. Иногда, тайком от бывшей, встречаюсь со старшей — она уже совсем взрослая. А с остальными... не получается.

Он подумал и продолжил:

— Я так хотел сына, что был готов платить любую цену. И то, что не вижу дочерей, это тоже цена за мечту, и я ее плачу. Но я ни о чем не жалею!

— Да? — удивился я. — И дочки должны за тебя платить, хотя это не их мечта?

— Да! — парировал он. — Иногда люди должны платить и за чужую мечту. Тогда и за их мечту кто-то заплатит. И даже если этот сын не мой, если у моей нынешней жены есть хахаль, он все равно мой — я готов и эту цену платить. Я заплачу *любую* цену и, если кто-нибудь встанет на моем пути, снесу без жалости и сожаления!

«Да он чокнутый, — сказал я себе, — одержимый...» — а вслух произнес:

— Ну что ж, счастья тебе с сыном!

— Спасибо! — ответил он. — Теперь-то все будет хорошо!

«Дай-то бог...» — подумал я про себя.

Мы подъехали к метро, он протянул мне смятую купюру.

— Не надо, — отказался я. — Сегодня твой праздник.

— Спасибо! — согласился он. — У меня сын будет!

И вышел.

А ведь он прав, подумал я, любая мечта может осуществиться, вопрос только в цене и времени. У меня тоже есть мечта... и она обязательно сбудется, а уж какую цену потребуется заплатить, ту и заплачу, торг тут неуместен. Но это уже будет другая история.

Чемпион

В этот смурной зимний день я не собирался бомбить, просто лениво ехал с работы домой. Выпавший накануне обильный снег таял, превращая улицы и тротуары в серую кашу. Пешеходы упрямо топтали грязно-снежную жижу и опасливо держались подальше от проезжей части. Дворники «копеечки» не успевали очищать стекло от грязи, летевшей из-под колес проезжавших машин. Ехать приходилось медленно, в сплошном потоке, ориентируясь скорее на мерцающие впереди красные габариты, чем на дорожную обстановку. По радио пел Шарль Азнавур, и его проникновенный голос, выводивший «La Bohème», тихонько трогал струны души, вызывая сладкую дрожь. Это позволяло мне примириться с дискомфор-



том за окнами «копейки», хотя я и переживал за нее, почти физически ощущая, как брызги тающего снега вперемешку с солью и песком бьют по брюшку моей бежевой подруги, сбивая защитную мастику и вгрызаясь ржавчиной в металлическую шкуру.

Вдруг у обочины я увидел голосующего человека. Вообще-то я не собирался никого брать, но какой-то джигит обдал страдальца фонтаном полужидкого снега, и я решил проявить милосердие, тем более что «копечка» не возражала.

Гость оказался высоким, немного нескладным мужчиной средних лет, хорошо одетым. Он источал добродушие и оптимизм, несмотря на эпизод с холодным душем. С его черной куртки с меховой опушкой брызги отряхнулись легко, а вот на серых брюках расплывалось несколько темных пятен. Он попросил отвезти к большому спортивному магазину в спальном районе, и мы стали перемещаться в том направлении.

— Эк он вас окатил! — с осуждением в голосе сказал я.

— Ерунда! — ответил гость. — При такой погоде все равно чистым не останешься.

По радио начали передавать новостной блок, больше похожий на вести с фронта. На фразе «А теперь новости культуры: вчера вечером был избит главный дирижер...» я выключил радио.

— Вот такие у нас новости культуры. Грустно... — прокомментировал я.

— Не обращайтесь внимания, — посоветовал гость. — Не слушайте такие новости.

— Так ведь других нету, — подхватил я.

— Вот никакие и не слушайте! — улыбнулся он.

Контакт был установлен, как у обнюхавших друг друга дворняжек. После нескольких слов о погоде он вдруг спросил:

— Скажите, пожалуйста, а вы в лыжах разбираетесь?

Я слегка оторопел:

— В каких лыжах?

— Ну-у-у... в обычных.

— Беговые, слаломные, прыжковые?

— Эм-м-м... Беговые?.. — после некоторого раздумья полувопросительно ответил он. — Вы знаете, там еще «коньковый» шаг есть.

— Ну да, знаю, но я в беговых не силен.

— А может, поможете выбрать? — спросил гость. — Вы не волнуйтесь, я оплачу ваше время.

— Так в магазине продавца спросите.

— Да они там все подороже всучить норовят.

— А для кого вам лыжи нужны?

— Мне и жене. Хотим начать ходить на лыжах.

— Дело хорошее, — согласился я. — И сразу «коньком»?

— Я пока не зна-аю... — протянул он, а потом добавил: — Давайте... я вам расскажу свою историю, вы тогда поймете.

— Давайте, — согласился, а про себя подумал: «Все лучше, чем новости такой культуры слушать».

— Скоро исполняется двадцать лет нашему с женой знакомству, и мы решили отметить это событие освоением нового для нас вида спорта, — начал гость. — Не удивляйтесь, пожалуйста, но познакомились мы не совсем обычно, благодаря невольному обману... или, если хотите, стечению обстоятельств. И отмечать мы тоже хотим необычно — купим лыжи и поедем в пансионат в глуши, на Карельском, учиться на лыжах ходить... Двадцать лет назад я работал по распределению после института в «ящике», в конструкторском бюро, проектировал изделия. Коллектив был скучный: несколько предпенсионных дедушек, три тетеньки да начальник с вечно залитыми глазами. Тоска, в общем. И вот как-то прикомандировали к нам представителя заказчика, для приемки заказа. А представитель этот оказался представительницей, да еще симпатичной... Девушка, красивая, молодая, но дело знает: после техникума сразу работать пошла, это я в институте балду пинал. Это ее первое ответственное задание было, ну она из себя и изображала важную такую. А глаза-то светятся и зыркают ненароком. Озверевший от своего коллектива, я решил приударить за ней, да без толку. В обед в столовку приглашаю, после работы жду у проходной. Она меня в упор не видит, отвечает: «Спасибо, я сама», смотрит как сквозь дырку и важно так себе дальше плывет. Я за ней тихонечко проследил — вроде никто не встречает, не провожает... да и кольца на пальце нет. Была бы из наших, я бы в отделе кадров про нее быстро разузнал, телефончик и остальное, но она пришла из ведущего института, а там такие секреты, у-у... В общем, ко мне она ноль внимания, килограмм презрения. Я уж совсем оставил эту идею, и вдруг на четвертый день она сама ко мне подходит и спрашивает, не знаю ли я, есть ли тут поблизости кафе-мороженое. Я, конечно, вызвался показать после работы, мол, есть тут одно симпатичное. Пришли туда... я, как сейчас помню, себе два шарика сливочного взял, а ей крем-брюле с орехами и вишневым сиропом. Ну и сифончик с газировкой. Помните такие?.. Ну вот... А сам все понять не могу, за что мне счастье такое. А она — кстати, зовут ее Ниной — спрашивает: «Скажите, а вы и правда чемпион?» Я в непонятках: какой еще чемпион? Я ж в школе физкультуру еле-еле сдал. Неспортивный: сейчас-то еще ничего, мясом оброс, на жены-то харчах, а был тощий, сутулый, соплей перешибешь. «Вы о чем?» — спрашиваю. А она смеется, довольная такая, что меня раскусила, и говорит: «Не скромничайте, я ваш портрет на стенде в отделе видела — “Наши чемпионы”». Ах это, говорю... это я так, случайно — попросили поучаствовать, ну я и пробежал. Нина меня за руку схватила: «Ничего себе, просто случайно пробежали — и сразу чемпион!» Вы, говорит, тренируетесь, выступаете? Я отнекиваюсь, а она не верит: вам, говорит, тренироваться надо, раз у вас талант спортивный. А я ж действительно случайно чемпионом стал. Там такая история вышла, что на спартакиаде «ящика» от нашего отдела двое должны были бежать: Виталий — он вообще спортсмен-перворазрядник, и Сергей Степанович, он тоже спортом здорово увлекался. А Виталий возьми да и заболей. Наш профорг и давай меня агитировать — ты, говорит, просто пробеги, хоть пешком, главное, до финиша дойди. А если никого не выставим на дистанцию, то будет незачет, лишим-

ся очков. Дистанция-то всего километр, ну я и согласился — пробегу уж, ладно, чтобы не подводить родной отдел. Поставили меня в самый сильный забег, ведь я Виталия заменял. Побежали мы... остальные участники вроде не слишком быстро торопятся, я держусь с ними, чуть сзади, но не отстаю. А ближе к финишу они как ломанутся вперед... спурт называется, а мне уже дышать нечем. Последние метров десять вообще пешком шел, чуть не помер. Финиш пересек и упасть хотел, но не дали — говорят, ты походи еще. А какое тут ходить, когда сердце из груди выскакивает и воздуху не хватает. Но ничего, выжил... и результат даже приличный показал: две минуты пятьдесят восемь секунд, до сих пор помню. А Сергей Степанович бежал с такими же чайниками, как и я, и легко победил в своем забеге, но время показал три минуты пять секунд. Очков-то он заработал много, но чемпионом отдела стал я. Один раз в жизни. И как раз вовремя, чтобы Нина наткнулась на мое фото. А она, оказывается, втихаря мечтала о культурном и спортивном парне. Сама-то комсомолка, спортсменка... да и просто красавица. А тут как раз чемпион, да еще и скромный! Вот она и обрадовалась. А пока разобралась, что к чему, уже поздно было. Вот она, судьба, не уйдешь от нее! А скоро и поженились. Но иногда Нина требует, под годовщину знакомства нашего, чтобы я доказывал свое чемпионство, хотя бы на уровне семьи. Вот и сейчас надо освоить лыжи и ее обогнать!.. Так все и вышло, — заключил гость. — А ведь страшно подумать, от каких пустяков иногда зависит наша судьба. Ведь не заболел тогда Виталий, не попади я в сильный забег, бог знает, кем, где и с кем бы я сейчас был... И дети... у меня бы не было этих детей! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я-то точно нашел!

Он весь светился радостью. Наверняка эта история стала их семейной легендой и будет передаваться из поколения в поколение, обрстая все новыми и новыми деталями и вымыслами.

Мы подъехали к магазину. Бежевая подруга, облепленная ниже талии толстым слоем мокрой грязной субстанции, с трудом нашла местечко в хаотическом беспорядке произвольно припаркованных машин, где можно было приткнуться. Я открыл дверцу, глянул на бурую жижу под ногами, вздохнул и погрузил в нее по щиколотку свои протекающие ботинки. Гость легко выскочил в снежную лужу с другой стороны и осветил меня своей искренней и широкой улыбкой. Я стер щеткой налипшую на фары грязь, похлопал «копеечку» по крылу, захлопнул дверцу и, невзирая на холодную струйку, уже подтекавшую под правую пятку, бодро произнес:

— Ну что, пойдем чемпионские лыжи выбирать!

Танец

Мы с «копеечкой» часто попадаем в разные истории, а иногда участвуем и в чужих, которые случаются с нашими гостями. Гости разные и истории разные. Но иногда попадают люди, которые просто притягивают к себе все необычное. Таким человеком была моя подруга Оля. Она не только сама влипла в эту историю, но и нас туда втянула. Но я на нее не в обиде...

Я ворвался домой запыхавшись — кто-то пытался впихнуть в лифт шкаф, который мог туда поместиться только в виде горы опилок. Но грузчики попались серьезные, задорно, с матерком пытались решить нерешаемую топологическую задачу. Потому на девятый этаж я взбежал по лестнице.

Дома был покой и благодать: дочка рисовала, слава богу, не фло-мастерами на обоях, а карандашами на бумаге, на кухне гудел чайник, а няня, пожилая Юлия Семёновна, вышла мне навстречу.

— Здравствуйте! — приветствовала она меня. — У нас все в порядке, девочку я покормила.

— Здравствуйте, Юлия Семёновна! Извините, я немного опоздал.

— Ничего страшного. Я могу идти?

— Да-да, спасибо большое!

Юлия Семёновна степенно оделась, поправила перед зеркалом шляпку и сказала:

— Я вам там пирога с капустой принесла, попробуйте.

— Ой, спасибо! — ответил я, уже заползая на кухню, ведомый голодным урчанием в животе.

— Тогда я пойду, до послезавтра, да?

— Да, спасибо, Юлия Семёновна! — отозвался я из кухни, занося нож над квадратным ломтем пирога.

— Да, вам какая-то Оля звонила, просила перезвонить... дело, сказала, важное. До свидания!

Дверь хлопнула. У меня было несколько знакомых Оль, но тут явно чувствовался почерк той самой Оли. Съев половину оставленного пирога, я заглянул к дочке, которая все еще рисовала, снял трубку телефона и набрал номер:

— Привет! Это я.

— Привет! — ответила Оля.

— Визиваль?

— Визиваль-визиваль... приезжай, ты нам нужен.

— Зачем? Что-то случилось?

— Приезжай, узнаешь. Когда сможешь?

— Я с дочкой, жена поздно придет.

— Приезжай с дочкой, — велела трубка.

С Олей спорить трудно, практически невозможно. Я вздохнул и стал собираться.

Через полчаса мы были в гостях. Дочку усадили в гостиной на диван с пряником в руках и телевизором в поле зрения, где шла передача «Спокойной ночи, малыши!». А на кухне засел военный совет.

Оля сразу жестко осадила меня:

— Пока помолчи, я расскажу, в чем проблема.

Совет состоял из четырех участников (пятый, беспородный кот, дрых на подоконнике): Оля с мужем Мишей, ваш верный (но не очень покорный) слуга и Люба. Люба была Олиной подругой, но я знал ее лишь шапочно — встречал пару раз в гостях.

— Ну, значит, так... — начала Оля и рассказала свежую историю.

Они с Любой занимались латиноамериканскими танцами: танго, сальса, самба и прочие ча-ча-ча. Занимались любительски, но участвовали в каких-то конкурсах время от времени. Были у них партнеры постоянные: у Оли — стеснительный, но музыкальный Саша; у Любы — Василий Сергеевич, солидный и малоповоротливый мужчина. «Грациозный, как танк», — охарактеризовала его Оля, а Люба хихикнула. Так вот, у Любы с Василием Сергеевичем не очень получалось, она не могла понять его «танковые» движения, переживала из-за этого. А вчера так вышло, что «танк» не пришел, Саша тоже заболел, и у девочек родилась смелая идея: Люба будет в паре с Олей за мужчину, ведущей.

— Чтобы она могла понять, что мужчина в танце чувствует, когда ведет партнершу, — пояснила Оля.

И надо же такому было случиться, что вчера Любу привез на занятия муж и остался там же, подождать. Обычно-то она сама приезжает. Сел Алдар, так мужа зовут, в уголочке, и что же он видит: все в парах танцуют как люди, мужчина с женщиной, а его жена — со своей подружкой, да еще и норовит за мужика в танце сойти! Он косился, косился... потом встал и ушел.

Оля замолкла.

— И что? — не понял я.

— А то! — возмутилась Оля. — Алдар решил, что мы лесбиянки.

— Ну, Оля... — Люба покраснела. — Ты что? Не надо так-то.

— Можешь выйти в комнату и не слушать. Этот гад вообще-то не ревнивый, а тут просто с ума сошел: Любку в спальню не пускает, кричит, что с лесбиянками спать не будет. Он, ты понимаешь, к мужикам ревнует спокойно, даже горделиво: вот, мол, какая у меня жена красавица. А тут у него крышу снесло.

Люба забилась в уголок и не поднимала глаз.

— Так... — задумчиво сказал я. — Ну а я-то тут при чем? Надеюсь, вы не хотите, чтобы я... — начал я осторожно.

— И не надейся! — впечатала меня Оля. — Именно ты и докажешь, что она не лесбиянка.

Я вытаращил глаза:

— Для вашего сведения, уважаемая сводница, я женат... и дочка в соседней комнате ваш телевизор смотрит!

Дочка тут же появилась, вцепившись мне в руку.

— Пряника с чаем хочешь? — спросила ее Оля.

Дочь кивнула головой, но руку мою не выпустила, поднялась на цыпочки и прошептала мне в ухо:

— Я в комнату больше не пойду, там страшно.

Ее усадили за стол, налили теплого чаю с сахаром, дали пряник и шоколадную конфету, и она ословело смотрела на взрослые лица кругом и думала о чем-то своем. А нам пришлось сдерживать языки.

— Да нет, ты не совсем правильно понял... — начала Оля. — Никаких откровенных сцен не надо.

— Премного благодарен, — откликнулся я. — А что требуется?

— Завтра в клубе будут танцы...

— Завтра праздник у девчат? — подколот я.

Оля сердито зыркнула и продолжила:

— Будет открытый танцевальный вечер. Люба приведет Алдара...

Люба дернулась с места.

— Приведешь! — скомандовала Оля и повернулась ко мне. — А ты пригласишь Любу, будешь с ней танцевать, пока...

— Вот это «пока» мне совсем не нравится. Этот ваш Алдар случайно не бандит? Стрелять не начнет?

— Не начнет, — отрезала Оля. — Надо вызвать в нем ревность к мужчине, а не к женщине, понятно? А потом ты исчезнешь.

— Что-то мне это не нравится... то «пока», то «исчезнешь»... Ты Мишу не хочешь напярчить?

Миша, все время молчавший, встрепенулся:

— Да я бы, конечно...

— Не выйдет! — перебила Оля. — Алдар Мишу знает, я же там тоже буду, заподозрит неладное.

Я помолчал, потом спохватился:

— Я же танцевать не умею!

— Ерунда! Это неважно, я тебе покажу пару движений.

Я предпринял последнюю попытку:

— Так моя жена...

— С ней я договорюсь, не бойсь, — отбила Оля, и моя участь была решена.

Я подхватил засыпающую дочку и помчался домой, чтобы уложить ее спать. «Копеечка» ехала тихо и плавно, включив инструментальные пьесы по радио, дочка клевала носом на заднем сиденье, а я глазел на проплывающие мимо суматошные огни большого города...

Назавтра мы с «копейкой» ехали по Городу, заливаемому легкой прозрачной темнотой в промежутках между фонарями, и разговаривали.

— Ну вот, никогда еще не доводилось играть... дразнителя ревнивцев, — признался я.

«Копеечка» согласно кивнула, переезжая через трамвайные пути.

— А вдруг он амбал какой, драться полезет, изобьет меня?

«Копеечка» качнулась с боку на бок на неровности дороги, и я понял: если что, она увезет меня так, что никто не догонит.

— Смотри, все очень просто, — говорила Оля. — Вбок, приставил ногу, вперед, приставил ногу... и так квадратом. Держись к Любе ближе, но не лапай.

— Ага, — прошептал я.

— Все, вон они идут. — Оля отскочила от меня и встала неподалеку.

Вошла Люба вместе со здоровым мужиком, чьи монгольские выпирающие скулы и раскосые глаза мне сильно не понравились.

— Он что, китаец? — шепнул я Оле.

— Бурят, — ответила она и отодвинулась.

Алдар оставил Любу в стороне и направился к нам. Буряты — это которые на медведя с ножом ходят, вспомнил я, начиная отодвигаться в



сторону. Бурят не обратил на меня ни малейшего внимания, направившись прямым ходом к Оле.

— Ольга, можно тебя пригласить? — услышал я его неожиданно высокий голос.

Не дожидаясь ответа, он сграбастал Олю и потащил ее на середину зала. Из-за его плеча сверкнули изумленные Олины глаза, а потом их заслонили.

Договор есть договор, и я подошел к Любе, стоявшей около двери. Она положила мне руку на плечо, я ей на талию, и мы отошли от стены, считая все эти «шаг-приставить».

— А что это он Олю пригласил? — спросила Люба.

— Ну как... убедиться, что она не лесбиянка, — объяснил я очевидное и понял, что сделал это зря: Люба остановилась, почти с ненавистью глядя на меня, и я чуть не наступил ей на ногу.

— Простите, я не то хотел сказать... он просто хочет разбить вашу пару, — поправился я. — Давайте танцевать.

Мы снова пошли в танце. Скоро втянулись в ритм.

— Говорите же что-нибудь, — шепнула она. — Вы как бревно танцуете, молча и неуклюже.

После такой мотивации говорить не очень хотелось.

— Ну я не знаю... — протянул я. — А о чем говорить-то?

— Хоть о чем-нибудь.

Я замолчал. Музыка тоже. Люба меня не отпускала, мы так и стояли молча, держась друг за друга — за плечо и талию. Начался следующий танец, мы снова двинулись. И тут меня осенило:

— Знаете что... Давайте... я буду стихи читать, а вы подсказывать, если знаете?

— Давайте попробуем... — сказала она с сомнением.

Черный вечер,
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем белом свете! —

начал я, сбиваясь с такта.

— Что это за фигня? — поморщилась она. — Сами сочинили?

— Это Блок, — сказал я. — Мне такое не сочинить.

— А что-нибудь другое знаете?

К нам на утренний рассол
Прибыл аглицкий посол,
А у нас в дому закуски —
Полгорбушки и мосол, —

закрыв глаза и шагая-приставляя, нараспев читал я гремевшую тогда «Сказку по Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филато-

ва. Этот вариант вроде попал в точку: партнерша раскраснелась, разулыбалась, даже толкала меня рукой в грудь, давясь от смеха. Я тоже улыбнулся.

Вдруг в глазах Любы мелькнул испуг... и следом на мое плечо легла тяжелая рука. Я оглянулся. Рядом стоял бурят, тяжелый взгляд метался между Любой и мной. Из-за спины бурята выглядывала Оля.

— Вы позволите... — обратился он ко мне.

Это был не вопрос, а утверждение. Я отошел в сторону. Алдар взял Любу за руку и потащил ее к выходу. Я оглянулся: Оля пожала плечами.

По дороге домой я рассказал «копеечке» о сегодняшнем приключении:

— Ты знаешь, стихи — великая вещь! Интересно, а автомобильные стихи бывают?

«Копейка» согласно кивала и сочувственно поскрипывала.

Поздно вечером в затихшей уже квартире затрепетал приглушенный телефонный звонок.

— Да, — сказал я сонно в трубку.

— Урмас! — ворвался Олин голос. — Спасибо тебе, все отлично!

— Что отлично?

— Люба! Она помирилась с Алдаром! Все хорошо, но...

— Что «но»?

— Она больше не будет ходить на танцы.

Гипнотизер

День не задался. Все шло не так, наперекосяк. Знаете, как это бывает, когда ни с того ни с сего все валится из рук, проблемы возникают на ровном месте... Лучше спрятаться под теплое одеяло и переждать такой день. Переждать я не мог, были дела, поэтому пришлось просто переживать. Я тихонько сидел в своей бежевой «копеечке», а она аккуратно везла меня домой. Уверен, она бы меня доставила, даже если бы я свернулся калачиком на заднем сиденье, но во избежание недоразумений я сидел на водителском месте и делал вид, что управляю. «Копейка» спокойно ползла в правом ряду, а я глазел по сторонам. Мы уже выбрались из центра и ехали по бывшим кварталам доходных домов. Я сфокусировал взгляд и стал разглядывать людей на тротуарах. Вот идет дама с детской коляской, то ли молодая бабушка, то ли поздняя мама, к коляске привязана мелкая собачка, которая без умолку тявкает и норовит попасть даме под ноги. А вот навстречу движется представительный мужчина, гордо несущий элегантную, с проседью, бородку-эспаньолку, в легком плаще нараспашку и с основательным кожаным портфелем в руках. «Да я же его знаю!» — сказал я сам себе и перехватил управление у бежевой подруги, нажав на тормоз.

Пока мужчина приближался, я, почти лежа на переднем сиденье, открывал окно пассажирской двери, заодно судорожно вспоминая его имя.



— Э-э-здравствуйте, Иван Алексеевич! — выкрикнул я, когда он уже проходил мимо.

Он остановился и начал изумленно озираться. Тогда я выскочил из машины и подошел к нему.

— Э-э-здравствуйте! — снова сказал я.

— Здравствуйте... — ответил он, слегка картавя и выпячивая вперед бородку.

— Вы меня, наверное, не помните, меня зовут...

— Секундочку, — перебил он меня, — я сам...

Он закрыл глаза, и я почти услышал, как в его голове включилась мощная машина, шаря по отсортированным шкафам и полкам. Машина щелкнула, он открыл глаза, улыбнулся и четким голосом произнес:

— Урмас... фамилию точно не помню, но нерусская и смешная.

Я радостно кивнул, а он продолжил:

— Заикание в детском возрасте, интересный случай, сам себя напугал своим же воображением. — Он широко улыбнулся и поприветствовал меня: — Здравствуй, Урмас!

Здесь, пожалуй, стоит пояснить, кто такой Иван Алексеевич и откуда он меня знает.

Началось все, когда я был в детском саду, в подготовительной группе. Детский сад был в запущенном состоянии, но детей это мало волновало. Зато нас очень волновала дыра в заборе, куда вполне мог пролезть шестилетний ребенок. Воспитатели тоже знали о дыре, но почему-то ее не заделывали, а вместо этого говорили нам, что за забор детям одним, без взрослых, выходить нельзя, так как там ходит черный человек, который, если видит одинокого ребенка, кидает его в мешок, уносит в лес и там съедает.

Мы — Лёшка, Вадик, Саша и я — сидели в беседке и пересчитывали желуди, нужные для какого-то очень важного дела. Желудей немного не хватало, и мы держали совет, где бы раздобыть еще.

— А вон дуб за забором, — сказал Вадик. — Там много желудей, я вчера с папой шел, хотел взять, а он не разрешил.

— А ты сегодня папу попроси, может, он разрешит, — предложил Лёшка.

— Не-е, пацаны, — подражая старшему брату-школьнику, сказал Саша, — желуди нам сейчас нужны, не вечером.

— Да-а... — протянул Лёшка, который был у нас генератором идей. — А давайте... встанем у забора, подождем, когда старушка добрая пойдет, и попросим нам желудей дать.

Идея всем понравилась. Мы подошли к забору напротив дуба, благо это было рядом с игровой площадкой нашей группы, и стали ждать. Ждали долго, минут, наверное, пять. Никто не шел мимо.

— Пацаны, — теперь уже я подражал Сашиному брату, — а давайте через дырку вылезем, быстро соберем желудей... и назад.

— Да-а? А черный человек? — возразил осторожный Вадик.

— Воспиталки нас обманывают, — заверил его я. — Нет никакого черного человека. Если бы он был, его бы давно милиция поймала.



Я видел в телевизоре. Они бы одного милиционера в ребенка переодели, а сами в засаду сели, с собакой. Черный человек захочет ребенка в мешок засунуть, а его собака за руку укусит, а милиция арестует!

— Да-а? А вдруг не поймали?.. — не очень-то поверил Вадик. — Вот ты и иди тогда. Или трусишь?

— Я? — С меня от возмущения аж панамка упала. — Да сам ты трус!

— А давай... ты пойдешь, — смекнул Лёшка, — а мы тут постоим. Если черный человек придет, мы воспиталку крикнем, а она милицию зовет.

На том и порешили. Я осторожно, стараясь не ободрать коленки, полез за забор. С той стороны я радостно помаhal друзьям, белевшим лицами сквозь щелки, и направился к дубу. Сердце резво скакало между желудком и горлом, в ушах гудело, ноги еле слушались... Вот и желуды. Я быстро-быстро схватил несколько штук и показал друзьям по ту сторону забора. Они радостно замахали руками: бери еще! Я успокоился, начал собирать еще, выбирая получше и покрупнее. Когда карманы оказались полны и даже в руках было по пригоршне желудей, я выпрямился и с видом героя-победителя двинулся назад, к дыре в заборе. И вдруг из-за угла стремительным шагом вышел высокий худой дядька с густой бородой. Он был одет в черную рабочую робу, черные же штаны и резиновые сапоги. А на спине он нес черный рюкзак...

В себя я пришел уже дома, в окружении родителей и даже бабушки. Говорить я почти не мог — нервный стресс вызвал сильнейшее заикание. Для излечения меня направили к детскому невропатологу. Мне повезло: мой случай оказался довольно необычным, и Иван Алексеевич, работавший над докторской диссертацией, взял меня в свою группу.

Как оказалось, основной причиной детских логоневрозов является испуг, и больше всего случаев связано с большими собаками, приблизившимися к ребенку. (Ау, владельцы собак, вспомните, пожалуйста, об этом перед тем, как выпустить вашего добродушнейшего сенбернара побегать в парке без поводка.) Далее следуют семейные ссоры, падения... А такое, чтобы ребенок сам себе нафантазировал причину, встречается не слишком часто. Дело в том, что Вадик, Лёшка и Саша клялись, что никакого черного человека не было, но ведь я-то его видел... Иван Алексеевич, расспрашивая меня о черном человеке, попросил даже нарисовать его и сказал, пряча в бороде хитрую улыбку: «Ты, брат, того... поосторожней со своими фантазиями, а то такого нафантазируешь, что не расхлебать будет».

Лечение было нестандартным (диссертация все-таки!) и заключалось в сеансах лечебного гипноза и физических упражнениях. На сеансах вся группа укладывалась в большой комнате на кушетки, и Иван Алексеевич громко говорил:

— У вас закрываются глаза, веки тяжелеют... вы засыпаете, а когда проснетесь, будете говорить нормально... — после чего выходил из комнаты.

Нет, иногда я, конечно, засыпал, если был уставший, но обычно просто тихо лежал, глядел в потолок, выискивая в узорах трещин инте-



ресные картины (мне нравилась одна кушетка, над которой то ли медведь, то ли тигр лез на наклоненное ветром дерево), в уме решал задачи или просто мечтал. Про себя я очень гордился, что могу противостоять гипнозу, но никому об этом не говорил, ибо боялся, что меня тогда выгонят из группы.

Ровно через час Иван Алексеевич возвращался и говорил:

— Глаза открываются, вы просыпаетесь легко и говорите лучше...

Так продолжалось несколько лет. И методика сработала: к пятому классу я почти перестал заикаться, хотя, если волнуясь, легкое запинание дает о себе знать до сих пор, что, как говорят знакомые девушки, только добавляет мне шарма...

— Здорово вы меня вычислили, — восхитился я. — У вас же таких, как я, сотни были, если не тысячи. Всех не упомнишь.

Он улыбнулся доброй и снисходительной улыбкой доктора Айболита:

— Каждый ребенок — особенный. Да и твое остаточное запинание я и сейчас слышу. А память у меня профессиональная, я же врач. В общем, не так уж и сложно тебя вспомнить было. А твой случай с черным человеком вообще особенный был. Обычно детей пугают, а ты сам себя запугал. Ну и мальчик ты был интересный.

— Здорово! — воскликнул я. — А я ведь вашему гипнозу не поддавался, вы знаете?

— Не поддавался? — улыбаясь теперь уже лукаво, переспросил Иван Алексеевич. — И как это выглядело?

— А я не спал на ваших сеансах! — с гордостью выпалил я.

Его борода затряслась, улыбка расплзлась на все лицо, открывая не очень белые крепкие зубы.

— То есть ты утверждаешь, что не поддаешься моему внушению, так?

— Именно так, Иван Алексеевич!

— Ну хорошо. — Он пригладил рукой свою эспаньолку и предложил: — Давай... сделаем эксперимент. Ты можешь завтра прийти ко мне в поликлинику к десяти часам?

Вообще-то у меня были другие планы на завтрашний день, но тут пахло приключением!

— На «слабо» берете? — в свою очередь улыбнулся я. — У вас кабинет все тот же?

— Тот же.

— Хорошо, я завтра приду... и учтите, спать не буду, если только хлороформом не опрыскаете.

— Обещаю, что обойдемся без хлороформа.

На следующее утро мы с «копеечкой» уже неслись, слегка опаздывая, сквозь пыльное утро навстречу весеннему солнцу, слепо пронизывающему полуголые кроны деревьев, на которых уже начинали разворачиваться липкие зеленые листочки. Настроение было радостное и задорное.

Припарковав бежевую подругу на тихой улочке, я зашел в хорошо знакомую детскую поликлинику. Я не был здесь много лет, но, потянув на себя ручку входной двери, сразу понял, что ничего не поменялось: все тот же аптечный запах, те же голубые стены, тот же обшарпанный гардероб. Впрочем, нашлось и существенное изменение — все стало гораздо меньше в размерах. Я превратился в великана: громадный холл перед регистрацией стал каким-то тесноватым, а длиннющий широченный коридор, по которому я раньше бегал вокруг мамы, оказался не таким уж и длинным и довольно узким, настолько, что можно было, растопырив руки, дотронуться до обеих стен сразу. Радостный задор сменился смущенной улыбкой: так часто бывает, когда, попав в хорошо знакомые с детства места, школу, детский сад или родительскую квартиру, хочется поиграть, как раньше, но боишься неловким движением сломать этот хрупкий мирок. В таком смущении я и подошел к закутку, где помещался кабинет Ивана Алексеевича, постучал в дверь.

— Да-да... — раздался знакомый голос из-за двери, я повернул ручку вниз, потянул дверь на себя и вошел.

Это было не совсем то, что я ожидал. Иван Алексеевич стоял посреди хорошо знакомого мне кабинета. Сам он совершенно не изменился за прошедшие годы: все тот же пронзительный взгляд из-под густых бровей, все та же эспаньолка, из иссиня-черной ставшая цвета молотого перца, все та же элегантность и благородство осанки. Но он был не один. По стенам кабинета жалась молодежь, дюжина парней и девушек в белых халатах и с испуганными глазами.

Иван Алексеевич подошел ко мне и протянул руку. Я ее робко пожал и чуть не взвыл от боли, почувствовав себя Дон Гуаном, пожимающим прохладную десницу Каменного Гостя. А он наклонился ко мне и тихонечко прошептал:

— Молодец, что пришел, я думал, что испугаешься.

— Ну что вы, Иван Алексеевич, вас я не боюсь... — так же тихонечко ответил я.

Он мне подмигнул правым глазом и громогласно объявил:

— Знакомьтесь, это Урмас, мой бывший пациент. У него был сильный логоневроз, он почти прошел. И Урмас утверждает, что устойчив к внушению.

— Д-да, ус-с-стойчив... — подтвердил я, заикаясь больше обычного и опровергая тезис о своем излечении.

— Ну вот и отлично! — обрадовался Иван Алексеевич. — А это студенты-медики, я им свои методы демонстрирую.

Тут на меня навалилась паника: какие методы?! Но отступить было поздно. Иван Алексеевич прохаживался за моей спиной и втолковывал студентам:

— Врач должен владеть базовыми элементами внушения. Я вам сейчас покажу...

Он вышел из-за моей спины и, прожигая своим темно-серым взглядом, вкрадчиво спросил:



— Ты согласен?

— С-с-согласен, но предупреждаю, у вас н-ничего не получится.

Он снова снисходительно улыбнулся, но потом принял очень серьезный, почти сердитый вид, встал напротив и, глядя даже не в глаза, а сквозь них, прямо внутрь меня, негромко, но твердо и монотонно, немножко нараспев начал говорить:

— Ты смотришь мне в глаза... следишь за моим голосом... не отвлекаешься...

Ага, смекнул я, шоу началось. Интересно, а где он меня будет спать укладывать? Ха, а я-то не подчиняюсь его повелительному голосу, отлично себя контролирую!

Голос между тем продолжал:

— Твое тело перестает тебя слушаться... ты им не управляешь...

Ну да, как же, думал я про себя. Стою себе и стою, спать не хочется, ничего у вас не выйдет. Но, с другой стороны, не хочется Ивана Алексеевича перед студентами позорить. Ладно, прикинусь, что поддался, глазки закрою, всхрапну чуток, а ему после подмигну или еще как-нибудь покажу, что не сплю. Он и поблагодарит меня потом... С принятием такого компромиссного решения жить стало легче.

— Твои мышцы деревенеют... — монотонно гудел в голове голос.

Приходилось напрягаться, чтобы понять смысл слов, но я вроде справлялся. Вдруг голос сменился с распевного на обычный, и Иван Алексеевич обратился к кому-то:

— Ну вот, так хорошо. Вы и вы, будьте добры, поставьте сюда эти два стула.

Справа от меня раздался скрип, хотелось посмотреть, что там происходит, но... не хотелось поворачивать голову. Хотелось просто стоять и смотреть вперед, прислушиваясь к происходящему, что я и делал.

— Так, а теперь берите его аккуратненько и кладите на стулья, — услышал я распоряжение Ивана Алексеевича и заинтересовался, о чем это он.

И тут же понял, что это обо мне. Я вдруг наклонился: два студента поздравнее схватили меня как бревно, за плечи и ноги, и придали мне горизонтальное положение. Скосил глаза и увидел, что около стола стоят два стула, на расстоянии полутора метров друг от друга. К ним меня и несли студенты. Сделав три шага, они водрузили меня на эти самые стулья, затылком на один, а пятками — на другой. Вернее, водрузили не меня, а мое одеревеневшее тело, которое спокойно себе покоилось между стульями. А сам я ужаслся до размеров головы, которая с изумлением взирала, кося глазами вниз, на то, что недавно было вполне молодым и здоровым телом, полностью мне повиновавшимся. Но каким бы здоровым оно ни было, удержаться между двумя стульями все равно не смогло бы! Я попробовал пошевелить правой рукой — глухо. Не то чтобы не получалось, просто не хотелось: мозг отказывался посылать сигнал руке. Левая нога? Та же история.

А Иван Алексеевич тем временем объяснял студентам:

— Видите, мышцы напряглись и одеревенели, в нормальном состоянии такого не достичь даже интенсивными тренировками. Смотрите...

И он сел мне на живот да еще и стал подпрыгивать. Уже неподвластное мне тело не ощущало ничего, зато голова от изумления готова была взорваться. Теперь понятно, что чувствовала голова профессора Доуэля... но зато ничего не чешется, не болит и не отвлекает от впечатлений. Я все слышал и понимал, я видел тело в моей одежде, лежавшее на двух стульях... И я ничего не мог поделаться — голова не контактировала с телом! Я решил, что схожу с ума, что мне все это снится, ведь этого не может быть.

Иван Алексеевич наконец встал, посмотрел на меня и подмигнул; эспаньолка чуть дрогнула, обозначая незаметную усмешку.

— Тело возвращается к тебе, оно становится послушным.

Тут же раздался грохот, и я почувствовал боль в заднице: вернувшись под мой контроль, тело не смогло удержаться между стульями и по всем законам физики грохнулось на пол. Студенты захихикали. С трудом поднявшись, — все мышцы покалывало иголочками, как затекшую ногу, — я начал себя ощупывать, все еще не веря в произошедшее.

— Ты пока посиди, — сказал мне Иван Алексеевич и усадил на стул, на котором минуту назад лежал мой затылок.

Он еще что-то говорил студентам, но я не слушал, переваривая произошедшее. Вскоре Иван Алексеевич выпроводил студентов и вернулся ко мне. Я уже почти пришел в себя. Он включил чайник и, перебивая шум закипающей воды, громко спросил:

— Чай или кофе?

— Какой кофе? — машинально спросил я.

— Растворимый.

— Кофе... — сказал я. — Пойдет и растворимый.

Иван Алексеевич налил мне кофе, себе старательно заварил чаю, помешал ложечкой, шумно и с удовольствием отхлебнул, а потом поинтересовался:

— Ты что-то хочешь сказать?

— Да, Иван Алексеевич, что это было?

— Внушение.

— А я думал, вы меня спать будете укладывать.

— Зачем же сразу спать... Так интереснее получилось.

— О да, очень интересно!

— А ты молодец! Здорово сопротивлялся, — неожиданно похвалил Иван Алексеевич.

— Сопротивлялся? — удивился я. — Да вы же делали со мной что хотели! Положили между стульями да еще и попрыгали, а я и пикнуть не мог.

— Видишь ли, ты действительно сильно сопротивлялся внушению, и я не смог бы подчинить твое сознание, — тут он снова подмигнул мне и добавил: — Но есть и другие пути... Я твою голову изолировал, отключил от тела.

— А вы могли бы меня, например, послать банк грабить в таком состоянии? — поинтересовался я.

Он громко и заразительно рассмеялся:

— Бряд ли. Раз я не могу подчинить твоё сознание, мне пришлось бы командовать твоими руками-ногами: «Левая нога приподнимается, делает шаг вперед...»

Я тоже засмеялся, представив себе таких грабителей. А он ещё отпил чаю, посерьёзней, повертел в руках какую-то бумажку и сказал:

— Обычно внушаемые люди не помнят, что с ними было, а ты все помнишь, все понимаешь. Ты просто не ожидал, что я тебя отделию от тела.

— А почему же вы тогда меня не отключали, ещё раньше, когда я спать не хотел?

— А ты знаешь, сколько сил у меня сегодня ушло, чтобы этот фокус показать перед студентами? Не знаешь... Это не так просто, тем более что ты сопротивлялся. А вас у меня было шесть групп, в каждой по десять детей... и все разные. Меня бы просто не хватило, если бы я с каждым выкладывался. Половина и так спала, внушаемые были, а такие, как ты... Эти сеансы ведь и тебе помогали.

И вдруг меня осенило:

— Иван Алексеевич, а вот йоги — они же умеют вводить себя в такое состояние сами и могут делать всякие вещи потом: ходить по углям, обходиться без еды и воды, практически останавливать сердце. Они сами себя гипнотизируют? Можно ведь и себя гипнотизировать?

Иван Алексеевич посмотрел на меня поверх чашки, из которой допивал чай, глаза его блеснули, и он ответил:

— Вот и подумай об этом, а мне пора прием начинать. Потом можешь забежать, рассказать, что придумал.

— Последний вопрос можно?

— Давай!

— А вы знали, что я не спал на ваших сеансах? — спросил я робко.

— Знал, знал... я вообще все знаю, — весело сказал он, сурово сдвинув густые брови.

— Ну уж прямо-таки все?

— Конечно, все, я даже твои мысли читать могу. Хочешь проверить? — Его голос теперь грохотал.

— Нет, спасибо, я лучше пойду.

Я попытался к двери. Он, конечно, шутил, но после сегодняшнего опыта я уже ничему не удивился бы. Взявшись за ручку двери, я замешкался. Меня так и подмывало попросить его обучить меня азам этого искусства, и он наверняка предвидел такой вопрос, судя по насмешливому взгляду. «Да ну его к лешему, обойдусь и без таких фокусов!» — решил я про себя и решительно открыл дверь.

— До свидания, Иван Алексеевич!

— Счастливого, Урмас! — ответил он, и его бородачка поднялась кверху. — И не бойся фантазировать!

Мороженое

По всем признакам, включая прогноз погоды по радио, день должен был быть жарким. Еще только десять часов утра, а воздух уже парил легкой, пахнувшей березовым веником дымкой, раскаленная добела сковорода в небе прожаривала все, до чего могла дотянуться, но в тени было вполне терпимо.

Мы с мамой собирались на дачу. Вернее, собиралась она, а мы с «копеечкой» должны были доставить ее вместе с важным объемным грузом. По поводу такой оказии коридор был забит большими сумками и маленькими кулечками, а проход перегораживал неподъемный рюкзак.

— По дороге еще в магазин заедем продуктов купить, ладно? — спросила мама, записывая аккуратным почерком что-то в длинный список на тетрадном клетчатом листке.

— Конечно, — сказал я.

— Лучше бы в городе зайти, там и выбор лучше, и подешевле, а то в киоске у станции все дорого.

— Хорошо, давай в наш универсам заедем, а потом уже сразу рванем.

— Знаешь, мороженое бы еще купить для Тёмы и Сёмы, которые в зеленом доме, они любят мороженое. Только ведь не довезем, растает. А у станции не продают мороженое, у них холодильник барахлит... Жалко.

— Спокойно, купим мороженое, не растает.

Мама немного удивленно на меня посмотрела, а я, ни слова больше не говоря, нырнул прямо сквозь завесу из курток, пальто и даже одной шубы в крошечную темную кладовку, прячущуюся сзади, и на ощупь стал шарить на средней полке справа. Ага, вот и он...

— Да вот он, нашел! — закричал Миг, поднимая с земли небольшой нож, типа финки, только тупой и без канавки для стока крови.

Мы учились метать нож, выбрав в качестве мишени толстую сосну над небольшим песчаным обрывом. Миг умудрился не то что не воткнуть (это называлось у нас «вторнуть») нож, но даже не попасть в дерево, и теперь мы лазали под обрывом, выискивая наше метательное оружие. Мы — это великолепная *у-дачная* четверка: Миг, Санька, ваш верный слуга по прозвищу Ил и Светка, которая сама нож не кидала, но лучше всех знала, как именно это надо делать. Всем нам по 9—10 лет, мы обитаем каждое лето на соседних дачных участках, вполне самостоятельны и больше ни с кем не дружим.

Тут надо пояснить наши прозвища. В первый год, когда мы только приехали на эту дачу, я отправился обнюхивать окрестности и наткнулся на худенького смуглого мальчика, который немедленно вступил со мной в перепалку на правах старожилы. Перепалка быстро переросла в тесный физический контакт. Я был крупным и миролюбивым мальчиком, драться не любил и со сверстниками обычно разбирался быстро, сжимая в



объятыях, как удав, пока те не просили пощады. Этого шустрого противника я никак не мог ухватить, он носился вокруг меня и норовил дать подсечку и завалить, но я на такие простые приемы не велся. Беготня скоро затихла сама собой, и мы встали напротив друг друга.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Игорь, я из того дома. — И он указал пальцем за мою спину.

Смотреть на его дом я не стал — тоже мне, дурачка нашел: я обернусь, а он подсечку сделает.

— Да ты не Игорь, а прям Миг какой-то, шустрый, никак не ухватить.

Сравнение с истребителем Игорю явно понравилось, он расслабился и сказал:

— А ты... ты... Ты тогда Ил!

— Почему?

— Здоровый, сильный, никак не свалить!

Поскольку Ил-2, легендарный штурмовик Великой Отечественной войны, был моим любимым самолетом, я согласно кивнул и улыбнулся. Так мы и стали Мигом и Илом. Санька и Светка появились в нашей компании позже и прозвищ уже не получили.

Следующим кидал я. Вытянуть вперед левую руку, как бы обозначая цель, правая, держа нож за лезвие, отводится назад. Бросок! Нож звонко ударяется рукояткой в сосну и отскакивает.

— Перекрутил, — комментирует Светка. — Надо, чтобы он остриме вперед летел, а не крутился. Вот у Мига правильно летел.

— Зато он в дерево не попал, — буркнул я, и тут мне пришла в голову идея: — А если нож с двумя лезвиями сделать, с разных сторон, у меня как раз сейчас вторнулся бы.

— Ага, — подхватил Санька, — а если со всех сторон сделать, то звездочка получится, как у ниндзя. Она всегда втыкается.

— А к нам дядя Слава приезжает, — вдруг выдал Миг. — Он военный летчик.

Мы сразу забыли про ножи.

— Он на Миге летает? — спросил я.

Светка хихикнула.

— Нет, — честно признался Игорь, — вообще-то он сам не летает, он там на аэродроме самолеты чинит.

— А говоришь — летчик... — обиделся Санька.

— Да летчик он, капитан ВВС, у него и петлицы с крылышками! И летать он умеет, — в свою очередь обиделся Миг.

— А когда он приезжает? — уточнил я.

— Сегодня, на 18:10 или 19:05...

Вскоре мы разбежались по домам обедать, а в половине шестого вновь собрались на вытопанной лужайке напротив калитки Мига.

— Пойдем встречать твоего летчика? — спросил Санька.

— Его мама будет встречать, — ответил Миг.

И точно: из калитки вышла его мама, довольно крупная и очень добрая женщина.

— Тетя Нина, — выступил я вперед, — вы на станцию?

— Да.

— А можно мы с вами?

— Все, что ли?

— Да, можно? — встряла Светка, испугавшись, что вдруг ее не возьмут.

Тетя Нина посмотрела на нас, подумала, улыбнулась своим мыслям и предложила:

— Так, может, тогда я не пойду? Как раз салат доделаю. Вы же справитесь? Игорек, ты помнишь дядю Славу?

— Помню... — недовольно ответил Миг, и тут лицо его просияло: он понял, что будет главным встречающим, а мы уже окажемся при нем. — Да, помню! — уже твердо сказал он. — Айда со мной, а то опоздаем!

И мы побежали на станцию.

На пустом перроне мы в восемь глаз смотрели на горизонт — кто первый увидит одинокий прожектор электрички. Один раз Светка закричала: «Едет!» — но ее быстро приструнили, потому что ничего там, конечно же, не ехало. Зато когда вдали действительно появился свет из-за поворота железной дороги, никто не закричал. Мы сбились в кучку в начале платформы и молча ждали. Электричка остановилась, открыла двери, закрыла, резко свистнула и тронулась. Помощник машиниста появился в открытой двери, помахал нам рукой, но мы на него не смотрели, разглядывая людей на платформе. Старушка в расчет не шла, равно как и молодой парень, который, спрыгнув с платформы, исчез в кустах с противоположной стороны. К нам шли два оставшихся кандидата — невысокий, полноватый улыбающийся дядька в вытертом костюме со спортивной сумкой и высокий седой мужчина в брезентовой куртке и с рюкзаком. Высокий еще сошел бы для военного, но он был слишком стар для летчика. Да и оба были в гражданской одежде. Получается, не приехал...

Мы с Санькой было повернулись и пошли к станции, как услышали сзади высокий и громкий голос:

— Ба, да это же Игорь! Ну ты и вырос! Я же тебя уже два года не видел!

Мы обернулись. Коротышка хлопал нашего Мига по плечам, а шустрая Светка уже вертелась рядом. Да-да, именно этот разговорчивый толстячок и был тем самым военным летчиком.

— Это все твои друзья?.. Как вас зовут?.. Здорово!.. Вы же тут все лето, да?.. А тут хорошо!.. Ну давайте, ведите меня... — трещал он не переставая.

Не так мы себе представляли летчика-аса.

— Дядя Слава, а ты летчик? — осмелился спросить Миг.

— Конечно! Я же рассказывал.

— А он сказал, что вы не летаете, а самолеты чините, — встряла Светка.



— Да, чиню, — согласился мужчина. — Но и летаю иногда, чтобы квалификацию не потерять.

— А на чем летаете? — не выдержал я. — На Мигах?

— Нет... — засмеялся он. — Не всем же на Мигах летать, я на «аннушках» летаю.

Мы загрузили.

— Слушайте, ребята, — закричал летчик, — а давайте я вам всем мороженое куплю! Где тут магазин?

Мы переглянулись.

— Тут нет магазина, — на правах главного озвучил горькую правду

Миг. — Мороженое не купить.

Дядя заметно огорчился, но сказал:

— Я вам обещаю, будет вам мороженое, честное слово!

Мы согласно покивали головами: взрослые часто обещают...

На следующий день мы после завтрака собрались на любимой черемухе, рассевшись, как воробьи по веткам. Саньки еще не было, и мы со Светкой нападали на Мига, визнавая, что ему дядя рассказывал про полеты. Миг отбивался, что вчера он ничего не рассказывал, только про то, что далеко зашлют, а сегодня его вообще с утра не было, уехал куда-то.

Тут подошел Санька и первым делом спросил:

— Ну и что дядя про самолеты рассказывал?

Мы все засмеялись, но тут Миг, который сидел выше всех, закричал:

— Дядя Слава идет!

И точно, тот шел быстрым шагом, явно со станции, с сумкой через плечо. Увидев нас, он помахал рукой и скрылся за калиткой.

Через несколько минут выбежала Игорева мама и строго сказала нам:

— Слезайте с дерева и давайте все к нам на веранду.

— Зачем? — спросил Миг, спрыгивая со своей ветки.

— Надо! — ответила мама и, уперши руки в боки, взглядом загнала нас на веранду.

Там в вазочках лежало вкусно подтаявшее мороженое и стояли стаканы с ревеневым компотом. Мы замерли на входе: после месяца «воздержания» вдруг увидеть перед собой такое лакомство... это надо было прочувствовать, излиться слюной, несколько раз сожрать это великолепие глазами и только потом прикоснуться. Во главе стола сидел дядя-летчик и радостно нам улыбался.

У меня в голове что-то щелкнуло, я сопоставил два события и спросил:

— Дядя Слава, это вы мороженое принесли?

Он кивнул.

— Но оно же здесь не продается.

Он снова кивнул.

— Давайте-ка садитесь, — подтолкнула нас тетя Нина.

Не заставив себя упрашивать, мы свиристелью на куст рябины налетели на стол и в мгновение ока выели и вылизали вазочки.

— Дядя Слава, так откуда мороженое? — спросил Миг.

Тот только подмигнул и отшутился:

— Военная тайна. Понравилось?

Мы хором закивали головами. Еще бы не понравиться: чуть подтаявшая масса, где явно смешались черносмородиновый, лимонный и едва уловимый ванильный вкусы, да в обещающий быть жарким летний день на даче.

— Спасибо! — первой сообразила Светка, наши негромкие благодарности подтянулись следом.

— Ну и отлично! — согласился дядя. — Завтра будет еще, приходите.

Весь день мы обсуждали, как он привез мороженое. Версии сыпались непрерывным потоком. Было понятно, что он ездит за лакомством на электричке. Но куда? Мы проверили расписание — он приехал утром на электричке из Города. Но ехать туда больше часа, все купленное растает. В Зеленогорске наверняка можно купить мороженое, но это все равно полчаса езды. Мы пытались выяснить у Мига, когда дядя уехал, но тот не знал — спал. Из Зеленогорска тоже не привезти, решили мы: полчаса ехать да еще десять минут идти — мороженое растает. Может, на соседней станции магазин открылся, а мы не знаем? На том и сошлись.

На следующее утро штаб снова заседал на черемухе. Миг доложил, что объект ушел из дома в восемь утра. Мы даже сбегали на станцию посмотреть расписание: наверняка он уехал электричкой на 08:13, но до сих пор почему-то не вернулся, сейчас было уже десять.

— А давайте подождем электричку через пять минут? Посмотрим, приедет он или нет, — предложил я.

Все согласились.

После отхода поезда на платформе остался один человек — дядя Слава, опять с сумкой.

— Ну что, мелюзга, — добродушно приветствовал он. — Мороженое дома получите, пойдём.

— Дядя Слава, — Миг на ходу пытался заглянуть в сумку, — а оно не растает?

— Спок! Не растает.

— Там у тебя лед в сумке? — допытывался Миг.

— Лед? — засмеялся дядя и открыл сумку.

Там лежал термос.

— Термос? — удивился Санька. — Он же для горячего, чтоб не остыло.

— И для холодного, чтоб не растаяло, — продолжил летчик, его и без того широкое лицо расплылось еще шире. — Вы что, не знаете, что термос не греет, только сохраняет тепло или холод? И шуба, кстати, тоже.

В этот день мороженое было сливочным, с изюмом, и крем-брюле, а назавтра — ореховое и снова черносмородиновое.

А через три дня дядя Слава уехал, и мы снова остались без мороженого в термосе.

Я вынырнул из кладовки, держа в руках литровый «суповой» термос с широким горлышком, который мы часто брали с собой раньше, а сейчас он стоял забытый.



— А ведь и правда! — воскликнула мама. — А ты помнишь, на даче папа Игоря так мороженое возил?

— Не папа, а дядя, — поправил я и начал вытаскивать мешочки и кулечки на лестничную площадку.

Группа быстрого реагирования

Погода была мерзопакостная. Мелкий холодный дождь висел в воздухе, то сгущаясь, то разряжаясь порывами ветра, который гнул уже полностью обнаженные деревья и гудел в фонарных столбах. Даже в полдень было ощущение вечера, усугубляемое спазматическими припадками сонливости. Мы ехали к дому, делать ничего не хотелось. «Копеечка» дворниками размазывала по лобовому стеклу то ли слезы, то ли сопли, монотонно шлепая лысоватыми шинами по мелким лужицам. Из глубоких же луж она вздымала фонтаны грязной воды, забрызгивая не только окрестности, но и собственное стекло. Еще два поворота, и мы на привычной стоянке, где бежевая подруга останется мокнуть под открытым, хоть и охраняемым небом, а мне... Я с содроганием представил себе дорогу от стоянки до дома, которую преодолею бегом — под горку, между домами, потом по узкой тропинке напрямик между кустами, нырнуть в парадное... и все равно буду мокрый как цуцик. В багажнике под ковриком лежит драный зонтик, но в такую погоду он не поможет. А дома придется первым делом содрать мокрые куртку и джинсы и поставить чайник.

Едва различимое в серой пелене размытое красное пятно светофора позеленело, и «копеечка», покряхтывая, тронулась, поворачивая направо на предпоследнем перекрестке. Впереди замаячило несколько темных фигур с размытыми очертаниями. Я убрал ногу с газа, чтобы не обдать никого грязным фонтаном, «копейка» послушно сбросила скорость. Одна из фигур вдруг шагнула на проезжую часть, заступая дорогу. Мы остановились. Человек подошел совсем близко и открыл бежевую дверцу с правой стороны. Только сейчас я смог разглядеть крупного мужчину средних лет, невыспавшегося, в бронежилете и с автоматом в руках.

— Слышь, друг, выручи, а? — неуверенно попросил он, и робость его просьбы настолько противоречила брутальному облику, что я, несмотря на неадекватность ситуации, улыбнулся.

Он воспринял улыбку как одобрение и, крикнув прочим «поехали!», широко распахнул дверцу, грузно усевшись на сиденье рядом со мной. Я присмотрелся: устало сжатые губы, трехдневная щетина, но не модная холеная, а просто запущенная, и насмешливые глаза, продолжающиеся морщинками улыбки. В бронежилете поверх пятнистой камуфляжной куртки, он занял все пространство справа от меня, поставил автомат с коротким прикладом и без магазина между ног, где уже собралась небольшая лужа. Задние дверцы одновременно хлопнули, и бежевая подруга прижалась к мокрому асфальту, натужно крякнув просевшими пружинами. В зеркало я увидел еще двоих парней, тоже в латах и с оружием, совсем молодых, лет двадцати двух. У одного по скуле стекала

грязная струйка, лица другого не было видно, только глаза и зубы белели в сумерках.

— Куда? — спросил я.

— Вперед пока, тут недалеко, я покажу, — сказал старший и обернулся убедиться, что его подопечные в порядке.

«Копеечка» тяжело стронулась с места и, наращивая скорость и высоту фонтанов брызг, побежала вперед, раздвигая морось.

— побыстрее можно? — спросил старший.

Я пожал плечами и немного прибавил.

— Ты извини, друг, — опять же робко начал главный, — мы тут тебе машину запачкали, видишь, погода какая...

Я махнул рукой — мол, ерунда.

— Мы на вызов срочный, тревожная кнопка сработала, — продолжал он. — А наша машина накрылась. Михалыч говорит, до вечера провозится. А тут кнопка тревожная.

Я кивнул: ну да, мол, понятно, дело привычное — возить автоматчиков на срочный вызов.

Он неловко полез в нагрудный карман, под бронежилет, и вытащил красную корочку, раскрыл и сунул мне под нос. Я скосил глаза — ни звания, ни фамилии, ни даже принадлежности гостя не рассмотрел, только слова «быстрого реагирования» и остались в памяти.

— Стольника хватит? — спросил он. — Я лучше сейчас заплачу, потом некогда будет.

Я отмахнулся, буркнув что-то нечленораздельное — мол, какие тут деньги, на службе же люди. Он удовлетворенно кивнул: похоже, и не ждал другого ответа.

Когда-то бежевая, а нынче мокрая и серая, подруга летела по сливающимся друг с другом лужам. Вдруг под ровной поверхностью одной из луж оказалась яма, «копеечка» просела передним правым колесом, раздался глухой удар (пробило амортизатор, понял я), и тут же машина снова выскочила на асфальт и побежала дальше, чуть прихрамывая. Я тихо матюгнулся, закусил губу и погладил подругу по оплетке руля.

— Здесь направо, вот сюда, — сказал старший.

— Так тут же «кирпич»... — возразил я.

— Так короче, давай! — теперь уже резким и не допускающим возражения голосом велел гость.

— А если там гайцы? У меня же права отнимут.

Тут трое бойцов заржали, заполнив громким заразительным смехом тесный салон.

— Не бойсь, не отнимут! — заверил старший.

— Не дадим! — подтвердил сзади звонкий голос.

Я резко повернул направо, под запрещающий знак, включив на всякий случай фары.

— Приготовились! — скомандовал старший. — Серега у дверей, ты со мной!

Почти одновременно щелкнули вставляемые магазины и лязгнули передергиваемые затворы.

— Вон у того магазина мы выскочим, а ты уезжай... мало ли что. Спасибо! — Он уже был собран и нацелен на битву, рыцарь в современных доспехах.

Перед уродливой голубой, с потеками ржавчины, железной дверью, увенчанной косоватой вывеской «Магазин», мы остановились, «копейка» облегченно распрямилась — все трое в одну секунду выскочили в мокрую серость и с автоматами наготове полукругом побежали к магазину, теряя четкость и снова превращаясь в размытые фигуры. Одна фигура осталась у входа, две другие исчезли за полуприкрытой дверью.

Поскольку двери «копеечки» остались открытыми, я не последовал совету командира, вышел под дождь закрыть их. Затем вывернул руль до упора вправо и стал осматривать переднюю правую стойку, где на яме пробило амортизатор. Вроде бы никаких видимых повреждений не было. Загнал машину правым бортом на высокий поребрик и снова осмотрел стойку — вроде живы, но надо будет потом еще на эстакаду заползти, как следует посмотреть, а то и на развал-схождение проверить. Тут я обернулся и увидел, что мои последние гости, все трое, стоят на крыльце магазина и о чем-то беседуют с толстой теткой, то ли продавщицей, то ли хозяйкой заведения. Вернее, даже не беседуют, а шаг за шагом отступая, пытаются сдерживать натиск этой тетки.

Когда они наконец от нее отделились, я подошел поближе:

— Ну что, все тихо?

— Да, ложное срабатывание, — признался старший.

— Назад отвезти?

— Да мы... — начал он, оглянулся, посмотрел на молодежь и закончил: — Не откажемся!

И снова перегруженная вооруженными людьми «копеечка» тронулась по лужам, но теперь уже тихо и осторожно переваливаясь по неровностям.

— Останови вот тут, — попросил старший.

Мы остановились напротив дешевого кафе-забегаловки.

— Забежим перекусим, — сказал он, откинув голову, обращаясь к сидящим сзади. — Под это дело, раз быстро закончили.

Они вышли, снова поблагодарили и, погромыхивая автоматами, растворились в мокрой пелене. А мы поехали в гаражный кооператив в Сосновке, где можно было просочиться на эстакаду, чтобы внимательно осмотреть поврежденную правую переднюю лапку моей бежевой помощницы.

Прошлая жизнь

С глухим разбойничьим присвистом порыв ветра ворвался в приоткрытую форточку, вздыбил легкую занавеску и сгинул, сдобрив привычные кухонные запахи едва уловимым ароматом прелых листьев. Форточка, слегка звякнув болтающимся стеклом, возмущенно хлопнула. Одним движением я вскочил коленом на подоконник, закрыл ее на задвижку и снова опустился на обшарпанную табуретку. На столе стоял легкий за-

втрак, на плите остывал только что сваренный кофе. День обещал быть спокойным: я собирался прогулять основную, практически не оплачиваемую работу и вместо этого забежать на денежную халтуру. Почти год я подхалтуривал системным администратором в одной коммерческой фирмочке, занимающейся чем-то, чего мне лучше было не знать. Я и не знал. Зато обеспечивал работу дорогих компьютеров и принтеров с установленными пиратскими программами, купленными на толкучке. Сегодня был четверг — день для визита к «золотому тельцу». Я налил себе кофе и даже сделал первый вдох бодрящих паров, как в прихожей надтреснуто заверещал телефон.

— Да? — хриловатым с утра голосом выразил я сомнение в телефонную трубку красной пластмассы.

— Але, это Урмас? — поинтересовался кажущийся знакомым, но неотожествляемый женский голос.

— Да! — подтвердил я.

— Доброе утро, Урмас, это Галина Степановна.

Это была секретарша шефа на основной работе. Ее утренний звонок не сулил ничего хорошего.

— Доброе утро, Галина Степановна!

— Урмас, шеф просит вас срочно зайти.

— Что-то серьезное?

— Не знаю... — Она замолчала. — Нет, наверное, он сегодня добрый.

— Скоро буду! — отрапортовал я и повесил трубку.

Через десять минут, сдирая языком клочья кожи с впопыхах обожженного горячим кофе неба, я подбежал к «копейке», обошел ее вокруг, убедившись, что с ней все в порядке, снял с лобового стекла два прилипших коричневых листа, сел за руль и вставил ключ в замок.

— Ну, дорогая, опять нам бежать... — признался я ей, — сперва в институт, а там видно будет.

Она вздрогнула и поприветствовала меня ровной дрожью и уверенным урчанием матерого кота. Я похлопал ее по рычагу переключения передач, затем включил первую, и она резво понесла меня, лавируя между лужами, на север.

Из кабинета шефа я вышел вполне довольный: он мне обещал золотые горы и карьеру в Швеции, а взамен предложил всего-навсего приготовить ему десятиминутный доклад на конференцию в эту самую Швецию.

Секретарша Галя, сидевшая у окна и постукивавшая одним пальцем по пишущей машинке, поинтересовалась:

— Ну как? Не очень трепал?

— Да что нам сделается?

На столе перед Галей стояла баночка с водой.

— Галина Степановна, это у вас кипяченая вода? — спросил я. — Можно хлебнуть, а то в горле пересохло?

Она вдруг схватила баночку и испуганно прижала ее к груди.

— Вы что! Нельзя! — шепотом выдавила она.

— Спирт? — тоже шепотом, с лихим подмигиванием спросил я.

— Скажешь тоже! — Она поставила баночку на стол и недовольно, поверх очков смотрела на меня. — Это заряженная вода, ее нельзя пить, вредно.

— Чем заряженная? — не совсем врубился я.

— Энергией! На прошлой неделе Чумак, экстрасенс, — тут я согласно кивнул головой, мол, да-да, конечно, знаю, — по телевизору выступал, воду заряжал прямо по телику, руками вот так делал и говорил, что надо ее рядом с собой держать, вода энергию отдает постепенно, на две недели зарядки хватает. А пить нельзя: сердце не выдержать может.

— И как, — поинтересовался я, — помогает?

— Да, очень даже помогает. — Она закивала головой. — Я вот, например, меньше уставать стала на этой неделе, сплю лучше и... это... — Она оглянулась и шепотом продолжила: — Стул лучше, регулярнее. Я одну баночку тут держу, а другая дома.

— Тогда конечно, — согласился я, — стул — это наше все.

Галина Степановна безнадежно махнула в мою сторону рукой и демонстративно углубилась в какие-то бумаги.

«Копеечка» терпеливо ждала на улице, думая о чем-то своем, иногда негромко потрескивая. Я похлопал ее по крылу, сел за руль, открыл окно и повернул ключ зажигания. Стартер с натугой провернул двигатель раз, другой. Наконец тот завелся и радостно затрещал уже сам по себе.

— Аккумулятор бы тебе зарядить, а не воду эту дурацкую, — сказал я вслух, — а лучше бы вообще новый купить. Ну, побежали?..

И мы побежали, хоть и с опозданием, на мою халтуру.

Не успел я объяснить молоденькой помощнице бухгалтера, почему вот этот документик из этой папочки никак не желает печататься на бумажке в принтере (к счастью, уменьшительно-ласкательный суффикс к слову «принтер» не применяется), как меня вызвали к боссу. «Вот денек, — подумал я, — всем от меня что-то надо», — и поплелся в уютный, заваленный разнокалиберными коробками кабинет, где босс почти никогда не бывал, но сегодня сидел за компьютером и раскладывал пасьянс-косынку.

— Здравствуйте, — робко приветствовал я с порога. — Вызывали? Я задержался, там надо было посмотреть...

— Привет, Юрмас! — махнул он рукой, не оборачиваясь.

Я почтительно молчал. К его смачному южному акценту я давно привык и не обращал на него внимания. Пасьянс на экране не сошелся, босс обиженно засопел и повернулся ко мне:

— Тэк... Мне нужен гороскоп!

— Это не ко мне. Я гороскопы не составляю и на картах не гадаю.

— Э-э! — Он воздел руки с растопыренными пальцами. — В газете гороскопы — глупость, да? Зачем в газетке настоящий гороскоп печатать, за просто так?

Я согласно закивал, искренне радуясь разумности босса. А он продолжал:

— Тут программа одна есть, гороскоп на компьютере составляет. Настоящие астрологи запрограммировали. Надо ее нам включить, чтобы работала.

— Млхас Михалыч, — удивился я, — это же... Не может программа гороскоп составлять. Неужели вы этому верите?

— Э-э, слушай, верю... не верю... — протянул он. — Мне человек один про эту программу сказал, у него такая есть. А он верит. Понял? Мне же нужно знать, во что он верит и чего ждет.

И он мне весело подмигнул, изогнув густую бровь. Я стоял с каменным лицом.

— Вай, студент, не тому вас учат физики эти! — Толстый палец взлетел вверх. — Это мой партнер, так?..

Я кивнул.

— Он с утра гороскоп посмотрел, а там: «Сегодня все сделки Барана будут особенно удачны». Тут я ему и говорю: а купи у меня... неважно, что именно. Он и купит.

— Не Барана, а Овна, наверное. Это одно и то же, но правильно — Овна.

— Слушай, что за слово такой — «овна»? Баран — это вещь! Зачем барана овном называть? Ты плов из овна хочешь кушать?

— Нет... — опешил я.

— И я нет. Так что будет — Барана. И этот Баран все купит у меня... как баран. — Босс содрогнулся в приступе то ли кашля, то ли хохота.

— А-а, понял! — дошла до меня задумка хитрого босса.

— По глазам вижу, что не понял, вежливый просто. А другой день гороскоп говорит: «Сегодня неискренность принесет Баранам пользу», и он мне звонит, говорит: Млхас, говорит, дельце хорошее есть; а я говорю — нет, дорогой, спасибо...

— Да я и правда все понял, Млхас Михалыч, вы будете знать, какая у него в каждый конкретный момент поведенческая мотивация.

Босс с состраданием взглянул на меня:

— Глупый ты, Юрмас, хоть и студент. Словам учишься, а жизни не знаешь.

Я со стойки «вольно» перешел на стойку «смирно», втянув живот и глядя остекленевшими глазами прямо перед собой.

— Ну вот, поедешь сюда, возьмешь там программу и установишь на мой компьютер. Там уже все оплачено. Понял?

Он протянул мне бумажку с коряво написанным адресом и ниже буквами: «Делфи». Я взял бумажку.

— Дельфин? — спросил я.

— Сам ты дельфин. — Босс ткнул в моем направлении толстым волосатым пальцем. — Дэлфы — это храм такой старинный.

Я понимающе кивнул и попятился к выходу.

— Эй, погоди! — вспомнил босс. — Программа называется «Оракул-16», проверь, чтобы было именно «16». Понял?

Я кивнул и выскочил из кабинета.

Судя по адресу, Дельфы находились вовсе не в Греции, как многие наивно полагают, а всего лишь в пятнадцати минутах езды, которые мы, правда, преодолели за двадцать минут, вляпавшись в небольшую пробку из-за сломавшегося троллейбуса. Пропетляв еще минут пять по внутриворонным проездам и опросив трех пенсионеров, дававших противоречивые указания, мы нашли нужный адрес. «Копеечка» приткнулась на уютной асфальтовой площадке под громадным тополем, а я пошел вдоль пятиэтажки из серого кирпича. Цокольный этаж дома был отдан под нежилые помещения, как раз между булочной и парикмахерской находилась коричневая железная дверь вровень с землей, без крыльца. Рядом с ней темнела небольшая вывеска «Дельфы. Центр Высшей Истины». На «высшую истину» я хмыкнул, но дверь дернул и вошел в полумрак. И тут же чуть не споткнулся о ступеньки, ведущие вверх. Толкнув еще одну дверь, я оказался в скудно освещенном коридоре с несколькими дверями, где крашенные бетонные стены были увешаны какими-то круговыми диаграммами и психоделическими картинками. В воздухе чувствовались ароматы восточных курений. И стояла почти полная тишина, если не считать подозрительного потрескивания.

Я робко кашлянул. Никто не ответил. Кашлянул погромче. Одна из дверей бесшумно отворилась, и в коридор выплыла невысокая черноволосая женщина в джинсах и свитере не по размеру. На первый взгляд она была молода, но морщины и мешки под глазами нивелировали это впечатление.

— Чем могу вам помочь? — спросила она глуховатым голосом.

— Здравствуйте, — кивнул я, — мне надо программу-гороскоп «Оракул-16», у нас договор.

— Это вам надо немного подождать. Сергей сейчас вышел, скоро вернется. Давайте я вам пока гороскоп составлю.

— Спасибо, у меня программа будет, я тогда и сам смогу.

Тень легкой печали скользнула по ее помятому лицу:

— Программа — это же так, коммерческий продукт. Настоящий гороскоп нельзя программой составить. Я вам покажу. Да вы не переживайте, это вам ничего не будет стоить.

Я неуверенно кивнул. Она показала рукой на дверь, откуда только что вышла. Вопреки моим ожиданиям, там не было ни свечей, ни черепов, ни тяжелых портьер, но все равно мрачно.

Составительница гороскопов показала на низкое кресло, приглашая садиться, и спросила:

— Кофе будете?

От кофе я никогда не отказываюсь, но тут отрицательно качнул головой: опять еще чем-нибудь, ну их подальше, место подозрительное. Она села за обычный канцелярский стол и внимательно посмотрела на меня. Я отвел взгляд и принялся рассматривать календарь на стене.

— Видите ли, — начала она, — мало составить космограмму для конкретного человека, надо увидеть, какие связи важны, а какие нет.

— Как увидеть?

— Трудно рассказать... Просто некоторые линии и узлы как бы подсвечиваются.

Я кивнул.

— Вы знаете дату своего зачатия? — неожиданно спросила она.

— Простите... что?

— Вы знаете время, когда вас зачали?

— Извините, как-то не удосужился спросить у мамы.

— Не обижайтесь... Если это знать, то натальный гороскоп получится точнее, хотя ваши родители, скорее всего, не вели записи.

— Вы знаете, я лучше пока погуляю, минут через пятнадцать снова зайду.

— Подождите. А время рождения вы знаете?

— Пять часов утра.

— Хорошо. А дата?

— Послушайте, не теряйте времени и сил. Я не верю в гороскопы. А даже если бы и верил, предпочел бы жить без них. Не хочу знать будущее, ибо, если я его могу изменить, предсказание окажется неверным, а если не могу, то... лучше думать, что я могу изменить.

Она с интересом взглянула на меня:

— Гороскоп не предсказывает, он указывает тенденции, склонности, возможности. Подсказывает вам, где ваш путь. А прошлое вас интересует?

— Давайте попробуем прошлое. Это, по крайней мере, проверяемо.

Она усмехнулась:

— Я вам скажу, кем вы были в прошлой жизни.

— В прошлой жизни?

— Вы же знаете, что жизни не кончаются, переходят одна в другую?

— Допустим...

Она смотрела немигающим и невидящим взглядом.

— В прошлой жизни вы были гетерой... а вот до того почти не видно, что-то военное.

— Кем? Гетерой?!

— Да, гетера — это...

— Я знаю, кто такие гетеры, — перебил я, — но это же женщины!

— Это неважно... Душа — она не имеет пола, пол имеет тело.

— Классно! И попробуй проверь, главное... Гетерой... А в следующей жизни кем мне быть?

— Не знаю, это еще не определено, зависит от вас.

— А чего так? Все равно же не проверить, сказали бы... зеброй в зоопарке или американским президентом... лишь бы не баобабом.

Она печально, немного раскачиваясь взад-вперед, ответила:

— Если очень захотите стать президентом, то станете. А зеброй в зоопарке... Вряд ли, вы — светлый.

В коридоре хлопнула дверь, рассыпаясь мелким эхом, раздался веселый мужской голос:

— Алла, вылезай, чайку дерябнем!

— Сергей, тут к тебе клиент. — Женщина вышла из транса.

В комнату заглянул громадный молодой мужик с аккуратной широкой бородой, напоминающий киношного туриста.

— Привет! Я Сергей, — сказал он.

Я встал и протянул ему руку:

— Урмас. Я за «Оракулом-1б».

— Да-да, пойдёмте. — Он пожал мою руку и, не выпуская, потащил из комнаты. — Вот смотрите, — он запустил программу на компьютере, — вот тут вы выбираете, какой тип гороскопа вам нужен...

Мое внимание привлекла надпись «Оракул-2» в верхнем правом углу.

— Это какая версия? — спросил я.

— Вторая, только вчера релиз был.

— Мне нужна «один-бэ».

— Да ты что! Бери вторую, там опций добавлено до фига, а цена та же.

— Надо «один-бэ».

— Ну, как знаешь, — он полез в стол и вытащил мне дискету, — но захочешь апгрейдить — придется уже платить.

Я кивнул, взял дискету и бумажку с описанием и расписался в каком-то блокноте. Потом он пожал мне руку.

— Слышь, Алла-то охмурилась? — спросил он тихо.

— Не очень, про прошлые жизни рассказывала. Говорит, гетерой я был.

— Гетерой? — Он заржал и ткнул меня в плечо. — Ну и как оно с той стороны?

— А вы кем были? — спросил я, отодвигаясь.

— Я-то? Котом уличным. Разве не видно? — опять заржал он.

— А я, видать, котом пока не заслужил. Ладно, счастливо!

— Пока!

Установка программы заняла не более получаса, после чего босс погружился в изучение бизнес-гороскопов, время от времени раздражаясь восклицаниями и цокая языком, а я, неся в нагрудном кармане не самое скромное вознаграждение, вышел на улицу. «Копеечка» ждала одним колесом в луже. Я открыл дверь, достал из-под сиденья чистую тряпочку и протер ей все глаза-фонари.

— Гетерой... — протянул я. — А ты-то уж наверняка мустангом была... да чем-то проштрафилась, видать!..



Андрей БОЛДЫРЕВ

МОЛЧАНИЕ СВЕРЧКА

* * *

прерывисто и осторожно
дыхание ветерка
мельчает уже безнадежно
поросшая ряской река

ни тени былого величья
большой судоходной реки
лишь изредка пение птичьё
послышится скрипнут мостки

трава шевелится другая
другие плывут облака
и я наклонясь не узнаю
в воде своего двойника

в воде на одно лишь мгновенье
лицо с фотоснимка мелькнет
где сильное било течение
и старая лодка гниет

Пакет

Рылся в коробках, в шкафу обыскался:
фотоальбома семейного нет —
от переездов совсем истрепался,
мама все фото сложила в пакет.

Вот они, снимки, где мама моложе
(держишь в руках ее — руки дрожат),
в этом пакете, где дядя Серёжа,
бабушка с дедушкой — рядом лежат.

* * *

Олегу Дозморову

Все тяжелей с утра мне восставать от сна.
 Придешь в себя, как в съемную квартиру, —
 на кухне кран течет, и дует из окна,
 и закипает жизнь в кастрюле мира.

Я много пережил, и с переменой мест
 слагаемых лишь множились потери.
 Но ждет меня еще последний переезд,
 который ощущаю в полной мере.

Так незачем *туда* тащить с собою хлам —
 оставить все, но навести порядок.
 Прекрасен бутерброд, который сделал сам,
 а чай — невероятно сладок.

* * *

в школьной не принят программе
 нетривиальный подход
 критик в супружеской драме
 смысл непременно найдет

все разъяснит и научит
 взвешивать против и за
 но собираются тучи
 страшная грянет гроза

в символах ищешь причину
 в книжный попав переплет
 замысел вновь Катерину
 к горькой развязке ведет

* * *

Роману Рубанову

Проснусь и увижу: у спящей жены
 сопит наша дочка под боком.
 Дай боже хоть час им еще тишины,
 чтоб не разбудить ненароком
 и чтобы мобильник шмелем не жужжал,
 на кухню чтоб дверь не скрипела,
 чтоб чайник рассерженно не клокотал,
 когда все внутри закипело,



пока я не выйду и дверь не запру
ключа поворотом несмелым
и тенью незримой пойду по двору,
как снег за окном запотелым,
пока не погасла звезда и пока
спят в темени съёмной квартиры,
где запах грудного стоит молока,
смешавшийся с запахом мирры.

К фотографии

Не молчу, не скрываю, уже не таюсь,
возвращаясь домой сквозь заброшенный сад.
Наливается яблоком спелая грусть,
так и тянет сорваться к тебе, адресат
этих строк:

Круглобок, убежал колобок
от жены, от детей — и кругом виноват,
оттого у него и помятый видок.
Тут и сказке конец: прикатился назад.
Принимает его, как отраву, жена
и впускает в себя все его естество.
Только гложет ночами его тишина,
по кусочку откусывая от него.

В телефоне-ракушке рыдает прибор
о русалке, что пеною стала морской.

.....

Обрывается волнообразная речь,
выползает на берег безлюдная ночь.
От ошибок нас некому предостеречь,
от безумия нашего нам не помочь.
Не пойми что за год, не пойми что за век:
вдоль по набережной мы бродили с тобой,
где на фоне угасших во тьме дискотек
вечно царствует палеозой.

Кто-то свыше, позиции определив,
по местам все расставил: Волошина дом,
где нас выхватил из темноты объектив,
и теперь мы на фото вдвоем,
где за нашими спинами должен быть сад,
и, размытый, стою я не в фокусе на
первом плане, и твой выразительный взгляд
в перспективу, что так неясна.

Кукушка

Как много выпало, кукушка,
лет на моем веку?
Я в однокомнатной клетушке
уже совсем ку-ку.

Но не от мании величья
пою, ты не права,
а просто защищаю птичьи
на эту жизнь права.

Придут, повестку в ящик бросят
на самый Страшный суд.
И если выйти вон попросят —
я без прописки тут.

Не страшно выпасть из реестра —
кукушкой жить страшней,
что больше не находит места
себе среди людей.

* * *

Прощались до завтра, а завтра
покажет: прощались не зря...
Внезапная эта утрата
с того тяготит сентября.

Записана жизни страница
в судьбы черновую тетрадь.
Лет десять подряд мне не спится,
нет сил, чтобы больше сказать.

Где ласточка осень напела,
где смерть ей была невдомек,
разрежет пространство несмело
ночной паровозный гудок.

Сверчок, примостившийся с краю,
не скажет уже ничего.
...Я слушаю, перенимаю
молчание это его.

Валерия ИВАНОВА

ЧУЖАЯ МУЗЫКА

Р а с с к а з ы

Носорог

История могла начаться как угодно. Например, с того, что в дощатом туалете на берегу пахло известью, сквозь щели на пол протекало солнце и в пыльном его луче с газетного листа из пачки на гвозде спускался паук. Было странно уютно, как бывает в пещере, когда снаружи ночь. На самом деле день только начинался, стояла жара, неструганые доски пузырились смолой, где-то на берегу стучал о ладони мяч, как песок просачивалась издалека музыка, и ничто не мешало повернуть щеколду, толкнуть дверь и выбежать к солнцу, людям, музыке, но именно потому так особенно хорошо было помедлить.

Или могла быть зима, ранний сумрак и закат, растянувший от луны к солнцу кровавую облачную стирку. Караван машин жался к берегу, торопясь до темноты уйти со льда — впереди ждала трещина в наносах крошева, по жаргону проводников, колобовника. Разговоры стихли, радики потрескивали вхолостую. Из-за утеса, как из-за кулис, вывернул закутанный по брови лыжник и ходко пошел в километре от берега, держась трещины как ориентира. Так невероятно и так буднично, что колонна еще какое-то время оторопело двигалась, потом из головной машины скомандовали остановку. Лыжнику моргнули дальним, кто-то дважды ударил по клаксону. Свет чиркнул по зеленоватым стеклам в окошке подшлемника, путник не обернувшись махнул рукой, отказываясь от помощи и беседы разом, и скрылся за скалами. На сотни километров вокруг была пустыня, ни жилья, ни связи, только льды, торосы и молчаливая тайга на берегу.

А может, ветер трепал станционную сторожку в конце перрона. Станции давно не стало — упразднили, снесли билетную кассу и будку для пассажиров, остался железнодорожный переезд, просека и шлагбаум, который бился теперь замкнутой стрелой под натиском тайги и ветра. Тайга надвинулась на переезд, и пахло против ожидания не смолой и хвоей, а болотом с отчетливой добавкой креозота. В сторожке двое сидели у стола, то перекикивая бурю, то вдруг невольно понижая голоса до шепота. Женщина распустила по плечам косынку, наклонившись, доставала



из корзинки на полу поминальную по виду снедь: кисель в бутылке из-под колы и свернутые уголком блины. На табурете у стены старик бурят разминал в пальцах папиросу, глядя на газетную вырезку в рамке на столе — безалтарная церковь в кладбищенском приделе, у входа девушка в безрукавке смотрит в камеру из-под руки, прикрывшись от ветра.

Женщина разворачивает пергамент, раскладывает блины по тарелкам, бурят, закурив, говорит:

— Му ибишем, худая болезнь. Проказа, по-вашему. Люди говорили, она отца не выдавала, дом заперла. Прятала. В город собралась, там докторам дела нет, властям не доносили. Еды оставила, ушла. А он, отец-то, боли не чувствовал, проел щеку насквозь...

Или чайка летела над бухтой от берега в глубину. Под крыльями вставал с воды туман, в небе гонял тени ветер, и она летела молча, неслышно и закричала уже в конце, перед тем как исчезнуть, пройдя границу прохладно-синего и нестерпимо белого над горизонтом. Крик меня и разбудил.

1.

Принесли музыку. Патриция Копачинская. Сказали, я это любила. Не помню. Смотрела в окно, там дождь бил в асфальт. Темные точки образовывались и высыхали, снова образовывались. Напомнило двоичный код.

2.

Закричали дети. Где-то на улице, за окном. Мяч, удары. Кажется, запахло тиной. Детский визг встречал после глухоты леса прежде самой реки, я вынимала руку из материней ладони, бежала навстречу крику и плеску. И сейчас запахло водой. Уснула до лекарства, а вот теперь проснулась и помню. Хорошо.

3.

Разбудила тень на стене: слишком громко.

4.

Чужая музыка — как кошка: идет неслышно, но ты все равно о ней знаешь.

5.

Принесли карточки, разложили на одеяле. Нужно было называть предметы и откладывать в сторону. Узнала все, но переставляла слоги, называя. Носорог стал роносом. Что-то в этом было, хотела записать. Не помню.

6.

Снег, сухая крупа. Тычется в стекло, как кто-то близорукий. Бесильный, жалкий, как доброта слабаков.

Перечитала: последняя строка глупа, как всякая правда. Глупа на вкус, но верна по сути.

7.

Голуби вспорхнули с крыши, всей стаей разом, шумно. Вопрос: какого цвета стая? Отвечаю: сиплого. Плевать на удивление. Не хочу толковать, что есть такой цвет — сипло-голубиный.

8.

Вернули компьютер. В разрешенные мне полчаса листаю файлы, из прежнего, старого. Морщусь, жму delete. Позже пользуюсь тайком, подолгу. Сочиняю сказку. Много вычеркиваю, вычеркиваю почти все, потом кладу на лицо подушку. Повторяю слово «инъекция», по слогам, шепотом. Инь-ек-ци-я... Слово разнимает боль на вдох и выдох, в середине пауза, я падаю в нее, как в яму, и там, в темноте, могу наконец отдохнуть. Инь-ек-ци-я. Не хуже рогоноса, все так же не дающегося мне в речи. Носорог он только на письме, но это к лучшему. Рогонос и инъекция. Харибда и Сцилла. Вдох и выдох. Пара. Между. Проскочить. Но сначала — спать.

Сказка

Округа в дыму. Балконы, тополя, фонари и крыши под белой больной марлей осели, потеряв в росте, и вдруг почему-то вытянулась я. Я иду по аллее и, кажется, режу макушкой туман вровень с синими силуэтами яблонь. Пахнет гарью, льнет к лицу марля, тут и там пробивают тишину невидимые мне капли, глуховато, чуть слышно, потом гулко, с протяжкой пещерного эха — «бам-м-м!». «Как будто глубину поделили на высоту», — красиво думаю я и спотыкаюсь: в конце аллеи уступ из бордюрного камня, поставленного на попа, и я про него помню, но шаги мои теперь великанские и аллея заканчивается раньше, чем я ждала. Балансируя, машу руками, руки по локоть отхватывает туман, в изнанке тумана сырое небо, оно сочится, скользит по коже вдоль, приближая пахнущую гарью глотку. Я выдерживаю руки, крестом складываю их на груди и, отшатнувшись, кричу...

День первый.

Бинты на глазах белые, это я откуда-то знаю, но темнота под ними черная. Она яснее, наливаясь, как яблоко, краснотой, красное, дойдя до предела, лопается и заливает глаза. Сок холодный, это приятно, и, чтобы сберечь прохладу, накрываю ее веками.



Аллея теперь позади, здесь, на ветру, немного светлее. У меня в руках бумажка с адресом, я развернула ее и силюсь прочесть. Буквы в сыром воздухе расплываются, текут. Глядя на чернильные разводы, принимаюсь смеяться, и чем безнадежнее оплывает текст, тем сильнее смех. Вспомнилась тетка-старушка, как боялась она длинных писем. Семейные сборы, круглый стол под салфеткой, чай. Врезают конверт маникюрной пилкой, вынимают письмо — два тетрадных листа, потертый сгиб в середине. Читают вслух: «Здравствуйте, мои дорогие!» — «Чернильные расходы, расходы-то какие!» — перебивает старушка, и я снова смеюсь, смеюсь, сидя у стола с чаем, смеюсь, стоя в тумане под фонарем, и два этих смеха, слившись, падают в глубину, ударив, как ружье отдачей, эхом...

День второй.

Осторожно поднимаю веки. Ресницы, не встретив бинтов, распахиваются настежь. Свет падает на меня сверху, заполняя глаза слепотой, ощупывает лицо пальцами. Пальцы холодные, давящие, из-под кожи пальцам отвечает боль. Что-то отвлекает меня от боли, какая-то помеха, белый шум, голос. Я не разбираю слов, не вижу границ и пауз, речь расплывается, и я опускаю веки. Из-под левого выдавливается влага, острая, как спиртовой ожог, и, не встретив препятствий, падает с подбородка в бездну. Пальцы, чьи бы они ни были, ушли.

Бумажка с адресом осталась под фонарем, в тумане. Передо мной экраном окно, некрашенная деревянная рама в две створки, форточка приоткрыта. В комнате у подоконника стол, у стола мужчина и девочка, перед ними бумаги. Мужчина обрит наголо, он пишет на листе фамилию, говорит девочке: «Это наша. Читай». Девочка водит по строке пальцем, вытягивает трубочкой губы, трубочку переводит в косую скобку улыбки — от середины к уху, сминает бумагу. Я прижимаюсь к стеклу, силюсь разглядеть буквы и, не успев, бьюсь лбом о раму. Они не слышат. Мужчина линейкой измеряет девочке нос, делает карандашом засечки. «Сколько тут сантиметров? Считай». Она смазывает пальцем пометки и, запрокинув голову, хохочет. Ей пять лет, на горле до ворота платья царапина. «От абрикосовой косточки из компота», — откуда-то знаю я.

Девочки нет, мужчина у стола один. Он смотрит в туман сквозь меня, распрямляет ладонь. Я снова прикипаю к стеклу, больно придавив щеку, но букв распознать не могу — язык незнаком. В тумане позади гулко падает капля, и эхо, неожиданно четкое, бьет по спине волной. Во влажном откате, в вибрации мышц я различаю оформленную в голос дрожь: «Нет»...

День третий.

Снова звуки, на этот раз не голоса. Они далеко, им что-то мешает — треск, сыпучий лязг металла, удары, шаги. Мне досадно, хочется слушать без помех. Я не знаю, что такое радость, слово пришло ниоткуда, просто выплыло из глубины подглазья, где живет — еще одно слово — память. Я не знаю, что такое радость, но если бы знала, это, пожалуй, была бы она.



Окно качнулось и толкнулось прочь. Кожа на щеке дрогнула, отпуская стекло, и окно полетело, убывая, сминаясь в точку. Теперь я вижу ее издалека, голова моя задрана. Стемнело, в черноте туман не пропал, но погас, потеряв силу. Светящихся точек много, свою я давно упустила и просто стою. Кто-то берет меня за руку, дергает снизу за подол. Седоголовый карлик в черном. «Хорошо, что ты седой, — говорю я ему. Он, не удивившись, кивает, но я все равно объясняю вслух: — Без седины я не разглядела бы тебя в темноте, ты ведь в черном». Он тянет меня за руку, мы идем по камням. Босым ногам холодно, грани у камней острые и почему-то сухие, хотя вокруг по-прежнему сочится туман, я его слышу, но теперь не боюсь. Мне нравится холод, хороша и боль, с болью возвращаются слова, и я во весь голос их выговариваю, называя карлику мир. Он не отвечает, идет впереди, держа меня за руку. Я спрашиваю: «Как твое имя?» Он отвечает сухим, как шепот, голосом: «Григ». — «Григ? Это странное имя — Карлик Григ. А свое я не знаю, размыло чернила. Чернила нынче, знаешь ли, из рук вон. Куда мы идем?» Он молчит, пожимает плечами на ходу. «Здесь что-нибудь есть?» — мне неймется. «Только то, что приносят с собой». Я вынимаю ладонь из его руки, машу, будто стряхиваю капли: «Но у меня пусто! Смотри!» — «Тогда вернись и что-нибудь принеси».

Что-то падает из темноты вверху, гулко отзывается эхо. Абрикосовая кость, откуда-то знаю я и говорю: «Четыре. — Карлик вскидывает глаза. — Четыре сантиметра было на той линейке. Гологоловый мужчина, девочка с царapiной до ворота платья... Мне нужно к ним!» Но капля упала в воду, вода отдала эхо, во влажном откате я различаю оформленную в голос дрожь: «Нет»...

День четвертый.

Я вспомнила слово — «музыка». Звуки были музыкой, наверное, радио или чей-нибудь телефон. Сегодня тихо, прежняя больничная сутолока — шаги, лязг, удары — на месте и даже сгустились, но больше не раздражают. В туман я не вернусь. Хочется откинуть простыню, но рука не слушается, а от усилия я скатываюсь в сон. Засыпая, точно знаю, что, проснувшись, заговорю. Попрошу поставить музыку.

9.

— И медленно, аккуратненько встаем на но-о-ожку...

Вижу четко, в деталях: вот я беру с тумбочки стакан, завожу кисть над запястьем и, помедлив, отпускаю. Молочное зеркало отшатывается, будто испугавшись, и выплескивается физкультурнице в пробор. Я вижу это ясно, но сделать не решаюсь, встаю на ножку. Это трудно: пятка и носок слишком далеки. Пятку я поставила на пол вчера, а носок — завтра; мне хочется сказать физкультурнице, что я проткнула время ногой, но не успеваю, заваливаюсь набок, почему-то хохочу и, наконец, смахиваю с тумбочки стакан.



10.

Сказка не получилась, надо бы удалить. Туман был задуман как приют для носорога, но я забыла о нем. Зато теперь знакома с горбоносим доктором. Пожаловалась ему на носорога:

— Рогонос!

Он напрягся, но улыбку сдержал: профессионал. Поводил у глаз молоточком.

— Анекдотов я, увы, не запоминаю. Расскажите потом.

Мы проговорили час. Про вставание на ножку, зачем, почему и на кой черт стараться, если в конце тумана неизбежно ждет...

— Рогонос?

Согласиться не успеваю — сплю.

11.

Палата набита солнцем, как автобус людьми, в пустой комнате от солнца тесно. Нянька шурует шваброй под койками, у нее лицо хирурга в операционной — сосредоточенно-яростное. Глядя, как застывают вокруг разводы — мать называла их «мадежи», только из-за этого лица и верю: чисто.

12.

Горбоносый доктор говорит на «чк»: яблочки, кефирчик, ручки, ножки. Странно, но это не раздражает. Он глядит на нас настороженно, всегда вниз, со вниманием гиганта — как бы не раздавить. И мы мельчим, мельчаем, мельтешим ручками, ножками... Чк.

13.

Что-то странное со слухом: звуки оформляются в слова. Так некоторые видят в цвете цифры или буквы. Горбоносый говорит: синестезия. «Кэти-кэти-кэти», — соседка бьет в кружке сахар. «Кэти-кэти-кэти!» — звала мать белую курочку, протягивая ей на ладони пшенку. Курицу привезли из деревни, сказали, что для меня. Я перед сном мечтала, что буду ее кормить, купать, выгуливать. Ночью, конечно, отправилась в туалет, курица, конечно, вырвалась навстречу, из раструба горла поливая стены красным. «Кэти-кэти-кэти!» — протягивает мать пшенку на ладони. «Кэти-кэти-кэти», — бьет ложка о стакан. А я опускаю на лицо подушку и сплю.

14.

Физкульт-привет. Перед началом прошу убрать стакан с молоком. Она взглядывает удивленно, а я развожу руками: вам не понять.

— Паска! — говорит соседка про кулича на тумбочке, тычет пальцем, как ножом. Ей дают ломоть, она мусолит его пустыми деснами. Из правого живого глаза выкатываются две слезы.

С тополя на подоконник сходит ворона, наклоня голову, вглядывается в нас через стекло.

— Пасха! — говорит ей горбоносый доктор, и мне кажется, я целую его, обхватив голову руками, трогаю губами губы, будто снимаю пальцами нагар. Я вижу это ясно, но сделать не решаюсь, и ворона, ткнув фрамугу носом, улетает, тает в белизне двора и неба, а откуда-то издалека, пробившись сквозь кварталы и трамваи, лекарством без рецепта и лимита проливается на койки колокольный звон.

История могла начаться как угодно, и как-нибудь она непременно началась. Может быть, ударились о косяк филенчатая дверь и дважды клацнула, нехотя выпустив на крыльцо закутанную женщину с авоськой. В авоське чашка с ложкой и вставленные один в другой неношенные тапки в клетку. С козырька автобусной остановки напротив снялась стая голубей, прошла над двором, как над водой, и рассыпалась брызгами сипло-голубинового цвета. Трамваи ехали в парк, пусто было на остановках. Свет сквозь пыль казался ярким. Женщина разжала кулак, взглянула на ладонь удивленно: бумажку с адресом трепал ветер, чернильные буквы смазались и расплылись. Над баком с бахилами ладонь развернулась, стряхивая листок. Женщина вздохнула и распрямила плечи.

— Встаем на ножку, — скомандовала сама себе и, приподняв ботинок, сделала шаг.

Изазер

Говорят, я не росла — убежала, тянулась обыкновенно, вверх, а казалось — прочь. Для начала сослан был на балкон горшок, в нем устроилась с семейством мышь. Выводок пиццал и скребся, мышь искала картошку по этажам. Как-то ударил ливень, залив горшок до краев. Мышь вернулась вечером, когда дождь загустел и в сумерки, как в колодец, полетели хлопья. Утром по корке льда, как по горбушке, била клювом первая в этом году синица.

Горшок отмыли и отдали кому-то; я росла, протирала зеркало в ванной руками. Из охапки полотенца вылуплялся нос, два жгута волос за ушами и под шеей, как ложки на скатерти, ключицы. Я поднималась на носки, но мать закрывала зеркало:

— Люди смотрят! Одевайся, стыдно.

Беру перекрученные колготки и клянусь: вот вырасту и людей отменю. Всех.

Весной пришла учительница и погодков общаги записала в первый класс. Последнее перед школой лето стало далеким, как Америка. Я об-





рывала листки в календаре дважды в день, но время встало: звенел будильник, светало, и это опять была она — весна восьмидесятого.

К Пасхе мыли окна. Я сдирала бумагу, мать скребла шпингалеты и петли кухонным ножом. Рамы раскрывались впервые за зиму, пахло водой и ржавчиной, лодки качелей ходили над землей плашмя, как весла в уключинах. Мать, уцепившись за подоконник по-птичьи, высматривала белый на синем самолет, серьги под косынкой искрились напросвет, навывлет, а у самой шеи — наискось — прошел сверху плевок. Кто-то извинялся басом, тянуло куревом, потом по рамам, по стеклам и подоконнику, как градины, стучали конфеты.

— Он же в тебя плюнул! Конфеты теперь зачем?

Мать стряхнула карамель в сугроб:

— Весна.

На Пасху снова снег. В доме гости, мать нарядная, голорукая, по столам фрукты. Яблоки, как стаканы с вином, каштаны тараканьей масти, гороховым раскатом из мешка фундук, хурма и апельсины в свертках. Арахис в скорлупе — погремушками, вино в канистрах — плеск и кляксы, в мясном тазу под раковинной арбуз, из-под ножа прорастает рот — килечный зев консервы.

Иду в угол с яблоком в руке, на вкус оно как вата. Жую сухими губами, и кто-то наклоняется, закрывая свет:

— Давай знакомиться, я — дядя Алик.

Осенью я буду в школе, там расскажут, что девять на двоих нацело не делится, и комнате нашей — «девять квадратов» — нужен третий, делитель и жилец. Делитель смугл, у него в переносье горб, под горбом грибок носа, а от уха до уха — распластанная прядь, как пятерня.

— Я из Азербайджана.

— Изазер... — пробую повторить, но на губах вата. Пусть до времени так и будет: Изазер — зигзаг в кардиограмме, канцелярский «Z» в анкете, там, где на лист вопросов ответ один — прочерк.

Киваю ему:

— Привет.

Он сажает к себе на колени:

— Я расскажу тебе сказку про доброго быка, которому пора на бойню...

Зажили богато, и все что-то жарили: каштаны — в сковородке, в роще за домами — мясо. Мне дарили платья, всегда из шелка, красного и скользкого, как язык в поцелуе. Платья рвались в дворовых драках, мать лупила меня ремнем, штопала вечерами подол под лампой.

Изазер над штопкой смеялся:

— Брось, новое купим, — и совал мне в рот ломоть арбуза.

Я слизывала с разбитых губ кровь: арбузы моего детства всегда были солеными.

В школу положены были косы. Мать работала до четырех, и заплетаться я бежала к тетке, роняла голову в колени:

— Забери меня у них!

Тетка гладила, как жеребенка, присаливала горбушку:

— Глянь, сеянка, хрустящая. На! — тянула волосы щеткой. — Обед у меня кончается, на работу пора.

Я стучалась к соседке. Портниха баба Даша шила одеяла и занавесы, под столешницей ходило на приводе колесо, горела в машинном масле пыль под педалью. От скорости укачивало, будто гнал под гору автобус.

Баба Даша глушила машину, брала в руки книгу в обложке с крестом и читала без пауз, слитно, торопливо:

— И увидел Хам срам отца своего...

По выходным, едва проснувшись, играли в карты. Изазер лежал на простыне дельфином, из плавок на бедро стекало мясо, по виду — маринованный шашлык. Я громко говорила: «Фффу!» Падали карты, отчим тянул на себя простыню и цокал языком, непонятно кого осуждая.

— И проклял Ной Ханаана, раб рабов будет он у братьев своих!

Волосы у бабы Даши острижены коротко, гребенка от кивков слетает, я ищу ее на полу, разгоняя, как тину, пыль и нитки, и думаю, тянет ли на проклятие шашлык. Хочется спросить о том у бабы Даши, но время к двум, пора, и, подхватив в прихожей ранец, я шагаю в школу. С пригорка оборачиваюсь: в переплете рам, в заграде тополя и солнца стоит баба Даша и пальцами, как щепотки соли, мелко и тряско бросает мне вслед кресты.

В режимном цикле пережили год, каникулы пришли по расписанию. Меня увезли в лагерь; помню название, «Светлячки», и шкаф в палате. Дверца отвалена, рассыпь носков без единого парного. Еще — булка с повидлом, припрятанная с полдника в карман. Съедала ее в лесу за деревянным нужником, под запах хлорки и цвирканье воробья. Булку мы с воробьем делили надвое, и выходило без остатка, нацело. Раз как-то кошка, столовская сытая тварь, высунулась из травы и снова распласталась, выцеливая птицу. Я швырнула в нее огрызок, воробей улетел, ушла, оглядываясь, и она. Было жаль и булки, и кошки, на свой кошачий манер она ведь тоже воробья любила. На лягушачьих лапах, в гальванической пляске прошла над лопухами любовь и даже, кажется, ухмыльнулась.

В родительский день приезжала родня. Я ждала на лавке у корпуса, а по аллее шел налегке Изазер, следом, с грузом сумок, тетка с матерью.

— Твои? — спросили рядом.

— Мои!

Я поднялась, свела лопатки и помчалась. Он ходу не прибавил, уверенно-спокойно ждал. И я не обманула: последние метры одолела в два прыжка, захлестнула руками шею, коленками сжала ноги. В животе плеснуло, непонятно, в моем ли, в его. Корпус, лавка и корт поняли: вот семья. Корпусу, лавке и корту было плевать. Я отпустила руки. Платье задралось, измялось, непарные носки стекли к ступням. Из столовой несло котлетами, осы бились о канистру с вином. Мать улыбалась; счастья не было.

Тетка расстелила на траве под ивами плетеный половик, мать ушла гулять. Изазер на коленях, зад на пятках, лицом к воде. Поет и раскачивается. Голос высокий, он достает до неба, а потом, опрокинувшись, до озерного дна, и плещет там, и звенит, отчаявшись выплыть.



- Поет?
- Молится.

Изазер звенит, его бог, притаившись за лесом, слушает. Бог бабы Даши, наверное, тоже здесь. Я раскусываю травинку и думаю, ходят ли боги в гости друг к другу и видят ли они сейчас меня. Тетка наливает из термоса чай, сдувает с кипятка пар. Говорит, прихлебывая, что своих надо жалеть, что мать счастья не видела, а горя по ней не видно, потому что терпеливая, деревенские все такие: если чем и богаты, так терпением. Все ведь в деревне родились, в Родимовщине, там, где Иркут петлю делает, и дом, как палец, в речном кольце стоит.

...По левую руку палисадник на улице, из окна дорогу видно, тогда деревянная вдоль реки шла; по правую — огород, второе окно на него глядит. Я в сороковом родилась, помню мало. Крыша была железная, в сенях ларь под крышкой — сусек. Там картошку держали, помню, курам пшено. Мама меня пошлет за чем-нибудь, а я боюсь: вдруг крыса? Сяду в сенях и плачу. Мать спохватится, придет: чего ты? Крысу, говорю, боюсь. Она мне затрещину даст да сама в ларь лезет. Нет здесь, кричит, никого, сроду не видела. И правда, я, сколько себя помню, крыс не видела, мышей только, а маму ведь цапнула-таки одна, там же, в сенях. Болела она потом, но обошлось. А у соседа крысы пимы объели. Он кабанчика резал, валенки в крови вымочил. В сенях поставил, крысы и объели. Всякое бывало.

Во дворе черемуха росла, не кустом, деревом, вся в ствол ушла, в толщину. Там стол стоял скобленный. Обедали летом за ним, вся семья садилась. Чугунок из дома ухватом принесет мама ли, бабушка, на стол поставит. Ложка у каждого своя. Мы, ребятишки, набегаемся, голодные — терпенья никакого, ну и лезешь скорее в чугунок. А дед размахнется — да ложкой в лоб: а не лезь первым! По старшинству полагалось. Оно и правильно: все ж горячее, чтоб малые не обварились, надо старших дожидаться. Ну и уважение... Так и приучались.

В доме печка, комната надвое: тут тебе кухня, тут — спальная. Дед на печи спал, мама с отцом на койках, а бабушка Августа, Гутя, на кровати. Я к ней любила ночью приходить: прибегу и подкачусь под бок. С вечера хоть запросись — не пустит. Иди, говорит, к себе на лавку. А ночью — куда деваться? Дите сонное, полы ледяные. Перину откинет — лезь. Я угреюсь, сплю. Как-то проснулась, слышу — голос, а чей — не разобрать. Вроде Гутин, но задушенный, сиплый:

— К добру или к худу? К худу или к добру?

И вроде филин заухал:

— К худу! К худу!

И крылья захлопали, будто птица с изголовья слетела. Меня ветром обдало, со стены — брус тесаный небеленый у нас был — труха, паутина полетела, а я и утереться не могу, затекла, застыла, ни рук, ни ног. Утром Гутя рассказывать стала, дескать, домовый душил. Дед смеется: врешь, говорит, бабка, детям сказки рассказывай. А потом у



его же сестры на хуторе свињи ребеночка подъяли. Хряк стайку подрыл, девчоночка махонькая, внучка, что ли, сестрина, и подкатись к дыре. И костей не собрали.

А вот салазки у меня были, салазки, знаешь-нет? Колода деревянная, долбленная, а донце говном коровьим намазано. Ночь в сенях на морозе полежит — куда с добром! Злее этих салазков ничего не было, с горки лечу, дак звезды в глазах лопаются. Куда с добром...

А яйца в самоваре как варили! Самовар у нас был, внутри труба, в нее щепу наломаешь, углем из печки подпалишь. Вода закипает, яйца в марлечке, в чистенькой, спускаешь, чтоб до воды не доставало, крышкой прижмешь, они и пекутся на пару. Вот тебе и готово: и яйца сварятся, и — крантик открути — кипяток чистый...

А в кухне, у печи, выгородка была, штaketник, там кур держали зимой. Проснешься утром, они: ко-ко-ко! Лежишь и думаешь: пойти, что ль, пошарить, вдруг яйцо? Время-то голодное, я в сороковом родилась, вот и считай. Что мы там ели? Ну, рыбачили на Иркуте, рыбу в котле, на бережочке, варили, это я помню. Гутя рукава засучит и шурует ножом, шурует. Там же мелочь одна ловилась — пока начистишь... Помню, чешую с рук как чулок снимала. Окушки — они сопливые. Я подберу, чулок-то, шелушу, разбираю. Потом, я уж на слюдфабрике работала, все казалось, не слюду щипаю, а тех окуней на Иркуте. Да, так вот, голодные все, а тут — яйцо. Лежишь, под периной у Гуты угреешься, а изба за ночь выстыла, полы холодные, никак не решиться босиком в кузь бежать. Да изгваздаешься в закутке, говна-то у кур хватало. Гутя потом и за яйцо, и за грязь люлей отвесит, я уж знаю. А тут петух орать начнет, Гутя просыпается. Все, опоздала.

Дед позже всех поднимался. Сядет за стол, чаю набуровит и давай Гутю задирать:

— А что, Гутя, слышно чего? Про наследство-то шведское?

Гутя полотенце с досады бросит, на двор убежит. Это тетка у нее была, старшая, еще до революции нанялась к одним местным в услужение. У них потом старшая дочь отделилась, в город уехала. И Гутину тетку взяли. А потом, говорили, в Швецию они семейством подались, с прислугой. Было вроде на памяти, по родне передавали, что замуж она там собиралась, за какого-то не то булочника, не то пекаря, вроде хвастала, дескать, будет у меня магазин. А потом то ли бросил он ее, то ли его убили, а она и утопись. С моста кинулась в канал. А Гутя не верила, ждала. Кто знает? Может, говорила, жива тетка. Вот ее и дразнили на деревне наследством. Дескать, Николай ее замуж взял ради кондитерской, ан барыша-то и не дождался.

А то летом исинские приедут, на лошади. Отец в Иркуте воды зачерпнет, поставит, а она не пьет — брезгует. К ключевой привыкла, эта ей мутная. И сами исинцы за столом губами жуют, а не едят.

Бабушка Гутя станет Христофору говорить:

— Астафор, ну хоть картошки зачерпни, не обижай.

А он смеется:



— Она мне в девках надоела, картошка-то.

Они и дома больше молоко пили. У них коровы породистые, там в молоке ложка стояла. И сыты были. Озеро, сосны, тянуло меня к ним — вот как приеду, и будто клеим силикатным приклеили, живьем отдирать. Они посидят, домой засобираются, и я с ними прошусь. А раз как-то они меня в лесу забыли. Говорят, черт глаза отвел. Землянику мы собирали, поляны-то голые, солнце печет. Вспотеешь, а на пот мошка лезет, душу выматывает. Мне и надоело, я бочком-бочком да и ушла на озеро, там берег в ивняке, тенечек, я и задремала. Исинские ягод набрали и домой ушли, меня и не вспомнили. Я выспалась, поднялась. Жара спадать стала, ветерок подул. Я сарафанишко скинула, купаться пошла. Вода светлая, прохлада со дна поднимается. Смотрю, а с другого берега, из сосен, вроде машет кто. Всмотрюсь — нет никого, померещилось, а только отвлекусь, гляну скользом — машет. Вылезла, сарафан накинула, хотела озеро обогнуть, дескать, кто там хулиганит, зовет. Пошла. А тропинка из-под ног уходит, и все я путаюсь: то в ивняке увязну, то берег осыпаться станет. Никак не пройти. Тут и исинские подоспели заполошные: ты что тут? Куда пропала? Да чего на тебе сарафан наизнанку? Наподдали да домой повезли. Ночью стала Гуте рассказывать, дескать, звал меня кто-то, с берега махал, она и вздрогни: это тебя леший заманивал, прибрать хотел. Твое счастье, что платье навыворот напялила. Это ж первое дело, когда леший пристанет. Твое счастье, девка. Потащила меня к Иркуту, воду черпнула, смыла с лица и рубахой, подолом-то своим, утерла. А сама плачет. Отвертелась я тогда от лешего, да не совсем: мужа моего прибрал-таки, мне уж тогда тридцать два было, он в Тофаларию нанялся на заготовку ягод, там и сгинул. Дружки его в артели говорили, под вечер уж подхватился от костра, в тайгу рванул. Окликнули: куда, дескать, на ночь? Отмахнулся: зовут. А кто зовет, куда? Неизвестно. Ну, кто его знает, может, и врал. Может, по пьяной лавочке прихлопнули да закопали, а потом сказку выдумали, поди теперь разбери...

Да, а меня сарафан спас. Отец наш в городе работал, в КЭЧ, квартирно-эксплуатационная часть у военных. Дали ему квартиру в городе, мы и переехали, городские стали. Отец молодой красивый был, что ты! Синеглазый, чубатый, ой! Их же трое было братьевьев, двое при отце, в деревне, а он в город поехал, отцу не сказался. Тот думал, он в Исе поживет, а он в город удул. А тут дед помирать надумал, надо, говорит, детям оставить. Ну, что делать? Баню по бревнам раскатали, свою корову продали, трех телушек купили. Детям. Отцу братьевья через знакомых передали, дескать, явись получи наследство. Пришел. Чего с телушкой делать? В город не поведешь. Повел в Ису, пехом повел. Там и продал. А деньги до города не донес, то ль потерял, то ли пропил, то ли отняли. А дед на радостях, что детям дадено, и помирать раздумал, так отец ему еще сколь лет поклоны передавал от телушки: спасибо, мол, дед за молочко...

Там, в городе, и стали у нас мужики помирать. Сначала брат Володя с дружкой на мотоцикле разбился. На полном ходу перевернулись. У во-



дителя ни царапины, а у Володи — перелом основания черепа. Неделю в коме провалялся и умер. Красивый был, здоровущий, он кузнецом работал, у них мода тогда была: шляпа кожаная, плащ кожаный до пят. В них и хоронили.

Потом Вите на стадионе диск в голову прилетел. Насмерть, сразу. Пришел на друга поглядеть, тот атлетом был, от друга и получил «подарочек».

Дядька наш, Данил, в колхозе председательствовал. Сына все хотел, ждал. И дождался же. Сам принял, имя дал, обмыл. В город, говорит, увезу, чтоб выучился. Пошел на реку за водой и помер. В тот же день, да. И не хватились, все ж в хлопотах. Сколь он там, на реке, маялся, кто его знает? А сына тож Данилом назвал. Я, как из города приеду, с ним нянчилась. А я же молодая, мне обидно. Подружки на реку купаться убегут, а мне тоже охота, ой я ревела! Люльку трясу, думаю, совсем бы ты вытрясти. А кормили как? Хлеба нажухешь, жеванки в тряпку чистую. Он мусолит. Свеклу, морковку мятую в тряпке давали, он сосет. Через тряпку то одно, то другое попадает, не один сок, так и приучали. Это ж какой?.. Пятьдесят четвертый, однако? Так и кормили. Расскажи сейчас кому — кто поверит...

А Саня с женщиной познакомился. Странная она, Люба эта. Мать у нее учительница была, к ней вся округа детей водила. А сама не работала. Сядет, нога на ногу, и курит, курит, одну от одной подкуривала. И все стихи читает. Черная, страшная. Станешь ей говорить, дескать, Люба, у тебя стаканы — взяты боязно, не то что пить. Липнет все, окурки кругом, блюдца. Она молчит, ухмыльнется только, как ножом полоснет. Ребенок у них родился, так дед ездил смотрел. Бутылочку, говорит, со стола взял, а там молоко закисло, створожилось, в зеленой сыворотке комья плавают. А ребенок — Володькой назвали — даже и поносом не страдал. И что у них потом вышло, поругались или что, только Саня возьми да и выпей хлорку. И тоже, как Володя, неделю провалялся и умер. Элла, тоже наша, исинская, продавщицей работала, она ленточку доставала, кантик на гроб делать. Ой ругала Саню! Ой ругала! Чего бы, говорит, ни было, а жить надо. Вот хоть какая беда, а лучше смерти. И что? Полгода не прошло, она уж замуж собиралась, платье пошили — уксус выпила. Вот так, на окошке, у нее бутылка стояла. И ни записки, ничего. Хоронили невестой, фату она не успела купить, так уж после смерти мать в магазине выбирала, на себя мерила.

И мама наша болеть начала, похудела, кашлять стала. Ната, мать твоя, тогда уже медсестрой была, на Профсоюзной работала в больнице, она ее к себе и сговорила лечь. Стали лечить, а у мамы от леченья — водянка. Ты, говорит, Натка, меня сюда здоровую положила, а теперь вот я какая стала. От водянки и померла, дома уж, домой ее выписали помирать.

Чего твоя мать в жизни видела? С отцом твоим, что ли, счастье было? Вы тогда в предместье жили, дом деревянный. Надо воды на-таскать, угля, печь топить, а Паша на мотоцикле рассекает с пацанами.

Мать иногда до столярки добежит, там телефон был, мне на работу дозвонится, плачет. Я говорю: ко мне переезжай. А ей не в чем ехать: у тебя ни пальто, ни шапки. Я денег заняла, купила в «Детском мире» пальто, шапку цигейковую, привезла, стала вас собирать, а тут — Паша: не пуццу! Ну, я уехала, а после уж Ната тайком сбежала. Помню, приехал под окна грузовик, в кузове мать тебя к коленкам прижимает, узел с бельем и телевизор тут же. Так по городу и ехали.

Натерпелась она, и ты терпи. Своих жалеть надо, это запомни...

И я запомнила. Сезон закончился, автобус вез меня домой. Носки на мне были непарные, в карманах пятна от повидла, а в чемодане кошка, сытая столовская тварь, сожравшая однажды воробья, так что некоторым образом и он тоже был здесь, с нами.

Мать ушла на работу затемно, я дремала, когда на грудь, как в Гутинном кошмаре — к худу! к худу! — навалился домовый. Мой рот под ладонью, и из-под пальцев гляжу на лицо: в переносье горб, под горбом грибок носа, от уха до уха — распластанная прядь, как пятерня. Любовь тряслась на лягушачьих лапах, капал пот со лба и шипел, высыхая: «Тише, тише!» Я вцепилась в ладонь зубами, она рванулась, как, должно быть, рвался от кошки в лесу воробей, я взлетела, повисла в пустоте на мгновение и рухнула в черноту.

А вечером стояла на крыше, на краю, и материно «Ты все врешь!» не забывалось. В котельной жгли тару — коробки из картона, пепел летел с высоты трубы, как с неба снег. Наверное, оба бога, бабы-Дашин и Изазеров, сошлись в тот вечер покурить, и, если б я шагнула с крыши, кто знает, может, нашлось бы огоньку и для меня. Боги курили, стряхивая пепел, а за спиной выстраивались в очередь дорогие покойники, смертники и самоубийцы — родня. Пришли с подарками: бутылки с уксусом и хлоркой, свиные зубы, мотоциклетный лом, топоры, ножи, бутылочные «розы» и таблетки. Своих надо жалеть, сказала тетка, и я взяла себя за руку и с крыши увела. Родня расступалась, сливаясь с густеющим пеплом, боги курили, и, кажется, кто-то из них захлопнул за моей спиной чердачную дверь на петлях.

Мать умерла в две тысячи третьем. От водянки. Перед смертью звала: «Мама!» — и затихала, будто вслушивалась в ответ. Наверное, моя бабка докричалась до нее из своего семьдесят первого, из профсоюзной больницы у вокзала: «Ната, ты меня здоровую сюда привезла, а теперь что со мной сделали? От водянки умираю...» Я закрыла матери глаза, поцеловала в лоб и подумала, что история на этом кончена. Точка.

Серафима САПРЫКИНА

СКОРБНЫЕ МЕСТА

* * *

не доехать до конечной
выйти в скорбные места
без иконки и без свечки
без нательного креста

мы такими уродились
все известно наперед
вместо яблок молодильных
поцелуй грунтовых вод

после, после обнаружат
брошенные в суете
надоевшие игрушки
бытие небытие

* * *

спи, дружок, ты слишком мал,
мир ловил, но не поймал.
не прельстило зорь сиянье,
запах трав не свел с ума.

полноте, не плачь, молчи,
все мы только палачи,
первенцы петли и шеи
еле теплые, ничьи.



кто твой братец, кто твой зять,
кто слепил твои глаза
и оставил на безлюдьи
из-под сора выползать

будет, будет, отпусти,
пепла не храни в горсти
и позволь бесцветным птицам
по небу меня нести

* * *

Я одно и то же
Хрипло повторяю
Скользкая дорожка
Доведет до рая

Поменяй местами
Точки с запятыми
И святые встанут
Точно понятые

Линий жирных россыпь
Отряхнут с ладоней
Ни о ком не спросят
Ничего не вспомнят

* * *

не живи так не живи так
птичка выкликает грозно
отцветает ежевика
твоей розовой венозной
ты гипнозен параличен
еле слышим тонковек
улетай отсюда с птичкой
ты уже не человек

* * *

Небо схлопнулось, из дыр
Слышен горный гул.
Смуглый служка-поводырь
Вытолкнет во мглу

Больно взяв под локоток,
Скрыв лицо мешком,
Просьб молитвенный поток
Шелестя в ушко

Принимай мой слезный пост
Вахту трех осин
Все пустилось в пляс и в рост
Господи, спаси

И спасает. И несет
Нас двоих с горы
Останавливая все
До поры. Поры.

* * *

Что ты, мой хороший
Все погибель кличешь
Не кормись морошкой
С привкусом земличным

Твой уклад устоян
Гладок и узорчат
На мои просторы
Не смотри в глазочек

Там бурьян да кочки
Маячки, зарницы...

Разве только ночью
Тяжкий сон приснится

Выйдут дед и прадед
Из селений дивных
Только Бога ради
Не ходи за ними



* * *

беззащитной пашней
дразнит окоем
пан ты мой пропащий
нещечко мое
я машу платочком
из-за той черты
где шаги неточны
берега круты
у летейской речки
бродишь наг и юн

я стою навечно
истово стою

* * *

в отсутствие материй
для рук и для лица
сидит большое тело
и не шевелится

нутро его клокочет
пределы очертя
заглатывает почва
его по четвертям

то смерть моя щебечет
с черемух и осин
и звук ее наречий
ушам невыносим

* * *

Все то, что приближало нас
Теперь одна межа
Скрипят деревья, жалуясь
Что им не убежать
Обетованной местности
Рассыпалось панно
Я видела телесное
Мне нравилось оно
А ты стоял и заново
Ощупывал кадык
И яблоня, та самая
Раскинула плоды

Наталья КОВАЛЁВА

БИЛЕТ В ДРУГИЕ ВРЕМЕНА

Р а с с к а з

Сверху над Аришкой — огромные кругляши бревен. Влажные, темные, тяжелые. Внизу, у самых ног — каменистый берег и река, уже по-осеннему прозрачная и обмелевшая. А если чуть повернуть голову, можно увидеть и бесконечные ряды изгородей, заборов, заплотов — огороды. Уже убранные, с кучами еще зеленой картофельной ботвы. Только в их огороде — узкая полоска неубранных рядов. Восемь. Нет-нет, Аришка отсюда свой огород как раз таки разглядеть и не может, но точно знает, что рядов именно восемь. И что мать не успокоится, пока не загонит ее копать. Вот потому и сидит под мостом. Завтра она и без матери выроет эту картошку, а сегодня очень хочется встретить Герку и Лёньку. Нет, все же Лёньку и Герку. Потому что Лёнька — старший.

Он уже студент. Аришку это поначалу злило, потому что, едва Лёнька поступил, в доме, по словам мамы, «затянули пояса». И вот уже четыре года сидят с этими поясами, затянутыми под горло. Раньше Аришка осени ждала с нетерпением. Во-первых, школа, а учиться она любит. Во-вторых, сдавали бычков на мясо, а значит, всегда можно надеяться, что мама что-то купит. Она и сейчас покупает все необходимое: книги, тетрадки, обувь. Но уже не смотрит, что Аришке пойдет, что — нет, а смотрит только на цену. Все остальное — Лёньке за учебу да за комнату. Как будто Герке и Аришке ничего не надо.

Вообще-то Лёнька работает, то есть подрабатывает, но кто же виноват, что его заработка на учебу не хватит... И в том, что бычки теперь стали совсем дешевыми, тоже никто не виноват. Леспромхоз закрыли, мама без работы, а папка пьет, в этом тоже некого винить. Аришка еще помнила совсем другую жизнь, чуть-чуть, уголком глаза, будто в щелочку видела и папку трезвым, и маму счастливой. И еще — машину. У них же была машина!.. Сейчас только трактор. Но что такое трактор, на нем в Каменск не поедешь. А маме скажи — у нее на все один ответ:

— Голодом не сидите, крыша есть, голыми не ходите, а без глупостей прожить можно.

Глупости — это компьютер, телефон, одежда красивая, вкусненькое, что не домашнее, а магазинное... Хотя телефон у Аришки есть. Лёнька



подарил на четырнадцатилетие, только тут, в Верх-Ключах, он не работает, связи нет. Говорят, невыгодно ставить вышку, зато в Каменске всегда можно Лёньке позвонить, больше некому. И музыку можно слушать через маленькие наушники. Телефон у нее хороший — так Лёнька сказал. И правда, на него музыки много вошло и картинок. Она у дяди Вани скинула с компа.

Дядя Ваня — это их крестный, общий, один на всех. Папка с ним дружил, пока не стал пить. Но дядя Ваня все равно помогает, а еще они нанимаются огороды копать, и тогда мать Аришке денег дает. Правда, все равно потом их отдавать приходится. Деньги быстро заканчиваются, хоть мать их и «растягивает». Жаль, что весной нельзя с мамой на папоротник ходить — учеба, это строго в семье.

Учиться надо всем хорошо, чтобы после уехать отсюда. Что тут ловить? Как мама — погибаться, пахать, а в люди не выбиться? Вот почему так важно сидеть, затянув пояса. В этом году Лёнька окончит институт, он уж выбьется! Потом будут Герку тянуть и Аришку.

Все у них в классе мечтают, что вырвутся. Как птицы из клетки. Им надо вырываться: школу на тот год закроют, оставят начальную, надо будет в район ехать.

Мама вздыхает, что рано они из дома уйдут, но сама же и наговаривает:

— Ничего, можно и в пансионате учиться, надо в люди, профессию надо...

Лёнька будет археологом или учителем истории, он это с четвертого класса знал. Аришка хочет стать воспитателем, но дядя Ваня говорит, что лучше пойти на юриста или экономиста: воспитатели получают копейки.

А Герка не знает, кем будет. Он самый простой. Сказал: «Права получу, и все». Только кто ему даст «права, и все»? Права — это не в люди, в люди — это диплом. И учится он хорошо, в строительный можно куда-нибудь... или в лесное. У дяди Вани там блат есть, и Герку примут даже на бюджетное.

Если бы Лёнька согласился в лесной пойти, на инженера! При лесе всегда можно хорошо устроиться. Вон у дяди Вани какой дом! И семья бы сейчас пояса не затягивала, но Лёнька упрямый, он сказал, что будет историком, и будет, хоть с копейки на копейку, а надо — и учителем. Но с историей.

Аришка еще раз взглянула на экран телефона, вздохнула и побрела через речку, ойкая и вздрагивая. На том берегу в черемушнике, загустевшем так, что даже неба не было видно сквозь сошедшиеся кроны деревьев, торчал заброшенный детский шалаш. Правда, уже не заброшенный, а вполне обжитой.

Аришка отодвинула грязную тряпку у входа и поздоровалась:

— Здравствуй!

— А-а, — протянул навстречу тяжелый, точно налитый студеной осенней водой мужик, — доча-а-а...

— Пап... — Ариша тронула за плечо, — я поесть принесла. Мама шей варила... Кислых... — И посмотрела с жалостью.

Филипп вздохнул и простонал:

— Не могу я есть, доча-а-а... Плохо мне... Ты садись, садись вот.

Он засуетился, расправляя пихтовый лапник и выворачивая телогрейку нутром наружу. Впрочем, и изнанка ее уже была засалена до жирного блеска и топорщилась кусками желтой, как заветренный жир, ваты. Аришка огляделась и осторожно опустилась на корточки, не рискуя устроиться на отцовское ложе.

— Поешь, надо... — Она вытащила из рюкзака термос с супом и завернутую в полотенце банку с чаем.

— Лёнька что, с ореха не вернулся?

Ночевать домой Филька не ходил, спал в шалаше или в кочегарке у Витьки, где валил с ног пьяный сон, и уже утром пробирался домой: поест, а если сможет, выпросить у Гельки тридцатник и опять исчезнуть. Вот пропьется, тогда и вернется. Филька в пьянке страшным был, буйным, вот и придумал от греха подальше переживать запои... где придется.

Геля сперва искала, вела домой, чтоб зимой не замерз, летом не утонул, осенью в луже не захлебнулся, а потом рукой махнула. Им без него даже как-то лучше, что ли... А он не тупой, понимает: вот сейчас войди он в кухню, и замолчат все, как в рот воды набрали, словно он чужой, как не отец, и не он им будто этот дом срубил, и не он им имена выбирал.

Филька губами дернул, прогоняя внезапную досаду. Имена-то выбирал красивые, долго, старательно мусоля бабкины святцы и школьный словарь со списком имен в конце. Искал и не находил нужного, а его ребята должны особые имена носить, звучные. Так было принято у них: Ангелина рождает, Филипп дает имена. Старшего Леонидом назвал, среднего хотел Геродотом (гордое имя, красивое), но Ангелина на дыбы поднялась: что же это такое, Геродот Филиппович?! Вот и остался Германом, тоже неплохо. Герман Титов — космонавт такой был, давно, правда, тогда же, когда и леспромхоз... Дочку, любимицу, позднюю радость, назло деревне записали Ариадной. Но деревня имена ребятишек обкатала по-своему. И вышло: Лёнька, Герка и Аринка. И сам он — Филька. Уже полтинник минул, а все Филька... А был Филиппом Андреевичем, знатным механизатором. Но сидит вот теперь, тяжело мучимый похмельем, таращится на ленивое солнце, едва различимое сквозь кружево успевших побуреть листьев.

— Ну что молчишь-то? Пришел?

— Нет еще... Вот жду. Только, пап, ты денег с него не тряси, ему в институт платить надо. Пап, сильно плохо, да?

— Одна ты, доча, у меня и осталась, — простонал Филька и приложился губами к щеке дочки; она выкрутилась из его рук.

— Герка вчера баню топил, теплая еще. Ты б помылся, я ночью ворота не закрою...

Филька сморщился: одна дочь осталась, и та брезгует.

— На сколь орех потянул? Нынче шишка в цене.





— В цене, — кивнула Аришка, — потому что нету. За Центральный лог ходили шишку бить. Это же километров сто, наверное? А ближе нет, все выбили.

Аришка споро расстелила полотенце, открыла термос, по шалашу поплыл духмяный жар густого мясного варева. Филипп едва сдержал тошноту.

— Закрой, потом, потом...

— Я говорю, до Центрального-то километров сто?

— Да нет, поменьше, но семьдесят будет. Там хороший кедровник. Дорога только... Так пришли?

— Да нет же, папка! — Аришка затараторила быстрее: — Лёнька весь день вчера отсыпался в избушке, Мишка Вершинин у него был, рассказывал. Плечо ему суком зашибло, он сам себе укол какой-то поставил, вот и отсыпался... Ждем сегодня.

— А сдал на сколько?

— Пап, да я же говорю, не приходили еще, и мне еще к школе не все купили, и Герке надо спортивную и кроссовки. Телефон еще...

Она осеклась и тревожно посмотрела на отца. Глаза его пусто тарачились перед собой, будто он мог видеть сквозь ветви шалаша, и взгляд никак не мог найти какую-то опору, смотрел и смотрел в никуда...

Он таки поймал этот внезапный испуг и забормотал:

— Быка сдадим, доча, все купим. Все...

Тоненькие брови Аришки удивленно встали домиком над карими живыми глазами.

— Ка-а-акого быка? Его еще в июне украли! Па-а-а... — протянула она с ужасом и прикрыла ладошкой маленький рот.

— А-а, — только и ответил Филька, — ну да, забыл совсем, забыл... А ведь Гелька голосила тогда как по покойнику... Хороший бычок был, тысяч на тридцать потянул бы. А Барсучиха в долг не нальет, сука жадная, в погреб бы пробраться... Гелька — мастерица соленья закручивать, может, на пару банок выменял бы хоть шкалик спирта.

Он обхватил курчавую голову руками и закачался, разгоня густую тяжелую муть:

— Плохо-о-о мне, доча...

— Мне мама в школу дала на обед, я тебе... — прошептала Аришка и ткнула в руку отца три железных пяточка. — А у Лёньки не проси, пятый курс у него. Чуть-чуть — и диплом, па-а-ап...

Дочка провела ладошкой по замызганной футболке отца.

Он устался на деньги с такой неприкрытой радостью, что Аришке тут же стало стыдно: мама строго-настроено наказала денег отцу не давать.

— Пап, идем домой? — всхлинула она. — Я попрошу, мама ругаться не будет...

— Иди, иди, я чуток попозже приду, а?

— Правда придешь?

— Правда, правда. Вот поправлюсь чуток... Иди, иди.

Аришка кивнула и легко вскочила. Миг — и только тряпица у входа закачалась.



Филька поднялся, кряхтя и охая. Впрочем, уже совсем иначе: с надеждой, что ли, охая и чувствуя, как разливается в душе радость и заслуженная отцовская гордость. Лёнька с Геркой волчатами выросли, а Аришка — она его, его дочь, добрая душа. Домой-то не пойдёт, нет. Что там сегодня делать? Они ж орех нынче уже сдадут, а утром... Вот утром ему бы чуток здоровье подправить. Он же выходить уже начал, вот завтра еще чекушку — и в баню. Там поесть, отоспаться, будет человек человеком. Поди, даст Гелька денег. Нынче дорогой орех-то...

* * *

Плечо брату Герка замотал как умел, но все равно рука опухла, и грузил орех в тракторную тележку он один. И еще, когда таскал, подумал, что не сдадут они его, тяжелолат орех-то: полста кило в каждом, сырой.

А ведь это еще и не отвеянный путем, дома уже с мамой будут отвеивать. Один он тут точно не справится, а Лёнька взялся было утром за сито, но, едва сыпанул в него Герка орех, тотчас же и выронил.

— Домой надо ехать, — буркнул, — сколько есть...

И утопал в зимовье. Герка к нему сунуться боялся, было из-за чего. Это он проморгал, он... Не заметил, как так Лёнька под колот попал, вот и шандарахнул с размаху. Хорошо, что высокий брат, а так бы... Герка сглотил комок, явственно представив картину, как валяется Лёнька на мху, щедро усыпанном ягодами брусники, и кровь с разбитой головы такая же багряная. Хотя кровь в мох, наверное, сразу бы впиталась.

До вечера отвеивал, а когда плечи налила тяжкая усталость, пошел к брату в зимовье.

— Прикрыл орех?

Герка кивнул. Как не прикрыть? Бурундуки уже шмыгают, только оставь... Половину урожая можно будет по дуплам искать.

— Чаю налить?

Пошвыркали чаек, разогрели тушенку и упали спать. Герка хотел было попросить брата рассказать что-нибудь. Он интересно рассказывал. Про тезку своего, царя Леонида, про спартанцев, еще про Троя. Как будто кино опять смотришь. Но не стал. Только утром, когда ссыпал орех в мешки, осторожно спросил:

— Как думаешь, на институт тебе хватит?

Лёнька скривился:

— Да, на институт хватит. А вам что оставляю?

— Выкрутимся, — обнадежил брата Герка, хотя знал, что выкручиваться нынче особо не с чего, если вот только картошку сдать... И поспешил добавить: — У нас молоко, картошка есть, не пропадем.

— Аришке обещал планшет купить... и маме надо сапоги и пальто... Может, за первый семестр отдать, а там видно будет?

— Весной-то откуда деньги? — пожал плечами Герка. — Если корову сдать? А сами как?

Лёнька ухватился за мешок и скрипнул зубами.



— Я сам! — подскочил Герка. — А то, может, плечо пройдет и вернемся? Тут еще можно набить?

— Можно. Выше молодой кедровник пойдет, а нынче заметил — шишки на молодых больше. Можно.

И даже как-то улыбнулся.

— Отпрошусь еще на недельку... Можно.

Зато всю дорогу Герка трактор вел сам. Техника его слушалась. Дядя Ваня говорил, что в отца пошел, не дай бог, в него. Но Герка в двенадцать лет уже легко и с газиком мог управиться, и с трактором. Отец учил, когда не в запое был. Институты институтами, а шоферское дело — верное, всегда кусок хлеба в руках.

Перед самыми Верх-Ключами остановились. У Лёньки традиция такая была. С горы поселок как на ладони, и Герка знал, что сейчас брат застынет и будет молчать, изучать, будто не видел ни узкой ленты реки, ни домов, ни бесконечных этих сопок, расцветших знойно-алым, желтым, густо-зеленым, ни рыжей высоченной лиственницы перед въездом, а потом спросит:

— Красиво?

Наверное, когда Герка уедет поступать или в армию уйдет, он потом вот так же будет смотреть. Может, потом, а пока он неторопливо переминался с ноги на ногу и быстро согласился:

— Красиво.

— Мама с Аришкой уже огород убрала! Когда успели? Может, пропился?

— Нет, он еще с месяц гудеть будет. Поехали?

— Да, только давай не через мост. Он в шалаше, скорее всего, торчит, прилипнет потом. Через брод проведешь?

— А то! — расцвел Герка.

— Ты все же аккуратнее, герой. — И здоровой рукой натянул капюшон энцефалитки брату на глаза.

* * *

— Нагулялась? — Геля строго глянула на дочь. — Беги к дяде Ване, попроси сито, еще на раз отвеем, и Валюшка примет. Согласилась.

— Лёня! — взвизгнула Аришка и рванулась к брату.

— Плечо! — враз закричали и Герка, и мать.

И Аришка замерла на полпути, боясь даже прикоснуться к брату. Рука уже была перевязана, и рубашка болталась пустым рукавом.

— Больно? Я вас у моста ждала, ждала, а вы — как? Вы вброд? Да? Там же лесовозы все перерыли, а кто вел? А ореха сколько?

Лёнька коротко ответил:

— Ничего, выставил просто. Герка вел... Мало ореха. Беги к дяде Ване, потом все расскажу.

Но не удержался и дернул за косу.

Геля спрятала улыбку. Лёнька Аришку любил, с самого начала любил, как принесли ее, крохотулю недоношенную, маленькую. Герка тогда скривился, а Лёнька так и застыл над сестрой.

— Подержать хочешь? — взволнованно спросил Филипп.

— Ага-а-а... — выдохнул Лёнька.

И, боясь дохнуть, все держал ее бережно. А Герка разревелся вдруг от обиды. Еле успокоил его тогда Филипп. Да где-то даже фотка осталась: Лёнька и Аришка... А сзади они трое: Филипп с Геркой и Геля... Иван снял. Господи, ведь было же! Отчего-то теперь, когда слышала она слово «счастье», вспоминала именно эту фотографию.

Поначалу отвеивать орех было даже весело, и тяжесть сита, сооруженного из деревянного каркаса и металлического дна с пробитыми высечкой отверстиями, какое-то время не чувствовалась. Расположились во дворе, и отчего-то это тоже казалось Аришке почти праздничным. Она все выпрашивала Лёньку возбужденно и радостно о том, как собирали — с колота или падалкой, да брал ли кто рядом, или одни?

Лёнька отвечал подробно:

— С колота. Ну, Герка лазал еще, мало нынче падалки, осень вон какая... И так мало, а еще погода тихая, держится шишка.

— Ты не хватай помногу, не хватай, — вмешивалась мать. — Он чистый почти.

— Через грохот прогнали, — соглашался Герка, — так что так, чтоб не прикопались... Так Вершинины рядом были, но что-то недолго. Мишка сказал, бабки осенью на реву возьмет. У него всегда заказ на мясо есть.

— Мишка возьмет. Молодец! Это — охотник.

— Ма-а-а, я тоже бы. Ты же сама не пускаешь.

— Ой, Герка, ты вон уже брата добыл. Сиди, а? Как не убил?

— Да он сам, скажи же, Лёнь!

— Сам, сам. Аришка, ты, может, картошки поджаришь?

Геля согласно кивнула, прекрасно понимая, что Лёнька спроваживает сестру. Что ни говори, а не для детских рук забава — вон уже еле тягает сито.

Но все же и тяжелый маслянисто-коричневый орех, и стремительно подступающая ночь, и грядущая продажа как-то радовали, и голоса звучали звонко. И отчего-то особенно сильно и остро чувствовала Ангелина тихое счастье, какое понять может только мать, когда вокруг собираются дети, родные до малой малости. Она поглядывала на темную курчавую голову Герки, на его упрямо закушенную губу, невольно отмечая, как же он похож сейчас на молодого Филиппа: так же коренаст не по возрасту, знойно-смугл и курчав. Лёнька светлый, в нее, и рослый тоже. Это Аришка вышла серединка на половинку, будто природа нарочно смешала в ней и яркую броскость хакасской крови, и белокожесть русской... Красавица будет, только бы ума бог дал. А то дюже жалостливая... А так — да! Так и цветут карие глаза на светлом лице. Словно их туда для того и пристроили, чтоб каждый обернулся.

Филипп же наполовину хакас. Оттого и так хорош был. Метисы — они красивые... Ангелина прислушалась: не принесла бы нелегкая... Был Филипп, да весь вышел. Скрючился, сгорбился, словно высохшая на корню береза. Как-то разом вдруг вылезли морщины и седины, и лицо отметили неровные пятна. Водка человека метит накрепко, в бане не отмоешь.



— Лёня, пойдем-ка, мешок поддержишь... — выманила Геля сына. И когда он неловко ухватился за край, шепнула: — Сейчас орех сдашь, я договорилась, Валюшка откроет. Ты только в окошко постучи и Аришке не говори, на сколь сдал и куда деньги положил. Отцу проболтается, и тот вытаскает.

— Развелась бы ты с ним, мама.

— Куда я разведусь-то? На улицу его или на мороз?! — отрезала Ангелина.

Лёнька отмолчался. Не созрела мать для разговора. Но что уходить ей надо, это точно. Вот окончит, а там что-нибудь придумает. Годик потерпеть надо. Но вслух ничего не сказал.

К часу ночи Аришку дружно отправили спать, она уже не противилась. Зевал и Герка, и, пока вновь грузили мешки, он все тер глаза.

— Водой умойся, я одной рукой трактор не удержу, — посоветовал Лёнька и остро пожалел брата. Он Аришки старше всего на два года. А тут — сгрузить, отвезти, опять загрузить... Взрослому мужику тяжело. Если бы не отец, можно было бы и отоспаться. Можно... да нельзя.

— По-доброму, еще бы утром, как верховка задует, отвезти. Скинут цену-то?

— Не скинут, нынче мало ореха, — возразил Лёнька.

Он только на то и надеялся, что нынче не должны сильно уж ковыряться. Тогда, небось, еще и дома сможет оставить хоть сколько-то.

— Хоть бы тебе хватило. — Мать, казалось, опять слышала невеселые Лёнькины мысли. — А мы тут выкрутимся.

Повторила уже слышанное от брата. И от этого молчаливого решения выкручиваться, терпеть, жить с тех копеек, что заработают на молоке, у Лёньки перехватывало горло и жалостью к ним, и глухой ненавистью к себе. Сел же вот на шею...

— Вот выучишься, поможешь Герку тянуть... — опять ответила мать на невысказанное вслух. — Ладно, грузитесь и езжайте. Валюшке там сунь сколько-то... Или пообещай хоть конфет или вина. Все равно она принимает по-человечески, а если сам Роцак приедет утром, тогда, считай, в полцены и возьмет.

* * *

— А до утра подождать не судьба? — ворчал Мишка Рябинин. — Тут осталось-то...

Лёнька усмехался неловко:

— Я ж не знал, что ты тут, да мама с вечера договорилась с Валюшкой...

— Мама, мама... Ладно, пошли, кайфолом, сам приму...

Мишка брякнул связкой ключей.

— Ты? А Роцак после Вальку не попрет?

— Так и так попрет. Он ее всегда в сентябре увольняет, в мае приходит обратно звать: кто тут будет день и ночь вкалывать, если не она?

Мишка устроился в тележке трактора и приподнял брезент:

— Ну и сколько?

— Да немного, двадцать.

— Чистого? — присвистнул Мишка.

— Нет, я в шишках сдаю... Чистого.

— Бурундук ты, а не спартанец. В голой тайге я бы и трех не собрал, вон притащил матери мешок, хватит, а ты хапнешь сейчас, хапнешь... Валька сказала — принять у тебя по семьдесят пять рубчиков. Не по полтосику. Добрая она сегодня! Цени!

И потянулся сладко до хруста, всем видом обозначая причину внезапной Валухиной доброты. Лёнька заерзал смущенно на мешках.

— Спасибо, я, Миш, если надо, деньгами или как... Сам знаешь...

Мишка закатился здоровым задорным смехом:

— Типа чаевые за ночную вахту? Круто. За рулем-то малой?

— Герка.

— Ты сейчас на руки штук шестьдесят получишь. Вот. — Мишка для достоверности извлек из-за пазухи целлофановый пакет, перетянутый веревкой. — А мне как раз пилораму предлагают, не новая, яшень пень, но и отдают за сто двадцать. Входи в долю. Я найду половину всяко, смотри, тракторишка у тебя есть, у меня трелевочник и газон. А главное, Лёнька, есть ты, я и вон малой, мы могли бы сейчас на лесе бабок поднять неплохо.

— Я ж учусь, — виновато развел руками Лёнька. — Мне за учебу отдавать.

— А на фиг учиться? Я тут с Ванькой говорил. Мне он черта с два навстречу пойдет, а если ты в деле...

— С дядей Ваней, что ли?

— С дядей, с дядей... Ну вот, если бы ты пошел в дело, могли бы и лесосеку получить, где нам надо и какую надо. Что, не помог бы он тебе? И взяли бы... Удобно в крестных главного лесничего иметь, а?

И Мишка вновь захохотал.

Легко все выходило у Мишки, просто. Лёнька всегда этой простоте удивлялся и отчасти завидовал. Иногда казалось, что у друга вся жизнь — сплошной праздник, вроде Масленицы, что ли, главное — ухитриться схватить блин пожирнее. Почему у Лёньки вечно рука не поднималась, не мог он ее протянуть за куском, стыдно было, неловко... Да и как-то... Он даже разговора с дядей Ваней представить не мог: вот придет к нему и попросит выделить участок поближе и повкуснее, да... Хотя и говорить не пришлось бы, он сам как-то заикался, что есть участок, где по всем картам — пихтач, а на деле кедр. Можно отдать в рубку без последствий, на законных основаниях... почти на законных. А значит, и дело очень прибыльное. Он бы эту лесосеку даже не как деловой лес отвел, а как дровяную... И был бы свой человек, чтоб ему, главному лесничему, не светиться. Но в том-то и беда, что не получалось у Лёньки быть своим человеком.

А ведь это деньги, те самые... живые. Матери — сапоги, пальто, Аришке — планшет. Но вот чего никак не мог представить Лёнька, так это — как же он сможет прийти в тайгу с пилой, как будто нарушить что-то очень единое, гармоничное, цельное. Мир особый. Он и петли-то на зайцев ставить так и не научился. Вот Герка — тот всю зиму ушастых



таскал, свеживал их легко и просто... Да что зайцы, Лёнька и свинью, домашнюю и выращенную заведомо под нож, прирезать не мог... Нет, мог, конечно, но мясо после в глотку не лезло. Откуда взялась в нем эта недеревенская церемонность?..

— Слушай, давай завтра обсудим, — отрезал он и понял, что не будет ничего обсуждать.

— Давай завтра, — легко согласился Мишка. — Рука-то как? Или малой мешки стаскает?

— Стаскаю. Открывай весовую.

— На фиг? Так нарисую, ты его, главное, не отдельно, а в общую кучу скинь. По сорок пять кэгэ в мешке, условно.

Он стукнул в кабину трактора, Герка тотчас же высунулся, как кукушка из деревенских ходиков.

— Малой, сорок пять помножь на двадцать, что выходит?

— Девятьсот! — отрапортовал Герка.

— Вот, малой, бухгалтером будешь. Теперь девятьсот на семьдесят пять.

Герка замолк на минуту и выдал:

— Шестьдесят семь тысяч пятьсот.

— Главным бухгалтером! Пошли, рассчитаюсь. Малой, ворота открывай и загоняй на территорию. Мешки под навес, не сопрут, поди, до утра...

Мишка щелкнул выключателем, и яркий свет залил просторный двор бывшего промхоза. Лёнька шагнул следом — и пока шел через двор, щурясь от света, никак не мог поверить в названную сумму. Но Мишка легко вывернул из пакета плотную пачку тысячных купюр и несколько пачек потоньше, пятисоток, соток. Любовно провел рукой по деньгам. Купюры в его пальцах мелькали быстро и вместе с тем так, будто вот сейчас он нарочно давал Лёньке налюбоваться игрой радужных бумажек и ловкой работой пальцев.

— Пересчитай!

— Зачем? — смутился Лёнька

— А если я тебя наколупал?

— А если я тебя? — улынулся Лёнька. — Ты же даже не видел, что я тебе привез.

Мишка фыркнул:

— Ты? Меня? Лёня, такие наколупывать не умеют, — и добавил со всей серьезностью: — Тебе тетя Геля сроду бы не позволила грязный орех сдать.

— Не позволила, — подтвердил Лёнька и спрятал деньги внутрь; показалось, что в нагрудном кармане теперь поселилось что-то теплое, живое, дающее силу и надежду. И за эту силу и надежду он был сейчас безмерно благодарен, поспешив заверить: — Мы на два раза отвеяли... Не рука бы, я бы и три раза, Миш.

Глянул в глаза и улынулся, стыдясь и себя, и этой улыбки.

— Ладно, пошли стаскаем, что ли. А то малой кишки надорвет.

Но все же, когда принес лихо два мешка враз и ухнул их на землю, развязал, взвесил на руке орех и ссыпал обратно.

— Чистый? — спросил Лёнька. — И крупный вроде? Валюшке не нагорит?

И Мишка вновь раскатился хохотом:

— Лёнька, ты что наивный такой... Рощак это тут по полста принимает, ну, по семьдесят пять максимум, если крупный... А продает знаешь за сколько? — И сам себе ответил: — Триста пятьдесят минимум! Вот и считай! Он в прогаре не бывает никогда. Учись, студент! Ты месяц в тайге мантулился, а он сливки снимет. Так нас, дураков, и делают.

Лёнька пожал плечами: он это всегда знал, просто думать не хотелось, вот так мир устроен сейчас, и он его не переделает.

* * *

Ночь для Аркадиных, беспокойная и счастливая, перетекла в сонное утро. Геля до утра так глаз и не сомкнула, все ждала сыновей, а после, когда уже уложила своих таежников и постояла, любуясь на разметавшихся во сне парней, ложиться смысла уже не было. Плеснул в окна рассвет, бледно-черничный, похожий на самодельный йогурт. Аришка такой любит: смесь густой сметаны и черничного варенья. Йогуртовый рассвет, какой-то не розовый и не сиреневый, но густой и, кажется, сладкий.

Геля еще пометалась по дому, придумывая, куда спрятать большие деньги. Сунула за икону, устыдилась строгого взгляда Богородицы... да и найдет там Филька. Он мастер на находки. В подполье зарыть? Смех и грех... Прятать, как клад какой, может, вот завтра-послезавтра уже увезет в институт... В банку с чаем? Так и там находил, и на припечке в валенке, и кладовку обшарит, нюх у него. А если найдет, то... Ангелина и не додумала даже дальше этого «то», страшно становилось.

С тех пор как в июне угнали Буяшку, доброго уже бычка-двухлетку, ходила она как омертвелая. Что бы ни делала, что бы ни говорила, а в уме все крутилось страшное: не доучится Лёничка, не доучится... А Лёне в город надо, пропадет он в деревне. Герка — тот нет. Приспособится, ему многого и не надо. Крепкий Гера, земной. Это Лёня — журавлик вечный, все куда-то в небо глядит. Какой с него крестьянин? И руки вроде на месте, и делать может, но не с радостью, а если нет радости от дела, зачем так жить? За Аринку страха тоже не было, любовалась все — на такой товар будет и покупатель. С девчонками проще: выйдет замуж, устроится... Вот Лёня... Лёня — заноза вечная... И не сказать, что самый любимый, но самый душе больной, это вот точнее.

И ходила все по дому, думала, куда же запрятать Лёнькину надежду. Догадалась: в кухне, у печки, там плаха одна подгнила, а жестянка, прибитая от сыпавшихся углей, не слишком плотно прилегает. Ангелина ямку еще и раскопала ножом, сунула плотную пачечку, придавила ногой жестянку, подумала и принесла охапку дров, будто для русской печи заготовила. Кто же теперь поймет, что вот оно, богатство, под ногами...

А там и совсем рассвело. Стараясь не греметь, навела пошла телку, плеснула воды в подойник — доить пора да выгонять нынче самой придется. Пусть поспят ребятишки, умаялись, она управится и тоже приляжет на часок-другой, с картошкой уже к вечеру разделается.

* * *

Филиппу тоже не спалось. Барсучиха шкалик на Аришкины налила, да какой шкалик, так, еле-еле плеснула. Он и к Витьке не пошел, сам в шалаше и выпил, поел хоть немного... Тут сон и срубил. Глубокий, но короткий, а уже в полночь как кто в плечо толкнул, подскочил. И сидел на берегу, смотрел, как суетятся во дворе дети и жена. Не гудело бы так отчаянно в башке, наверное, и голоса бы услышал. Но в голове точно к обеду звали, гулко ухал колхозный рельс «бом-бом-бом», и тяжелые веки все норовили закрыть глаза, а сна не было и не было. Только бесконечный гуд да сердце в груди тяжелело, как водой наливалось и распухало колодиной.

Пару раз казалось, что вот сейчас не выдержит и лопнет, и найдут тут Фильку, бывшего лучшего трелевщика в леспромхозе, скрюченного, грязного... Тогда страшно становилось, жутко. Поднимался, плелся к дому, но, едва переходил мост, ноги слабели. Вот и курсировал, как баржа, от шалаша на берег, чтоб убедиться, что отвеивают еще орех-то, потом в шалаш, вскочить — и к мосту. Может, и сдали уже...

И только когда услышал голос родного тракторишки, понял: вот оно, поехали, теперь подождать, ополоснуться в речке и идти каяться... Если хорошо сдали, то на радостях, может, и простят, а сдать должны хорошо, дорогой орех нынче, ой дорогой...

* * *

— Так и знала, — тяжело уронила руки Геля. Филипп топтался у ворот скотного двора.

— Ну что... Вот... Давай сам корову отгоню...

— Да уж справлюсь! — бросила Ангелина и ожгла белолобую неспешную Зоряну прутом.

Корова глянула обиженно, но шагу прибавила. Филипп посторонился и поплелся следом, часто дыша и вытирая пот. Так и следовали по улице: Зоряна, Геля и отдувающийся Филипп.

Хозяйки и ребятня, сгонявшие в стадо буренок, внимания не обращали. Привычная картина... Только пастух Ермошка причмокнул:

— Совсем плохо, однако, Филька?

Ермошка по возрасту Филиппу если не в сыновья годился, то в младшие братья точно, но обидное «Филька» даже не царапнуло, не до того было, только провыл в ответ:

— Плохо-о-о...

— Поправиться бы, а? Ангелина Сергеевна, поправиться бы мужику, сдохнет. С похмелья, знаешь...

— Не сдохнет! — рубанула она.

И пошла к дому, чувствуя, как злость заполняет ее, переполняет, плещется; так и шла, боясь, что выплеснется, пойдет верхом клокочущее негодование, рванет слезами или, того хуже, горькими матами...

— Геля-я-я... — хныкал Филька. — Мне б чуток, а? Я вот-вот — и совсем человек. Геля-я-я...

Сердце колотилось у горла, и каждый шаг выступал тяжелыми каплями на лбу. Но она лишь ускорила шаг.

— Соточку мне, а? Или две. Я и уйду... Уйду я... Трезвым приду-у-у... Соточку, Геля-я-я...

У калитки обернулась:

— Нет денег. Все, иди, иди. Вот сдадим — потом...

— Так сдали же! Сдали! Я видел, видел.

Ангелина повернулась всем телом:

— Видел? А что ж не пришел, ответить не помог? Девчонка сито тягала, а теперь дай ему. Все до копейки Лёне на учебу. Все!

Филька неожиданно быстро ухватил ее за рукав и вдруг рухнул коленями в дорожную пыль:

— Вот смотри, Геля, смотри, на коленках прошу, смотри...

Она растерялась, но высвободила руку и оттолкнула мужа:

— Что позоришься-то? Встань, встань. В баню иди, помойся, попросу, может, тетя Катя откапает чем, а? А денег... Нет лишних, тебе же сегодня соточку, завтра соточку... Встань, встань!

Теперь она сама уже тянула его, уводя от любопытствующих взглядов и густо заливаясь румянцем стыда.

— Что откапает, что-о-о, заче-е-ем?.. — стонал Филька. — Не поможет, не поможе-е-е-т... Ты соточку... две, ну?

— Люди смотрят! Пошли, тихо только, парни-то спят, спят... Ты в баню пока иди.

— Дашь? — спросил он, так и не поднимаясь.

— Да что я тебе дам-то? Все сосчитано, все. Кого обдею? Младшим одежду не купить или Лёнке за учебу не дать?

Говорила — и сама понимала, что не услышит Филька, бесполезно. Пыталась объяснить про дорогую учебу, про старые туфли, что на зиму сама без сапог, и отступала к крыльцу, но Филька полз следом, простирая руки, и черные заскорузлые пальцы ходили ходуном... А что хуже всего — знала, точно знала, до железной непробиваемой уверенности, что соточкой не обойдется, что повадится теперь просить соточку, две, три, четыре... Ведь было уже не раз, было...

Оборвала себя на полуслове и рывкнула:

— Не будет тебе никаких денег! Понял? Все, уходи. Разведусь я с тобой, слышишь? Развожусь! Уходи!

И Филька услышал вдруг. Сроду она не гнала его, каким бы ни пришел. Случалось, сам не помнил, как ноги к дому несли, да и несли ли... Но проснувшись, с удивлением видел синие шторы с белыми ромашками, стены, беленные чуть подсиненной известью. Не признавала она обои. И Ангелину. Такое это было вечное, незыблемое, как тайга, горы, Верх-Ключи их. Есть они — есть дом, есть Ангелина. Он мог неделями домой



не являться, но всегда знал... даже не знал, а каменно был уверен, что дом-то есть.

— Куда — уходи? — ошалел он. — Куда?!

Ангелина поднялась было на крыльцо, но поняла, что ни закрыться, ни отсидеться не выйдет, ведь стучаться начнет во все окна. Мальчишек поднимет. Знакомая карусель! Вот все кружится и кружится, и остановки ей нет...

Она подперла дверь спиной и ответила:

— Куда хочешь. Устала я.

И так это было сказано, что Фильку сквозь бесконечную трясу и сизый туман в башке обдало жаром. Если б закричала, ударила... да что там, было и такое... зарыдала бы, то еще б и ничего, а она просто выдала:

— Куда хочешь.

А куда он хотел, Филька-то? Он всегда домой хотел... А потом — из дома, когда подступала злость под горло и сил уже не было хлебать эту серую нищую жизнь дырявой ложкой. Вот тогда и сбегал в мать, в кочегарки, шалаши, к случайным друзьям... Лишь бы не видеть и не чувствовать, как его в лужу-то с маху мордой макнуло. Его, Филиппа Аркадина, лучшего механизатора, по тысяче, бывало, домой приносившего! Вот тогда она была, жизнь, а теперь только тень ее, прежней, будто плоская, серая, дерганая, нищая... И сам он уже тень, не человек. И кому он нужен-то такой? А вот выходит, что никому. Уже даже и Гельке не нужен.

— Геля, ты чего? Чего?.. Я ж говорю — все, завязываю. Мне бы только выйти...

— Соточку тебе или две? — усмехнулась Ангелина.

— Вот-вот! — обрадовался он. — А завтра, завтра я... ты же сама знаешь... Ну что тебе — соточку...

— Соточки эти твои дети месяц зарабатывали. Лёнька вон вернулся, а руки поднять не может. Герка — одни глаза, мы тут без мужиков на огороде мантулили. А ты... Ты где был? — И пошла на мужа, вдруг распаяя себя и заводя. — Ты где был, отец? Ты думал, что у дочки обуви нет, а Герка из всех штанов вырос? Думал? А когда покос без тебя убирали? Ты где был? Где? Какой отец-то ты им? Не отец! Не отец!!!

И пошла перебирать, перебирать, наступая и наступая. И покос, и картошку, и быка пропавшего — все припомнила. Будто в землю вколачивала. А Филька знал, знал это, знал, что сволочь он и не человек, что алкаш. Все знал... Только от знаний этих легче не становилось. Ей бы помолчать, Гельке, приласкать, может, а она... Ведь только соточку, соточку...

И Филька, сам не понимая, что творит, вцепился в волосы жены и прошипел в лицо:

— Сука-а-а! А в чьем доме ты живешь, кто ставил? Забыла-а-а?!

Она замерла от боли.

— Папка! — Аришка легко прыгнула с крыльца и повисла на руке. — Папка-а-а!

Он отшвырнул ее машинально, не понимая даже. Девчонка вскрикнула и затихла. Оба рванулись, сталкиваясь лбами над девчонкой.

— Убил! Уби-и-ил! — ужас рванулся криком.



Но Аришка поднялась и села, ухватившись за затылок. Филька протянул было руку, чтоб помочь, но Ангелина враз ошалела и молча вцепилась в лицо даже не пальцами, а когтями:

— Уйди! Уйди!

Он замотал башкой, ослепленный болью.

— Мама! Папка-а-а! — за спиной истошно и звонко взывала Аришка.

— Что ж ты... — Геля не договорила.

Филипп плашмя расстелился на траве.

— Убью! — услышал.

Над ним, сжав кулаки, стоял Лёнька, а с крыльца уже летел Герка, сжимая в руках кочергу.

Лёнька перехватил брата, и возвышались они над лежащим отцом уже вдвоем. Гелька прижимала к себе плачущую Аришку.

Филька не сразу встал, сесть почему-то не смог, поднялся на четвереньки, ненавидя сейчас этих четверых и боясь.

— Пошел вон! — четко произнес Лёнька.

Отец, пятясь, отступал к воротам, все боялся повернуться спиной, и лишь за калиткой крикнул:

— Еще позовете, позовете...

И знал, что теперь не позовут.

— Ты хоть спала? — спросил Лёнька мать так, будто и не случилось ничего.

Геля махнула рукой и побрела в огород. Аришка рванулась было следом, но Лёнька удержал:

— Пусть поплачет.

* * *

Мутный, тяжелый катился день... Филька без дела слонялся у магазина, не рискуя спросить в долг. Сидел на завалинке, курил. Вставал, брел к шалашу и опять возвращался. И ведь не выпить хотелось! Ну нет — не выпить, водка уже и в глотку не лезла; его уж больно обида жгла. Все виделось, как стояли над ним Лёнька, Герка с кочергой в руках... А ведь отец он им, отец... И чем дольше думал, тем жестче и жестче распаялась злая обида. Клокотала в мутной башке, рвала грудь вместе с ухающим сердцем. Что было сильнее — злое похмелье или обида с тупой тоской пополам, Филька не знал, но сидел на лавке у магазина, обхватив голову руками, и тупо раскачивался.

— Тяжко? — толкнул его кто-то плечом.

Он поднял мутный взгляд и не сразу понял кто.

— А что Лёнька не подлечит? Он нынче богатый...

— Сук-а-а он, сука-а-а...

Мишка расхохотался, он вообще никогда не печалился. Не было в его жизни повода для тоски.

— Не сука, дядя Филипп, он правильный шибко.

— Идем, Миш, — пропел над ухом девичий голосок. — И вы бы, дядя Филипп, домой шли.

Валюшка-приемщица.

— Некуда идти, дочка, — жалостливо протянул Филипп. — Нету у меня дома...

— А что так? — подмигнул Мишка.

— Выгнали меня... Выгнали как собаку. Отца родного... — И потекли обильно слезы...

— Тетя Геля отходчивая... — пробормотала Валюшка.

А Мишка вдруг скривил страшную рожу и грозно зарычал:

— Вот суки-и-и! Сожги ты их к черту! Всех. Сожги! — Не выдержал, рассмеялся: — На, я щедрый сегодня... — протянул мятую пятисотку. — После с Лёньки стрясу!

Филипп так и застыл, открыв рот: мысль свербела, что вот чужие люди понимают, а свои, родные, кому жизнь дал — нет.

— Я отдам, Миша! — закричал вслед. — Все отдам!

Но Мишка только отмахнулся. Не поверил.

— Сожгу, — сам себе сказал Филипп, — всех сожгу. — И крикнул в спину удаляющейся парочке: — И сожгу! Всех, всех сожгу-у-у!

* * *

К вечеру Филипп окончательно уверился, что нет у него другого выхода. Нет, и все тут... И даже легче стало не столько от водки, сколько от решения. А ведь точно — сожжет, пусть все горит: у него ничего нет, и у них не будет. Он так четко сейчас отделил себя от *них*, уже очужевших, посторонних, даже ненавистных. И обрадовался такому простому и ясному решению. И ждал на берегу. Он даже водку не всю выпил, боясь, что заснет и не исполнит приговора. Припрятал на утро — вот обмоет новую жизнь и начнет ее. Сам, один, без водки сможет устроиться работать куда-нибудь. Он же водила классный, таких с руками на вахтах рвут. Ему любую технику давай, справится! Хоть трелевочник, хоть бульдозер, хоть КамАЗ с КраЗом. И тракторист, и водитель, и механик... Пока Союз не загнулся, он молодой был, а вот же еще: тогда с Доски почета не сходил. Это потом все куда-то к черту полетело. А сейчас... Сейчас все у него по-другому будет. И чем больше пил, тем яснее становилось в голове, и тело обретало привычную звериную легкость: он ведь и охотник первостатейный, с малолетства в тайге. И ему в самом деле казалось, что годы каким-то чудом потекли обратно и вновь ему двадцать пять. И красив он, и силен, и девчонки тайком оборачиваются, чтоб увидеть, как идет он по селу.

Филька и к дому шел гордо. Правда, с огорода, чтоб к гаражу удобнее. Упал, пока реку вброд переходил, но гордо шел, гордо. Вот вам всем... Вот... Верный Тарзанка и не тьякнул, собаки — они вернее людей. Но загнал его в будку от греха. Ворота гаража не скрипнули, видно, Лёнька следил или Герка; и бочка с солярой, где стояла, там и стоит. Жаль, бензина нет, с пилы только если слить. Загрохотал пустой канистрой, но в доме все спали как убитые. Филька хмыкнул: спите, спите, недолго осталось-то... И щедро плеснул на стену. Подумал еще, залил и крыльцо. Вымокшие спички крошились, не загорались. Дошел до бани, отыскал зажигалку.

И занялось разом, дружно... Что ж не заняться... Дом за двадцать лет, что стоит, высох весь.

Как замороженный, замерев, смотрел он на огонь. И ждал, ждал, ждал...

Первой Ангелина проснулась и заметалась, поднимая детей. Он видел, как загорелся свет, и удивился, что вот надо же, огонь-огонь, а электричество-то есть! Ему это показалось странным и даже удивительным, и, еще не спеша, Филька накинул на дверь замок и отцепил собаку. Тарзан вырвался из будки и завыл.

— Иди, дурак, спасайся, — пнул его Филипп, но пес истошно лаял и метался так же отчаянно, как женская фигура в окне.

— Ну, все вроде бы.

Филька отер руки и поплелся на берег, в шалаш. Обернулся у брода. Зарево уже поднималось. Огонь лизал кругляши ладно подогнанных бревен, хватался за паклю. Но едва ступил в холодную воду, тяжело охнул, повернулся и неловко кинулся к дому. Аришка же... Аришка. Доченька его... Его доченька. Ариадна.

Крыльцо и сенки уже полыхали, обдавая жаром, но оттуда, из дома, отчаянно долбили, кричали. Филька рванул треклятуший замок, завыл, заорал от боли.

— Ты? Ты-ы!!! — в лицо ударил Гелин вопль. — Деревню буди, деревню!

В гараже затарахтел трактор, Филька успел увидеть в кабине искаженное Геркино лицо... Метнулись мимо Ангелина и Лёнька куда-то к стайкам, открывая тяжелые ворота, выгоняя корову, вышвыривая вон отчаянно квохчущих кур. Пронеслась легкой ласточкой Аришка.

— К дяде Ване! К дяде Ване! — крикнула отцу. — Я в школу...

«В какую школу?» — удивился Филипп. Но тут же вспомнил: телефон только в школе... Ивана — да, Ивана надо.

— Воду качай! — рявкнул Лёнька и толкнул отца к бане. Филипп вдруг обрадовался, что в этой сумятице и ему нашлось дело.

— Сейчас! Сейчас! — забормотал, затрусил в предбанник. Колонка скрипнула раз, другой. Вода ударила в ведро, и его, еще полупустое, подхватил Лёнька, вылил на себя и рванул в полыхающий дом.

— Куда? — услышал он Гелин голос.

Но тотчас зазвенело стекло.

— Герка, принимай!

И что-то ударилось, загрохотало.

«Вещи, вещи выносят», — стукнула мысль. Ворота надсадно ухнули, и чужие голоса заполонили, загомонили.

— От сена отбивай, от сена! — кричал кто-то.

— На березе зарод! Я оттащу! — Герка.

И тут же опять затарахтел трактор.

— Документы, Лёнька! — раздалось басовито.

«Иван пришел», — облегченно вздохнул Филька и яростнее налег на ручку. Ведра рвали из-под струи, не давая наполниться, и Филька качал, качал, качал...

Полнился криками двор.

- Пожарку! Пожарку!
- Вызвали! Пока доедет!
- Не лезь, не лезь! Герка!

Филипп все отчаянней жал на металл, не замечая боли в обожженных руках.

— Уходи, Лёня! Уходи! — кричала мать.

— Уходи! — крикнул из бани Филипп, понимая, что вот сейчас там, в дыму, задыхаясь, его Лёнька.

— Уходи!

Его оттолкнули прочь. Мишка Рябинин сноровисто разматывал шланг.

— Какого черта? — заорал он. — Насос же есть! Насос!

— В огород все, на улицу, — рыкнул, вырастая, Иван. — Горит, горит! Не отстоять, уходите! На соседей бы не пошло!

И Мишка, и Филипп замерли:

— Как?

— Так! Уходите. Ангелину уводи! — скомандовал он почему-то Мишке.

И разом ограда опустела, огонь жаркий и жадный уже не давал пространства никому, кроме себя, выталкивал за ворота людей, гнал на дорогу, за дорогу.

Рядом с соседским забором ширилась растерянная толпа. Филька искал в этой толпе детей, жену. Не находил и спрашивал, спрашивал, спрашивал:

— Мои, мои где? Где?..

Его толкнули к забору. Тут сыновей Филипп и увидел. Лёнька оперся плечом на шершавые доски, и в сполохе огня его лицо казалось странно черным. Герка как заведенный лил на протянутые руки брата воду. Руки, еще мальчишеские, не успевшие набрать силу и мощь, дрожали.

— Больно? Да? Больно? — спрашивал Герка.

А Лёнька молчал...

— Мать где?

Сын кивнул почти под ноги. И только тут Филька разглядел сидевшую на земле Ангелину. Она качалась из стороны в сторону, прижимая к себе Аришку.

— Геля... — он хотел сказать, а что — сам не знал. Просто выдохнул это «Геля». И она вскинула показавшиеся огромными глаза.

— Ты? — прошипела как кошка. — Ты? Сотню тебе? Похмелиться... За деньгами...

И осеклась... Лицо окаменело вдруг, как схваченное морозом. И прежде чем он успел что-то понять, вскочила, отталкивая дочь:

— Деньги! Деньги!!!

Кинулась к дому.

— Куда? — ахнули разом несколько голосов.

— Стой! Стой!

— Сгоришь, дура! — басом раскатился Иван.

Но она уже мчалась к дому. Взлетела на всю полыхавшее крыльцо, рванула дверь.

— Стой! — раздалось над ухом. Обернулся. На плечах у Лёньки разом повисли Мишка и Иван.

— Мама! Ма-а-ама-а! — перекрывая все, метнулся девичий крик. И польхнуло из окон, разом вынося еще остававшиеся стекла.

— А-а-ах! — по толпе.

— Газ! Газ! — забился в руках мужиков Лёнька.

Филька скакнул отчаянно следом. К огню, к дому... Но жаром ша-рахнуло так, что попятился. И вдруг увидел, как, согнувшись, мчится к дому Иван.

«Ванька, Ванька-то... Он спасет, спасет... Он молодец, Ванька...» — застучало в виски.

И тут же ударил вой пожарной сирены.

* * *

Мать хоронили от дяди Вани... Аришка все сидела у закрытого гроба и вспоминала маму живой. Так тетя Люда велела, дяди-Ванина жена. И она вспоминала. Хотелось гроб открыть хоть на минуточку, увидеть. Но его еще в морге заколотили.

— Надо на девять дней маму позвать. Души же ходят, — шепнула она Герке. Тот шарахнулся от нее.

Вот Лёня бы понял... Но Лёня у гроба почти не сидел. Только ночью, один... И Аришка замолчала, вспоминая опять. Отчего-то вспоминалось не то и не так: огород, что картошку не докопали. И как она пряталась под мостом. А мама кричала. И вот теперь было стыдно, теперь... Но плакать тоже было стыдно, и Аришка сидела закрыв глаза. Иногда подходила тетя Катя, фельдшер, что-то протягивала ей, Аришка покорно пила и опять закрывала глаза. Герка тоже не плакал... и Лёнька.

Аришке подумалось, что и мама никогда не плакала, никогда. Даже когда дядя Ваня ее из огня вытащил, говорят, не плакала, только Аришку к ней не пустили. Лёню она позвала, только Лёню... Почему?

Заревела она только на кладбище, когда сказали землю кинуть. Она подошла к могиле. А пальцы разжать не смогла. И заревела, заревела... Герка, кажется, кинул, и Лёня... А она так и держала эту глинистую сырую землю в руке. Кто-то потом вынул ее... Землю вынул. Но до сих пор кажется, что пальцы склеивает холодная, осенняя глинистая земля.

— Надо жить, дочка, — твердит дядя Ваня.

Он стал ее вдруг дочкой звать. Может, потому что она теперь у них будет жить? И Герка у них...

А дом... Дом... Ничего не осталось, только стайки и баня.

Надо Лёньку спросить, что ему мама сказала.

* * *

Октябрь пришел в Верх-Ключи стылый и ветреный. Необычно рано лег снег. Лег да так и не растаял... Нахохлившиеся дома курились дымками. Снег милосердно спрятал пожарище, только часть стен да печка торчали черным обелиском. Но к концу месяца и от них ничего не осталось.

С утра Лёнька загонял себя в работу: растаскивал и сгребал оставшийся пепел и головешки, разбираал огарки стен, долбил слежавшийся за годы печной кирпич. И тетя Люда все удивлялась: как так можно работать как заведенному? Иван... Как-то легко они вдруг перешли на «ты». Всю жизнь звал его дядей Ваней, а за одну ночь точно рухнули все возрасты и рамки. Так вот Иван только хмурился. Не вынес он после сорока дней. Когда женщины уже убрали со стола, оставив лишь кутью да стопку, прикрытую блином, Иван вдруг сказал:

— Садись, — и поставил на стол бутылку. — Помянем Гелю...

Лёнька молча принял стопку и опрокинул в себя.

— Что, строиться будешь? Уже до фундамента все выскоблил.

— Буду. Если обменяют в банке.

— Обменяют. Не сильно обгорели. Геля их собой закрыла. Так и горела...

И опять протянул стопку.

— Я ее тащу, а она мне: деньги, деньги возьми... Вот так, Лёня. Заживо горела.

Сколько Лёнька жить будет, столько и будет помнить страшное, жуткое... голое тело матери, черно-багровое, не белое, нет.

— Будь они, деньги эти... Будь они... — начал он.

Но Иван опустил тяжелый кулак на стол, дрогнула поминальная стопка.

— Молчи, пацан! Не в деньгах дело. Надеялась она, понимаешь?

— Не в деньгах? — взвился Лёнька. — Надеялась? Из-за семидесяти штук, из-за семидесяти! Вот, вот жизнь, да? Семьдесят мама моя, мама, понимаешь, стоит? Я себе простить не могу, денег этих простить... Зачем? Заработал зачем? Время, Иван, понимаешь, какое же страшное время, поганое, что из-за бумажек этих мама, мама моя!..

Иван подтолкнул к Лёньке стопку:

— Не ори! Завтра в институт едешь. Ты можешь тут руками в колодину вцепиться, я оторву. Гелька, царствие ей небесное, не за деньги, она за вас троих горела. Ты вылезешь и их выгацишь, у тебя выхода нет... Время... Вот нам такие достались времена... Поганые. Батя твой мне лет эдак пятнадцать назад так же говорил: времена, мол, жизнь ни черта не стоит, бабки — все стоят. Вот и ты, значит... времена-а-а... Что не пьешь-то? Пей, заливай горе...

— Не хочу, — процедил Лёнька.

— Вот и правильно. Филька за вас троих выпил.

Иван убрал бутылку и швырнул на стол тугую пачку новеньких банкнот.

— Я обменял. А это вот, — Иван залез в карман и выгацил обгорелую тысячную купюру, — тебе на память. Как вспомнишь про времена, так и доставай. Билет твой, считай, в другие времена. Мать купила. — И добавил без переходов: — Отца твоего до суда выпустили. Привез сегодня. В бане живет.

— Пусть... живет, — выдохнул Лёнька. — Пусть.

Евгений БАБИКОВ

ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

* * *

Плывут деревья по деревне
Сквозь скрип ворот и лай собак
В тот дом, где брошенное время
Паучьей сетью сплел чердак.
Чуть дрогнет дверь навстречу шагу —
И, вслед за ручкою ковша,
Живой колодезною влагой
К душе потянется душа.
Лишь здесь, меж судьбами чужими,
Вернув сознанию бытие,
Все в мире обретает имя
И воплощение свое.
Лугов раскрытые ладони
Качают травы на весу,
Зарей стреноженные кони
Целуют мордами росу,
А на качелях пьяных вишен
Нестрашный мечется пожар...
Все соразмерно, без излишеств,
И замер звук, к губам прижат.
Но ждет природа с болью тайной,
Когда разрушит человек
Момент гармонии случайной,
Спросив о плате за ночлег.



* * *

Море Болгарии моет хрусталики
 Глаз, утомленных обилием роз,
 И разливает ракию по шкаликам
 Словно случайных здесь русских берез.
 Марево, зарево — все это морево,
 Так же как пляжи и люди в песке.
 Тень наша завтра здесь станет историей,
 Память засохнет, как роза в руке.
 Но из далекого, сирого, серого
 Штата Сибирь или города Н.
 Морю, как чуду случайному, веруем,
 Птице синице больших перемен.

На прощание

Забери с собой Россию:
 Стопку, шкалик иль четок —
 Пусть есенинскою синью
 Пыхнет Ближний твой Восток.
 В Зазеркалье очень дальнем
 (Эхом-смехом: «Тьматьматьмать...»),
 Как жену чужую, пальму
 Очень трудно целовать.
 И чего уж после драки —
 «Сам собою по себе!» —
 Неуместны пастернаки
 В переделкиной судьбе.
 Забери с собой Россию,
 Словно воду сжав в горсти, —
 Очень больно, очень сильно,
 Очень «Господи, прости!»
 Ты ли, я ли, те ли — тили-
 Трали-вали стенку лбом?
 Строчки трезвые застыли
 Над застеленным столом.
 Кто-то близкий, кто-то пьяный
 Пал ничком на этот стол...
 На Земле обетованной
 Сладок утренний рассол.
 Запрягай! Дорогой длинной
 Жизнь была иль не была?
 Вот такие палестины!
 Вот такие, брат, дела!



Полно, милый! Тройка мчится —
Только кровь из-под копыт!
Ну скажи, какая птица
До середины долетит?
До Урала или Камы,
До елабужских гвоздей
Непостроенного храма
Богом брошенных людей.
И куда ж нам из сугроба,
От монгольских наших скул?..
У границы, как у гроба,
Встал почетный караул.
Если встретишь там Мессию —
Выпей с ним за милых дам.
Забирай сейчас Россию —
Я наутро не отдам!

Предпоследняя молодость

Ольге

Перечеркнуты строки,
не закончен сонет...
Вышли легкие сроки
вдохновенных побед.
Предпоследние годы
все трудней и трудней
и мечтать о свободе,
и держаться корней.
Перекачено поле
от тоски в горизонт,
позапрошлые боли
послезавтра не в счет,
и уже то и дело —
хоть грехи, хоть спеша —
не справляется тело
с нестареньем души.
Из вчерашнего дома,
как и вечность назад,
до смешного знакомо
уходить в листопад.
Не боюсь оглянуться —
нет на свете примет!

Предпоследние блюда
бьются радостно вслед.
Вышли в козыри пешки,
медью стала труба...
Не боюсь я усмешки
на любимых губах.
Но боюсь я: а вдруг ты
не узнаешь меня
в предпоследнее утро
предпоследнего дня?

Прибрежный сонет

Причал в потеках ржавчины времен,
Головоломка волн в помойных чайках,
Круговорот течений и качаний —
Вот весь мой мир, не знающий имен,

И свет еще от тьмы не отделен...
Давай же, странный друг, добавим к чаю
Дым дальних стран и капельку печали,
Где ветер странствий сладок и солен.

Пусть рыщут по округе сторожа,
Оптические выявив обманы,
А мы в дыре речного гаража
Запатентуем истину стакана
И будем беспечально провожать
Усталых барж пустые караваны.



Александра НИКОЛАЕНКО

ЦВЕТНЫЕ СНЫ

Р а с с к а з ы

Помнишь?

— Куда? Куда?! Да зад-то хоть причеши! Актриса погорелого театра...

Я сижу на полу горницы и реву отчаянно, ревмя реву.

— Мама уехала! — захожусь, ай как захлебываюсь, и меня пронизывает холод. Никто меня не любит. Пусть я умру! Пусть я умру, умру!

— Сашенька, плодничать иди!

Почему бабушка, которую я ненавижу — не люблю, не люблю! — говорит «плодничать», а не как все нормальные люди, как мама — «полдничать», «полдничать»? И я реву еще громче. «Подличать» — вот как это называется на самом деле.

И я не Сашенька, а Саша!..

Моя бабушка умерла одна-одинешенька, сегодня, восемнадцать лет назад, в коридоре тушинской больницы, где мы с мамой ее оставили умирать одну, потому что та женщина нам сказала: «Идите, идите, женщины, тут вам приемный покой, а не зал ожидания». От слов ее пахло спиртом и докторской колбасой. На губе ее висела бородавка. Бабушка умерла по самой середине ночи, потому что утром уже позвонили, и мама закричала. А бабушка умерла послушно одна. Она всегда жила послушно жизни. Улыбаясь.

— Лежи-лежи, мама...

— Приподымусь, Света... Сашенька, дай хоть поцелую, на прощание...

Нет, не дала. Не мама — я не далась.

Умерла одна бабушка, даже за руку никто не подержал. А ведь это страшно — умирать одной, когда тебя даже за руку никто не держит. А мы с мамой шли по темной аллее, горели фонари, синие эти лампы в окнах больничных, было очень тепло, тихо, шли мы к воротам, и нам было спокойно и хорошо, мы ничего не чувствовали. Я была беременна. Но я еще сама не знала. И бабушка никогда не узнала. Кто-то плачет во мне,



когда я думаю об этом. Это та девочка плачет, которая чистила сыроежки в большой белый таз с канальской ржавой водой, в таз с краем, надкусанным ржавчиной, и, краснея (все-таки краснея!) от стыда, брала за свое «навестила-бы-бабушку», брала у нее, бедненькой моей, три зеленых рубля и какую-нибудь книжку с полки.

— Нет, я не буду их, ба, я на диете...

Верните мне хоть те оладушки, ту гору оладушек с яблоками, посыпанных сахарной пудрой, дыхание которых наполняет всю квартиру, да что там квартиру — всю мою жизнь счастьем. И, клянусь, я съем их все!

Прости меня, а?..

Потом, много лет спустя, я так же шла апрелем (в сущности, я ведь ненавижу апрель), шла из 76-й больницы, на «Спортивной», от тебя. А ты стоял в дверях приемки, облокотившись о ту железную дверь, в этом своем синем халате, с этим своим стетоскопом, с этой дурацкой раздолбайской улыбкой, потерянно-рассеянной. Улыбкой на все, на всех, которая так вечно раздражала, бесила меня и возвращала к тем дверям.

Стоишь, все еще стоишь, как ничуть не бывало, в памяти, с лицом серым то ли от синего фонаря, то ли от непроходящей усталости. Ты ведь очень уставал. А мне навстречу, по серпантину подрезной, разбрызгивая вой сирен, громыхая, уже поднимается к тебе еще одна «скорая». А ты аккуратно тушишь о бортик мусорного ведра огонек последней «лайки страйк».

Неудивительно, что смерть терпеть тебя не могла. А уж я-то и вовсе всего этого не выносила! Но я обернулась. А ты мне помахал и улыбнулся. А я не помахала тебе и не улыбнулась. У меня просто не было на это сил. Ведь в тот раз я уходила от тебя — решила, что навсегда, что хватит. Но кто-то уже решил это раньше, заранее, за меня, до меня. А у тебя нашлись силенки и улыбнуться, и помахать, и умереть.

Помнишь, мы сидели с тобой на скамейке в парке и уплетали чебуреки? Весело же было! Хорошо нам было, хорошо. Где-то далеко проплывали автомобили, то ли Чистые, то ли Патриарши, асфальт был теплым, а смерть уже вышла на охоту за тобой. Она не любила тебя. Ты был как-то слишком самодостаточно взаимен. Она не любит таких, как ты, с дурацкими улыбками гасящих огонек о мусорное ведро приемки, входящих к ней в пасть с младенческим набором хирургических скальпелей, с ее же лязгом закрывающих перед ней двери приемного отделения 76-й городской больницы. Нашли чем бороться со смертью, ха-ха-ха!

А я так тобой гордилась. Жаль, что не успела сказать.

И я все думаю... Если бы тогда, в том больничном коридоре, где мы с мамой отпустили за руку бабушку, оказался бы ты (и тут не важны невозможности временных расстояний, все как-то не важно в памяти, ну да ты знаешь), то бабушка бы не умерла, не-а. Она бы дожила до Максима. Ага.

Так что неудивительно, что смерть не любила тебя. Я даже думаю, это она зубами скрежетала о железную дверь 76-й приемки, на метро «Спортивная», за которой осталось мое счастье. Бабушка бы не умерла, как не умер благодаря тебе мой папа.

Я люблю тебя. Я все еще люблю тебя. Бабушка, и тебя я люблю. И все мои.

Максиму семнадцать. Слышите меня? Эй! Он поступает в этом году в ППУ — психолого-педагогический, на Китай-городе.

Замолвите за него словечко, там же армия! А я тут без него — никак. Там же — *дальшая* жизнь.

Если есть вы еще... то простите меня.

Автобус в лето

— Он въехал в город на ослике, и весь город вышел встречать его, и говорили: «Кто сей?» И отвечали: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского...» Положи веточку за Спасителя, Саша, я не достану... — И бабушка разматывает ниточку с вербного букетика, а я неохотно лезу к образку над холодильником, на цыпочках встаю, протискиваю веточку за образок.

«На ослике... — думаю, слезая, и снова усаживаюсь за стол, рисовать. — Уж если ты принц, или царь там какой-нибудь, или Бог, то должен въезжать на красивом златогривом коне, как я рисую, с хвостом из желтого фломастера и в короне».

И я дорисовываю корону и принцессу своему златогривому коню, почему-то очень похожему на ослика. Конечно, я не верю в эти бабушкины сказки про то да се, тем более что папа говорит — никакого Бога нет (а уж папа-то знает!), но почему-то часто вижу во сне, как Он едет на этом ослике. Именно на ослике, именно! — уши как у Конька-Горбунка, мне это видно так ясно, так ярко, только я стою во сне против света восхода, и тогда мне не видно его лица, а только силуэт, очерченный мелом солнца; или иду за ним следом, и тогда мне тоже Его не видно...

— Неделька всего, Саша, до Воскресения... — что мне в этом слышится, через столько лет... надежда?

«Господи, сохрани...» — крестит спину.

Веточка вербы в правом кухонном углу, за иконкой Спасителя. Бабушкин салат из крупно порезанных яиц, свежего огурца и зеленого лука, со сметаной и солью (фасовщицей работала она в овощном, вот кем); каждый месяц мне на сберегательную книжку и в воскресенье, тайком от мамы, по три рубля, а деньги все сгорели потом на книжке, в очередную денежную реформу. Ах, бабушка, бабушка моя...

Котлеты, борщ, пюре, компот из банки, вишневый (дефицит страшный, все дефицитом тогда было), сама бабушка не ест — Четырехдесятница, Великий пост...

Пасха! Пасха на первое мая. Как все перемешано, как странно. Первомайская демонстрация, «мир, труд, май» с огромными бумажными гвоздиками, транспарантами, леденцами на палочке у станции «Баррикадная», гроздь гелиевых разноцветных шариков в синем небе и длинная очередь, что медленно тянется вдоль стены Воскресенского, катит колесики больших сумок, и из них вербные веточки торчат, бумажные



гвоздики, только поменьше тех, что с парада. Длинные столы под небом, куличи, круги разноцветных яичек в корзинках. Дары, накрытые в дождь полиэтиленовой пленкой.

Чистый четверг это или генеральная уборка?.. Мама мыла раму, папа вытряхивал пылесос. Бабушка приезжает по воскресеньям в троллейбусе № 61, и первым просыпается от ее шагов Пуська.

— Саша! Бабушка приехала, открывай...

И первой бабушку встречать выплывает из большой комнаты зеленоглазая Пуська, а с ней рядом цокает когтями о паркет Яшка, огромной души пес, с треугольными ушами и кисточками на них, и я, не удивляясь им во сне, слышу это «цок-цок» за дверью и бабушкины шаги. Такие шаги можно услышать за беседкой, на поляне, между двумя яблонями, коричной и антоновкой, когда листья черноплодки растирают солнечный свет ладонями, а солнце проливается на траву, когда пчелы замирают в невесомости небесной над белыми бутонами шиповника и синими головками ирисов, а дикий виноград ползет, потрескивая сухими досками, на крышу веранды, на которой лежит раскаленный рубероид.

Там, где бабушка звонит в дверь, навстречу ей выходит девочка в синем свитере, стриженная под горшок, с желтым зайцем в руках.

И все звонит, звонит дверной звонок... Первомайские гости: дядя Володя, тетя Аня, тетя Лена, тетя Галя, дядя Алик, Анечка... И дети гостей болтают без умолку, перекрикивая друг друга, играют на моем ковре в мои кубики, а я уже большая, я учусь в первом классе, в отличие от них, в отличие от всех, и мужские голоса переплетаются с женскими, впитываются в старые обои большой комнаты, пылью оседают на полки стенки, и темное дерево горит, греется в солнечных лучах, стенка раскачивается и почему-то принимается таять в звуках, где мама со звоном ставит тарелки на белую скатерть в большой комнате, а занавеска открывает небо. Там, в нем, на крыше моей школы сидит множество голубей, а под окнами фырчит, выплевывая дым, красный запорожец соседа.

— Да сколько же можно... в конце-то концов! — раздраженно говорит мама и захлопывает балконную дверь, но папа тут же открывает, выходит покурить, стоит нарядный в отглаженном мамой костюме, при галстукке, с черной капитанской бородой, дымит «Беломором». Капитан огромного корабля детства на мостике старого балкона с видом на сиреневый залив старого сада.

И облачка плывут, плывут, плывут по сну, над рекой, потрескивают камыши, и даже с закрытыми глазами видно, как рыбы летают, кружат, ныряют и взлетают назад в небо, держа в зажатых ртах трепещущих бабочек, рассыпающих золотую пыльцу. Где-то далеко-далеко позади на сумрачной улице идет снег, а тут, если глаза зажмурить и прислонить ухо к земле, слышно, как в морской раковине, в глубине польской стенки, которую открывать нельзя, шумит море.

И мне хорошо, хорошо, так хорошо мне... И из картонных коробок на балконе медленно выползает рассада, крадется по стене, катится зеленой волной к ступеням школы и отползает, оставив на ватерлинии че-

решневый снег. Пылятся солнцем стопки газет (макулатура), а в глубине школьного двора сухо стучит о стенку мяч; девочки прыгают в «резиночку», музыка выплывает из распахнутых окон кабинета музыки, а гости отодвигают стулья, чтобы выйти во двор посмотреть на папину новую «ладу»...

— Бабушка приехала, Саша, открывай!

И я вздрагиваю, открывая глаза от звука дверного звонка, и первые секунды ничего не вижу в клубящемся дыму, он застилает глаза, забивает нос.

«Это так папа накурил?» — мелькает бестолковая мысль, и сквозь дым с ужасом смотрю, как по занавескам быстро вверх ползут огненные язычки, а на полу под упавшей лампадой сидит, жмуря глаза, кошка Пуська... Нет, это Даша.

А в маленькой комнате за стенкой все кричит ребенок... чей это ребенок? Чей? Но голова наполнена дымом. И еще один звонок в дверь. Так бабушка звонила — «раз... раз-два-три»... и, очухавшись наконец, бросаюсь к окну, распахиваю, сдергивая горящую занавеску на пол, топчу, как ядовитую змею, ногами, выливаю чайник и бегу в комнату, хватаю на руки надрывающегося зареванного сына, прижав к себе, не спрашивая распахиваю дверь.

Там никого нет.

И я, снимая со стены иконку, чтобы протереть от копоти, роняю на пол веточку засохшей вербы с зацветающей шишечкой.

Мыедемнаморе

Вы знаете этот рецепт? Что подкладывает детство в брикет вишневого киселя на полке заброшенного в пустыню дачного магазина? Что за свет качается внутри оранжевого автобуса, когда ты поднимаешься по его ступенькам назад, к билетной катушке счастья? Что за таинственное «Спортлото»?

Кто в такое поверит?.. В трилистник сирени, в ржавый гвоздь под ногами, в «чертов палец», навозную кучу, четырехлистный клевер и разбитую голубую чашку? Гайдар? Где ты, моя судьба барабанщика — отбарабанила и сдалась? Не разгаданная никогда «Военная тайна» в зеленой обложке третьего тома справа на полке... Графские развалины двухэтажного дома на горе. На горе... «Горячий камень»? «Четвертый блиндаж»?

«Ты помнишь?» — спрашивает кто-то недостижимый во мне.

Помню.

«Дым в лесу».

Помню «Флаги на башнях», помню Каверина: без «Двух капитанов» где она, моя жизнь?

«Тома Соьера» с Финном, «Бронзовую птицу» с гравировкой «Беларусьфильм» на черно-белом экране «Юность», «Приключения Кроша» и «Последнее лето детства». «Корттик», переходящий в тяжелый песок, белый потолок, в Саню моего, в «самый большой дом на Арбате, между Никольским и Денежным». В Варю — меня.



Так что там с детством? Как оно там поживает? Как жарит гренки? Почему так вкусно хрустит обертками «Мишек на Севере», почему жареные сыроежки у него вкуснее? Что, разве сковородка не та же самая? Да та же самая чугунная сковородка!

Что оно подкладывает в крыжовниковое варенье? Чем наполняет шеренгу банок смородинового желе на подоконнике горницы? Каким цветом? Каким запахом? Каким звуком? Запахом дождя другого? Какого такого *другого* дождя?!

В тот дальний поезд «Туда-куда» садится?

Чем разжигает оно печку, в угли костра какую синюю проволоку подкладывает, чтобы изумрудным заплясали язычки?

В дымную мякоть разломанной кусающимися пальцами печеной картошки — только посоли из спичечного коробка и передай другому.

Рецепт ветра с реки, летающих рыб, плавающих птиц, шуршание обертки, пузырьки лимонада, синий сифон, маму и папу единым светлым целым неделимым «Приехали!».

Парус занавески с синими львами, лето на горе, верстак, хруст досок старого чердака, сладкую вату, два чемодана лета под бабушкиной кроватью? Что же, что же такое? Что?!

Что за тайны тайн оно прячет в поезде, пролетающем с протяжным «у-у-у» мимо станции Химки, когда ты стоишь, удерживаемая рукой папы, у палатки «Мороженое», а платье твое и тебя уносит ветер «Туда-куда», и счастье в стаканчике вафельном начинает плавиться сразу, пока мы с папой его еще не купили.

— Куда он? — спрашиваю я.

— Скорый, на море.

«Скорыйна море...» — заворженно повторяю я. А очередь до окошка огромная, длинная, за всю жизнь не отстоять такую, не перестоять. И в полдень у окошка на станции Химки с мороженым кто-нибудь очень длинный стоит впереди.

И снова мимо пролетает поезд. Дальнего следования. Дальнего... дальнего... Не то что тут! Не то что я...

— А этот? — опять спрашиваю я.

— Скорый, на север... — отвечает папа.

«Скорыйна север...» — складываются слова.

— Я тоже хочу...

— На север?

Да, киваю, на море.

— Скоро едем! — обещает невозможное папа. — Какое будешь?

«Я мороженое не хочу», — говорит кто-то во мне, тот, обиженный, тот, которого никогда никуда не берут, а все только обещают просто так, лишь бы что, а сами едут на север, на море, а я... Я остаюсь.

— Я мороженое не хочу! — твердо повторяю я и выдергиваю руку из папиной, сразу потеряв весь свой сверкающий слезами полуденный мир станции Химки, и (назло маме отморожу себе уши) срываюсь и лечу, ноги несут сами туда, туда, к пропасти над рельсами...

Дура, дура...

А вот впрыгнуть на лету хочу в следующий «скорыйна море», «скорыйна север», в эти ветром назад занавески. А он уже и сам летит мне навстречу, ближе, со стремительным, протяжным «у-у-у», и... останавливается. Электричка.

А сзади меня уже подхватывает в небо папа, и остается только сандалиями болтать. «Сандалиямиболтать» — как майский жук, перевернутый вверх дном на траве.

— Мы поедem, Саша.

— У-у-у!

— Поедем.

— У-у-у...

— Поедем, обещаю.

— Правда?

— Правда.

Двадцать второе июня

— Бабушка, война!

— Не приведи господи, приснилось тебе, спи, Сашенька...

Война... война под закрытыми глазами. Зажмуренными.

— Господи помилуй... — шепчет под образами в левом углу горницы, крестит образа, на колени встает.

Стыдно. Нет Бога, нет...

— Нет Бога, ба!

— Есть, спи, Сашенька...

Ранним утром бабушка выходит на крыльцо проверить, как там. Проплывает мимо окна, позвякивая ведром. *Причепывая*. Открывает калитку, смотрит в небо, козырьком на косынку руку — не летят ли фашисты. И вдруг врывается в сон мой сухой скрип гусениц по пшеничному полю, тупые морды «тигров» ломают траву...

— Танки... — замороженно говорит Анька.

Сердце сжимается.

— Трактора...

— А как настоящие!

И крепко Анькина рука сжимает мою, и мы замираем на краю опушки, только что вышедшие из изрытого окопами, бомбардировщиками немецкими изрытого дальнего леса, со своими корзинками.

Звенят облачка мошкарья над высокой травой. Волосы ветром назад. Жара...

Стоим.

Досюда они дошли, фашисты. Тут их остановили. На коре деревьев следы пуль. Пули в костре... взрыв — и бежать. Сначала бежать, дурехи, а потом уже взрыв. И обе наказанные ревмя ревом по разным углам своих горниц.

Грохочут в поле железные машины, высыпают по желобам зерно, собирают траву в стога. А мы несем с Анькой с канала страшную находку — пробитую пулей каску.

— Бабушка, посмотри...

— Господи помилуй!... — ахает бабушка.

И хороним каску на самом высоком холме, над каналом. Дядя Лёва выковал медный крест.

— Вечная память...

— Земля ему пухом...

— Кому... кому... — стрекочут кузнечики в иволговом скосе.

Роса в траве. Шепот в ивах. Поля, поля, до горизонта самого. Небо...

Господи... Боже мой, красота-то тут у Тебя какая...

— Бабушка, не будет войны?

— Кто же ее знает, проклятую. Не дай бог.

И лапы Яшкины за бабушкой — цок-цок, и место, где он лежал, еще теплое, примятое. Но уже можно ногами пошевелить. Как хочешь под одеялом свернуться — и спать, спать... Лето.

— А сегодня война, ба?

— Сегодня, Саша.

И весь день дом наполнен солнечным светом, позвякивает, побрякивает, поет, стучит, смотрит на тропинку веселым синим глазом, ждет гостей. Не ждет войны.

— Лев! — несется в распахнутую форточку, это Зильбра вышла на охоту за Львом.

— Лев! Назад! Назад, кому сказала! Старый дурень! Ногу промочишь.

Это у него там, где правая нога, ничего, штанина подшитая.

— Сухо же, Женечка.

— Сухо на печи грызть калачи. Домой, говорю!

Прошли бок о бок всю войну.

— Цок-цок, — бежит домой вместо Льва Яшка. Да и Лев тоже.

Куда ему против Зильбры.

— Носит до беды дурака... — несется вслед.

— Дед Лёва, ты воевал?

— Воевал...

— Расскажи!

А он плакать сразу начинает. Как маленький.

— Добреньким и тебя, Женечка.

— Доброго дня, Томочка...

— Ба!

— Что, Сашенька?

— Сегодня война?

— Сегодня, Саша.

Выкатывается на ступени Анькиной террасы кресло бабушки Розы.

Слышно, как Анька поет, заплетая косы.

— Война, война... а молодость пропала... — веселый звонкий голосок взмывает вверх.

И весь день бабушка что-то чистит, режет, парит, шпарит, жарит; в беседке накрываем стол длинной скатертью, звякают тарелки. Глубокою над синей.

А мы летим над полем, над полем мы летим, босоногие истребители, раскинув руки. Наши самолеты — Анька, Мишка, я; и Яшка — самолет.

— Огонь!

— Прыгай, Саша! Горишь! — И, резко снижаясь к полю, переворачиваем землю, скидывая на ходу одежды, оттолкнувшись от неба-мостики пятками, катапультируемся в пруд, разбрасывая миллионы солнечных брызг. Оглушая кузнечиков оглушительным «ура!».

— Как война наступила, ба?

— Да так... Наступила. По радио объявили, — все, что рассказывает бабушка о ней, о войне; снимает с левого угла иконки, протирает, ставит в рядок.

— Это Лёничка... Это Маечка... Дядя Володя... Алёшенька...

Лампадку зажигает.

И лица выцветших фотографий оживают.

Лёничка — сгорел в танке. Володя — пропал без вести. Маечка от голода умерла.

А это она, Зильбра, верь не верь — смеющаяся с фотографии девушка, с ветром в волосах, в военной форме, в пилотке со звездой.

— А это я... — указывает дед Лёва, и глаза его сразу слезами блещут, и палец дрожит.

Недоверчиво поднимая на них глаза, вдруг узнаю те же улыбки.

— На траву легла роса густая... — тихим голосом поет Лев, а я подпеваю комарьим, тонюсеньким.

И мы хором, окрепшими голосами, я и Лёва:

— Перешли границу у реки...

— Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой...

Память, память...

Воевали они у Ладожского, расширяли полосу. Потом там будут прогонять поезда в блокадный Ленинград. Там и ногу оторвало. А тут на фотографии красивый Лев, молодой. Черноглазый. Цыган, да и только. Чудеса.

— Закурил, думал, никто не заметит, — усмехается дядя Петя, сосед, — и снял сразу снайпер. — Рассказывает, а сам выбивает из пачки «Беломора» сигаретину, чиркает спичкой.

— А курить так и не бросил... — вздыхает бабушка.

Помню деда смутно, как сон. Он умер, когда мне было года четыре.

Морская пехота, штрафники. Ушел тихо, во сне. Стерла память. Ничего не знаю. Огромный был человек. Улыбчивый. Бабушку очень любил.

А тут, тут у нас перепаживали лес немецкие бомбардировщики. Вот та часть Химкинского водохранилища, где прорвались они. Тут до Крем-

ля — километров тридцать. Взорвали Лобню — десять километров до Москвы. Почти у ворот стояли. Оба рубежа на подступах прорвали, вышли к нашим Химкам. Восемь километров от столицы.

А в фильме «Битва за Москву» один командир предлагает отвести войска за канал Москва — Волга, возвести оборонные укрепления с той стороны, с нашей стороны. Это тут, это тут, это здесь. Ленинградское шоссе. Левобережная. У самого порога. Тут прорвались.

Посмотри, какое небо сегодня голубое. Зеленая трава, колокольчики мои, цветики лесные. Тишина кузнечная.

— Не летят фашисты, ба?

— Не летят, Саша.

Отчего я думала, что Розу назвали Розой, потому что у них в саду много роз? Что за чухь такая... И разве похожа на розу эта иссушенная старуха, всегда строгая, с губами, вытянутыми на лице морщащейся полоской, слова не проронит.

А вот баба Роза плачет на коленях у бабушки:

— Не могу, Томочка, не могу... — Вытягивает жалобное: — Строожко, Томочка... тут тянет...

— В Господа ты не веришь, Розочка, вот и строожко...

— Не верю, Томочка, не могу...

— А ты поверь, поверь... — И бабушка, приподнимая сморщенное желтое ее лицо, утирает слезы уголком платка, крестит седые волосы.

— А ты воевала, ба?

— Какой там...

— А что ты делала?

Все воевали, а бабушка нет. Стыдно!

— А мы на заводе... Зажигалки еще на крышах тушили...

Вот и все о войне.

И во сне летят из неба на крыши домов неведомые зажигалки, взрываются облака.

Раскинув руки, лежит в поле мальчик с мертвыми глазами. Мальчик из учебника ШБ. Его убили. Пасутся в поле живые коровы, а мальчик этот мертвый навсегда.

«Фашист пролетел...»

А бабушка гладит седые волосы Розы и тоже плачет:

— Розочка ты моя, бедная...

Горит огонек лампадки.

Вечный огонь Дахау в тусклых Розиных глазах. В пепел ее волосы превратил печной дым человеческих труб.

Свинцовая тишина наступает на веранде.

Замирают кузнечики в траве, не звенят москитные облачка над флоксами.

Вечная память.

Цветные сны

Есть женщины, которые остаются навсегда, даже когда уходят. Даже когда уходят навсегда. Обернувшись у лифта, они говорят «до вечера», они говорят «пока».

Они беспечно, безжалостно оставляют в комнатах запах своих духов, свои закладки в ваших книгах, они забывают в вашей жизни зимние шарфы, перчатки, шаги, губную помаду, что всякий раз перекатывается, ударяясь о стенку ящика, когда вы открываете комод... Вы открываете комод. Вы ищете их. Ищете их в других. И не находите. Это смешно. Смешно. И слышите их смех в большой комнате, полной умерших друзей, слышите их голоса там, где занавеска влетает в распахнутую балконную дверь, а они звякают тарелками, приподнимаясь на цыпочки, достают из зазеркалья старого буфета польский хрусталь.

Их не меняет время. С присутствием их не в силах совладать ни разум, ни безумье. Старость для них — пустой звук. Соприкосновение бокалов. Дзынь! Пузырьки «Абрау-Дюрсо». Вот что для них старость. Для них ее нет.

Седина не вплетается паутиной в завитки их волос, раскиданных лучами утреннего солнца по вашей подушке, глаза их не тускнеют, а кожа не превращается в дряблую ветошь.

— Я хочу умереть молодой, — говорила она.

На той квартире они включают душ в ванной комнате не запирая дверей, и можно войти и запросто прижаться губами к ручейкам, стекающим по их спинам. Из их сомкнутых ладоней можно напиться родниковой воды на самом дне лесного колодца, а губами поймать их смех.

После них никогда и ничего не будет. Просто нужно будет дожидаться встречи, что они обещали, обернувшись у двери лифта, на той квартире, где остался их смех.

Пусть это будет так...

Старый отель в глубине соснового парка, по длинным коридорам пролетает эхо шагов, прячется в лестничных пролетах, хлопает дверьми, точно невидимый кто-то бродит. Душа отеля — музыка южных ветров и раскаленных крыш, стен с лопнувшими пузырями краски и пыльными розами. Огромные муравейники, полные неведомой жизни. Ночной топот ежиков. И пятна фонарей, гудящие тенями огромных москитов.

Утром оживает перед огромной столовой колокол громкоговорителя, а днем солнце покойно лежит на мягком сосновом ковре, стекает янтарем по стволам и бронзовые платаны шепчутся, а по вечерам в окнах, обращенных к морю, загорается закат.

День был чудесный и долгий. После завтрака, зная, что встретит ее, он опять вышел на набережную, спустился к морю и долго стоял на берегу, закинув сандалии на плечи, поджидая.

Она шла по набережной, едва видная, растворившаяся в полуденном зное. Он пошел за ней, зная, что так и не решится окликнуть. И когда



она пропала в рыночной толпе, вздохнув, побрел по ступеням в городской парк и ждал ее там на скамейке. Но она не пришла.

Заказав бокал вина, присел за столик кафе и опять увидел ее. Они вошли шумной гурьбой и, отодвинув стулья, расселись так близко, что он снова уловил запах ее волос. Он встал, положив деньги в книжечку меню, и вышел быстро, не оглядываясь.

От ее волос так пахло тогда, сто тысяч лет назад, когда она сказала «пока» и забыла в его жизни свой зонтик. Забыла навсегда. Потому что больше не вернулась.

Он снова спустился к воде и долго шагал без всякой цели, ступая по мягкому плесу, оставляя цепочку тающих следов, иногда нагибаясь, выискивая ракушки, гладкие камушки, бутылочные стеклышки, волнами превращенные в изумруды. Море тихо вздыхало, хрупкие косточки чаек вдруг захрустели у него под ногами, он с неприязнью поморщился от этого странного шороха и оглянулся.

Он шел уже очень долго, потому что башня маяка давно скрылась за поворотом потемневшего моря. Скалы здесь подступали так близко к воде, что не оставляли даже корочки суши, по которой можно было бы идти дальше. Идти дальше, а после — вернуться. Но возвращаться он не собирался.

Вздрыгнул. Показалось, что замершее за спиной море незаметно выползает на берег. Поднимается прилив? Во всяком случае, дорожка следов за ним была уже стерта. Чтобы проверить, он палкой прочертил полосу в песке и отступил, выжидая.

Море замерло. Притаилось.

Он ухмыльнулся. Аккуратно расправив, сложил вещи у подножия скалы, прижал камнем и вошел в воду.

Каменистое дно, облепленное раковинами и водорослями, равнодушно приняло его, теперь он то плыл, то шел по пояс в воде.

Цепь скал впереди, вероятно, кончалась бухтой, зрительно обрываясь натянутой между небом и водой едва различимой леской горизонта, та чуть подрагивала, вибрируя. Воздух звенел цикадами.

Вдруг в ноздри ударил сладковатый запах гниения, неприятный еще более оттого, что был смешан с ароматом лимонной мирабели, вцепившейся птичьими лапами-корнями в отвесную стену над ним. Он отвлекся на это паучье дерево, нарядившееся в желтые ягоды, и ноги внезапно потеряли опору. Не успев хлебнуть воздуха, в каком-то странном оцепенении он ухнул в кисельную синеву, пронизанную паутиной солнца, уйдя с головой, запутавшись в безвоздушном изумрудном пространстве, бесильно опускаясь в ледяную яму. И вдруг очнулся, забарахтался, с ужасом выталкивая себя из ворожащего сна.

Море забило, зашипело вокруг, плеснуло в глаза солнцем, ударило небом и, наконец, отступилось, опять притворяясь спящим.

Шатаясь, он вышел на берег и, сделав пару шагов, на негнущихся ногах опустил на обжигающий песчаный снег.

Бухта была безлюдна. Ветер тихо гладил выжженные клочья травы на пологих холмах.

Он закрыл глаза и лег, согреваясь, раскинув руки, поджариваясь, как рыба, на раскаленной сковороде полуденного солнца. Ужас медленно отпускал, отступал, согреваясь на горячих камнях. Баюкал сам себя, таял. Пел натянутой леской моря.

Тени впитались в песок. Корни деревьев, пустившие побеги в бесплодный песчаник, торчали из него когтями, и когти их застревали в желе полуденного жара. Кустарники, спутанные, похожие на застывшие верблюжьи колючки, извилистые тропинки, проваливающиеся в обломки скал, и тишина. Море умолкло. Волны больше не выползали на берег, не шептали иглой старой пластинки, застрявшей в солнечном диске винила. Великая тишина безлюдья. Вечности. Время тихо осыпалось струйками песочных часов, синими ручейками стекало со скального плавника.

Кто-то шел там, в высоте, под небом, вниз, по серпантину выжженной солнцем тропинки. Кто-то спускался в бухту.

Он открыл глаза. Вершины, облепленные чайками, обрыв синего над ними. Никого.

Тишина.

И снова едва слышные легкие шаги. Ближе, ближе, сквозь треск слюдяных крыльев огромных стрекоз.

Он прикрыл глаза.

Она подошла. Молча присела рядом.

Запах духов, ветер в волосах, укол памяти в сердце. И ослепительный свет.

У подножия скалы лежали сложенные им вещи. Сандалии, связанные ремнями, прижатые камнем.

Море тихо качало парус на горизонте.

В старом отеле в глубине соснового парка загорались огни заката.

Два чемодана памяти

Он забыл ключи в вазочке на буфете, поэтому, когда вернется, он позвонит: «Раз-раз, два-два!»

Она ждала.

В годы, когда дети постарели, а их внуки разъехались, она все равно собирала гостей на майские, обзванивая по старенькой записной книжке алфавит опустевших квартир, расставляя галочки напротив давно не существующих номеров. За неделю до праздников заводилась с готовкой, с осени откладывая деликатесы, с каждой пенсии пополняя запасы консервных банок на черный день, совершенно забыв о том, что он уже наступил и минул.

Сервелат потел на нижней полочке холодильника, и его янтарная чешуя покрывалась плесенью.

Дети разъезжались в дальние дороги.

Когда все сумки были собраны, а чемоданы и рюкзаки стояли в прихожей, провожая их, она говорила:

— Присядем, — и едва слышно добавляла: — На минуточку...



И тени отъезжающих присаживались на длинный полосатый диван гостиной, а минута затягивалась в бесконечность. Трогались вагоны, взлетали самолеты, красивые машины отчаливали от сонного парапета старого кирпичного двора.

Но он забыл ключи в вазочке на буфете, поэтому, когда вернется, он позвонит: «Раз-раз, два-два!»

Она ждала.

За давностью лет простились обиды, большие слова потухли, изгасли, и даже вороша, перебирая их, тормоша, она не находила в сменявшихся слайдах прежних мучительных разниц, с нежностью вдыхая непоправимую нежность.

И раз он, растяпа, забыл ключи в вазочке на буфете, то, когда вернется, он позвонит: «Раз-раз, два-два!»

Она ждала.

С какой минуты жизнь превратилась в это странное ожидание, она не помнила и не могла сказать. И некому было.

Время скакало. В древней квартире на Паршина, когда-то полной голосов, летних и зимних шорохов, вдруг поворачивался ключ и заходила мама. Оставив на кухне большие сумки, засучив рукава, принималась за уборку: мыла, терла, стирала, вешала, гладила, стучала кухонными ящиками, скворчала, распахивая настежь окна, впускала в темные коридоры и пыльные комнаты огромный шумный город, полный электрических зданий и автомобильных рек, что временными кольцами опоясывали ее крошечный, забытый в вечности двор. Новые лета влетали в распахнутую форточку парашютами одуванчиков, и те плавно качались в солнечных лучах, оседая на старый дубовый паркет, смешиваясь с тополиным пухом. Белая взвесь стелилась сквозняковым языком, забываясь в паркетные щели, просачивалась сквозь дверцы кухонного серванта, сворачивалась в кресле.

— Нина Алексанна, я закончила! — почему-то говорила мама, называя на «вы», снимая с рук резиновые перчатки и опуская на край ведра. — До понедельника!

— Посидите, деточка! — почему-то отвечала маме Нина Санна, но мама торопилась.

— Нет-нет, до понедельника, до понедельника, дорогая, — говорила она.

Мир то вспыхивал, то мерцал, то закуривал, забывая в хрустальной пепельнице Алёшину сигарету, осыпался тлеющим столбиком на пол, гас, и в угасающем мире она сердилась, что курит он так, от нее втихаря, как маленький.

Но он забыл ключи в вазочке на буфете, поэтому, когда вернется, он позвонит: «Раз-раз, два-два!»

Она ждала.

Буфетный фарфор покрывался железной пылью, горела лампадка, черный круг копоти слизывал угол потолка, стеклянные пионы чайных

сервизов разбивались о время. О время разбивалось все. Время скатывало со стен старые обои, стекало ржавчиной в уборный бак.

Казалось, еще недавно Алёшенька сидел на веранде дачного дома, хохоча и выдумывая разности, отбивая барабанную дробь голых пяток по доскам, а вот уже и ни веранды, ни смеха, а только все ставни заколочены и в доме без окон бродит сырая, осенняя пустынь.

Но раз он забыл ключи в вазочке на буфете, то, когда вернется, он позвонит: «Раз-раз, два-два!»

Иногда она вспоминала, что следует протереть подвески хрустальной люстры в нижнем ящике шкафа, но, открывая его, находила в нем пустоту. Или же пустота находила ее на дне, и она надолго, растворенная во временных ямах, застывала, пытаясь вспомнить то, что искала, того, кого ждала, и для чего держала в руках седое вафельное полотенце.

Она ждала.

Дети рождались, женились, старели или жизнь уносила их так, глупыми, смеющимися, молодыми, от случайных напастей. Боли и беды тускнели. Стирались, как узор кухонной клеенки.

Она ждала.

Было много моли, и в банки с крупами с намертво заверченными оловянными крышками моль проникала через неведомые временные порталы, заводя свое пыльное, паутинное потомство. Моль садилась ей на лицо, на плечи, шевелилась в карманах халата, ее отражение в трельяже покрывалось паутиной, стекая в углы, трескаясь по краям, и тогда она беспокоилась тем, что, когда вернется Алёша, придется открыть ему такой вот старой старухой, и, отворачиваясь, пряталась в сумерки зеркального небытия.

Со скоростью ветра калейдоскоп времени листал страницы школьного фотоальбома. Лица сменяли лица, и только Алёшина комната оставалась неизменной. Его кровать, накрытая клетчатым пледом, письменный стол, глобус на прикроватной тумбочке, учебники, тетради, дневники, паспорт, бережно обернутый бархоточкой, военный билет.

Он забыл ключи в вазочке на буфете, поэтому, когда вернется, он позвонит: «Раз-раз, два-два!»

Она ждала.

Снег, капель, сирень, летние ливни, осенние дожди, снег...

Время сменяемо. Вечность непоправима.

То и дело в новеньких бронированных лифтах вниз и вверх проносились звуки, поднимались мимо ее квартиры многие дети.

Она ждала.

В Пасхальное воскресенье в спичечном коробке ее комнаты прилепленный было сквозняк взлетел к потолку нетерпеливым дверным звонком: «Раз-раз, два-два!»

Она подняла с пола два чемодана памяти — и вдруг почувствовав их вес, отпустила ручки и пошла открывать.

Евленья ВИНОГРАДОВА

СТРЕКОЗА В СТЕКЛЯШКЕ

* * *

Детство — ягода ирга. На заборе
я клюю... пою... и мне галка вторит.
Попоем и — помолчим: клювик чистим.
А потом опять вдвоем — звонко, чисто!

Да, спилил отец иргу из-за тени —
страсть как вредная она для растений!
И с тех пор я, словно та птица галка, —
беспризорною пою поскакалкой...

* * *

Место выбрали там, где на донник пахучий,
на репейник и дерн лист слетает крапчатый,
посидеть, полежать средь неясных созвучий
на земле, словно жизнь — только край непочатый.
Словно только вдохнул этот воздух тягучий
возле теплой стерни после ржи невысокой,
чтоб из сердца, щемящего радостью жгучей,
снова чувства большим восходили потоком.

Скосят клевер-траву — вместо скошенной тут же
отрастает нежнейшего цвета отава.
Луг в исподнем душист, словно плат, отутюжен,
и мы рады ступить на его переправу.

* * *

Отыскалось платьице с выпускного вечера —
серебрится вышивка на груди —
из кримплена белого, говорили, вечного.
Размечталась — праздники впереди!

Покупали (важно ведь!) в магазине свадебном,
ценник — месяц вкалывать — сто рублей!
Дефиле трельяжное завершилось затемно —
офигеть! — я лучшая, хоть убей!

Плотненько по талии, рукава — фонарики,
солнцем шестиклиновым юбочка кружит.
Для влюбленной платьице — кто еще подарит ей?! —
сохранила мамочка, не снесла чужим...

Вот стою под яблоней, знаю — будут яблоки,
мама-мама-мамочка, — белый твой налив —
в день Преображения (смертным тоже якобы)

...сохнет на веревочке платьице любви...

* * *

Жаль, нету коромысла на плечах!
Под старину бревенчат сруб колодца.
Иду по воду, ведрами бренча,
уверенно, — с лицом землепроходца!

Мостки ведут от самого крыльца.
Сараи дремлют, двери на замочках.
Сдуваю прядь прилипшую с лица, —
так ненасытна и бездонна бочка!

* * *

Цвет под окошечком задумчивым
привычной свежестью пылает.
Но мне его не видеть лучше бы...
Он ничегошеньки не знает...





В своем незнание непорочный, он
раскидывает чуть белесые
живые руки — ветки сочные
под опадающей березою.
Тугой бутон в заботе вычурной
вновь разжигает для свечения.
Возможно ль это чудо вычеркнуть,
когда ложится тьма вечерняя?

* * *

Послышался голос моторки
с отвыкшей от лодок реки.
Июньская ноченька зорко
девчоночкой — из-под руки —
ее проводила до устья
игривого Юга — к Двине.

Разбужена белою грустью,
стою в одиноком окне...

Вот так же, с залетной погодкой,
компанией звонкой, босой,
в смоленых залатанных лодках
укатим к реке на постой.

Наставим подольники, сети —
стерлядки дымки накоптят.
Где ночка — там три... Не заметим,
как жаркие дни пролетят.

В воде навизжимся досыта,
в песке наваляемся всласть.
И северным солнцем облиты —
как черти — готовы упасть
к родительским крепким ладоням,
потом — и в постель с простыней...

А детство... лодчонкой не тонет —
нет-нет да и к сердцу прильнет...

* * *

На замок навесной закрываю свой дом, —
скажем: домик — на ржавый замочек.
И привычно кладу ключ в привычный проем —
каждый может открыть, коль захочет.

Всякий раз навсегда ухожу по коврам
трав, листвы, снегового забвенья...
Ни синицы со мной, ни того журавля, —
из летящих — мне в спину камня...

Но когда припадаю, больная насквозь,
к дому — к домику — к горе-жилицу,
запах времени чую, что здесь пронеслось,
и... робею от слова «Всевышний»...

* * *

А помнишь, брат, катамараны
на Александровском пруду?!
Сюда нас, словно наркоманов,
тянуло сделать борозду
чуть свет по сонной ряске рваной
под клекот лопасти — чух-чух!
И вот душа уже в нирване,
и перехватывает дух...

К пруду для пышного разгула
стекалось море горожан.
Но тут — меж ив — не слышно гула,
как будто город убежал —
кадить машинами, домами,
дорогой пыльной вдоль берез.
И только брызги между нами
да радость детская до слез!
Та радость, где возможно, к маме
прижавшись, в полусне сказать:
«Тебе — куриный бог в кармане,
а мне — в стекляшке стрекоза...»



* * *

Ивняки да осины
среди белесых берез,
белена на трясине,
камыши да рогоз.
Вдоль дорог по пригоркам
разливной иван-чай.
От кострища прогоркло
одеянье плеча.
Будто вымазан сажей
грозовой небосвод.
Незабудку поглажу,
а вокруг — ни-ко-го!
Полежу меж ромашек
головой к реке.

...Проживу без промашек
этот день налегке...

* * *

Я смирилась со всем, что есть в жизни,
и смирилась со всем, чего нет.
Скоро свежую зеленью брызнет
и закружит черемухи цвет.

Но к Нему подходить мне на выстрел —
баба Нюра шептала — «ни-ни...»
Как вагонами встречного — быстро
промелькнули беспечные дни.

Бог лишь знает, в какую породу
я пошла — не в отца и не в мать.
«Всей душой да лицом к огороду
повернись и не смей рифмовать!
Что ты русские буквы мусолишь?
Доля бабья — платок до бровей.
Не продашь огурцы — купишь соли.
Станет тошно — стаканчик налей!»

Вот такие слова говорили...
И на них я не смею пенять.
Стариков моих в землю зарыли.
Слава богу — зарюют меня.

Всеволод ИВАНОВ

ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА

Р о м а н *

Глава шестая

Когда вы всматриваетесь в шпиг здания, вам, прежде всего, приходит в голову, что строители длинной стрелой этой хотели увековечить свое стремление найти или понять, в худшем случае, неуловимую бесконечность. Человечество так любит поиски! Все его легенды — о поисках, начиная от Кашеева камня и кончая камнем философским. Даже фланер, праздношатающийся ленивец, и тот ищет свою лужу, в которую мог бы поглядеться и найти нечто пленительное, не выходящее, конечно, за пределы магазинной витрины — и ценностью и красотой.

Следовательно, если вы скажете самые яркие слова, они едва ли смогут передать то наслаждение, которое вызывают поиски, охватившие человека с гибким и цветущим воображением, не желающего покоряться обстоятельствам, быть тем поплавком, что указывает — рыба клюнула. Это — поиски ученого; поэта, выбирающего эпитет; тоска и удовольствие художника, подбирающего краски; работника, ищущего новые методы работы; все то неуловимое, сокровенное, что всегда притягивало людей; и, наконец, наслаждение, свойственное нашему времени, — ибо возможностью осуществления оно принадлежит именно нашему веку! — наслаждение величайшее и возвышеннейшее: поиски того, как бы наилучше, в социальном значении, устроить жизнь человека на земле. В широкую и мощную реку этого наслаждения вливаются многие потоки, одни побольше, другие поменьше, но все они, вместе с рекой, катятся к тому житейскому морю, которое называется — нашей страной, страной будущего, страной социалистического строительства и борьбы...

В продолжение почти трех недель с того момента, как Полина встала возле станка Матвея, он сам прошел по множеству тех протоков, ручьев, расщелин и трещин, что вливаются в реку, о которой мы говорили, и которые обладают во всей силе волнениями и тревогами, составляющими волны житейского моря. Матвею изгибы эти казались то конечными, то крайне топкими, способными его погубить, то сверкали искрой, указыва-

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 7.



ющей на приближающийся пламень вдохновения, то ему чудилось, в руки его попадали лишь отдельные волокна, нити, в то время как вся пряжа бежала мимо него!

И, странно, волнения эти увеличились как раз тогда, когда им пора бы, казалось, утихнуть. К концу недели станки, обслуживаемые им, подняли свою выработку до 107 % нормы. Мало того, деталь «1-10», которую Матвей боялся, что передадут на изготовление другим, — деталь была ответственной и сложнейшей, — передали ему. Правда, пришлось пойти к начальнику цеха, сказать несколько слов в парторганизации, но, как бы то ни было, с его станка сходила эта деталь, представлявшая собою едва ли не одну пятую казенной части орудия.

Физически Матвей уходил из цеха, являлся домой к обеду, что-то говорил, шутил, но если б спросить его, чем он был занят сегодня и вчера и чем он будет занят завтра и, если б спрашивающий был человеком, который не подумает, что Матвей хвастается, Матвей ответил бы, — он думает о станке и детали. Ответ этот, конечно, ничего бы не объяснил, тем более, что происходящее вокруг завода СХМ и вокруг Проспекта Ильича хотя и улучшало доводы объяснения, но в то же время и уводило от него в сторону.

Дело в том, что если предположить, будто жители города, Проспекта и работники СХМ хотели упразднить какую-то боязнь мешавшую им трудиться, то присматриваясь и пытаясь отгадать: в чем же выражается материально эта боязнь, кого и чего эти люди боятся, — можно было б ответить, почти с совершенной точностью, что люди боятся не фашистских солдат, не фашистской артиллерии, не самолетов, не бомб, а люди боятся танков. Конечно, это не значит, что во время налетов люди щелкали семечки или рассказывали анекдоты, но именно, в силу различных причин, одну из которых позже назовет ученый Дедлов, — ярчайшим воплощением войны, символом ее разрушения, были танки.

По-моему, то, что люди города думали о танках и больше всего боялись их, указывало на огромное мужество этих людей и почти на подсознательное знание своих преимуществ, в конечном итоге всегда приносящих победу. Преимуществами этими были — традиции русской армии и русского народа. Русские армии всегда славились пехотой и артиллерией, и — побеждали всегда пехотой и артиллерией. Танк — оружие, направленное против пехоты. Танк — орудие, уничтожаемое артиллерией, поддерживаемой пехотой. Естественно, что боясь за свою пехоту, зная, что у врага, из-за внезапности нападения есть преимущества и в танках, и в артиллерии, жители города видели своего главного врага. Мало того, они даже знали, какова плотность танков в атаке. Цифры колебались от ста пятидесяти до двухсот на километр. То есть, если б танки шли в линии, то интервал между ними доходил бы до пяти метров, иначе говоря, они шли почти сплошной стеной огня. Даже допуская, что цифра двести танков на километр была преувеличенной, все же, надо признаться, что боязнь жителей города, была не мнимой боязнью, и будь это менее закаленные в боях люди, для того, чтоб стоять на ногах при таких знаниях, несомненно, потребовались бы подпорки.

Жители города не только не нуждались в подпорках, но, преодолевая свою боязнь и свои военные невзгоды, днем работали на заводах и в учреждениях, а ночью, во тьме, рыли противотанковые рвы, глубокие и широкие; вбивали надолбы; устраивали лесные завалы. Немцы, благодаря воздушным разведчикам, могли узнать расположение рвов, — и поэтому наутро рвы закрывались маскировочными сетями. Странные то были ночи! В городе ревели сирены, стучали зенитки, выли истребители, а вокруг города, в степи и по берегу реки, скрипели многоковшовые экскаваторы, глубоко уходили в грунт металлические надолбы, спиленные старые дубы скреплялись проволокой, вдоль реки выросла частокол из толстых бревен, а на Проспекте из мешков с сырым песком выросли приземистые бурые баррикады. Уже не яблочный запах стоял над городом, а пахло мокрой землей, и длинные краны осторожно опускали на баррикады деревянные клетки, где находились бетонные тетраэдры, эти массивнейшие треугольные двери, которые надо сбрасывать в проходы, когда к баррикадам вплотную подойдут танки.

И все, — школьники, женщины и старики, — все, кто мог держать лопату или управлять машиной, и во время работы и во время короткого отдыха, все думали и гадали: где же стоят танки? Что, пойдут они лобовой атакой на город? Или же, как часто поступают немцы, танки попробуют прорвать линию обороны где-то с фланга? Весь город знал, что командующий участком фронта генерал Микола Горбыч очень опытный военный. Город доверял ему. Поэтому эвакуировались неохотно. Генерал Горбыч, несмотря на свои преклонные лета, — ему едва ли было не за шестьдесят, — отличался поразительной подвижностью, и к этой подвижности приучил свой военный округ, еще давно, когда не было создано армий и фронта. Подвижность эта была прямо противоположна его сонному виду, его страсти ловить рыбу, раскладывать пасьянс и часто, ни к селу, ни к городу, неутолимому желанию читать стихи. Дороги его участка находились в превосходном состоянии. Тысячи крестьян дежурили вдоль них, исправляя погрешности движения или бомбежки. Взгляд его был зорок. Артиллерия, — хотя он и жаловался на ее недостаток, — была уничтожающе и как раз появляясь там, где в ней нуждались.

Но, как часто бывает на войне, превосходные качества командующего фронтом, будучи полезными для фронта, превращаются в горе для ближайшего тыла. Упорное сопротивление вызывает такое же упорное нападение. Обозленный враг кидается как раз на те участки, где больше всего можно истребить живой силы противника. И, чаще всего, не имея возможности истребить армию, враг истребляет мирное население. Вот почему жители города имели все основания думать, что полковник фон Паупель, командующий немецкими танками, оперирующими вдоль фронта генерала Горбыча, попытается взять город лобовой атакой. К перечисленным выше качествам, свойственным всем врагам, полковник фон Паупель был честолюбив, влиятелен в штабе, ведающем операциями, безжалостен и абсолютно был убежден, что чем больше будет истреблено славян, тем это лучше для немецкого народа и его фюрера. Просто-напросто, как это ни удивительно писать в век, прославленный гуманизмом

и добротой, полковнику фон Паупелю, ведущему за собой почти тысячу танков и несколько десятков тысяч солдат, учившихся в школах и даже университетах, хотелось сжечь и ограбить большой город, который не сделал ничего плохого ни самому полковнику фон Паупелю, ни его солдатам, ни германскому народу.

Глава седьмая

Жители города знали, что их ждет, если они усилят сопротивление. Равно как знали они то, что брось они город или подними они руки, а того верней, предай бы они армию и генерала Горбыча, им бы, может быть, удалось вымолить жизнь, если не каждому, то некоторым. Мысли, кажется, естественные для каждой войны? Но — таких мыслей не было у жителей города, а, наоборот, с рьяностью и горячностью удивительной, они воздвигали укрепления, вбивали надолбы, в свободные минуты учились бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесью, ибо никто не скрывал, что враг имеет превосходство в танках.

Вот почему мне кажется, что мысли Матвея, будучи в одно и то же время естественными, все же требовали пояснения и как бы их расширения. Завод СХМ работал напряженнейше, неустанно. Смены спутались. Один работал три смены, другой не выходил на работу, потому что специальность вдруг потребовалась где-то у моста или в противотанковом рву, а иной просто жил на заводе. Дни стояли жаркие, сухие, в бараках, отведенных для казарм, было душно, и люди спали вдоль белых стен, на траве, часто прямо под солнцем, так уставши, что не находили сил перейти в тень.

Вдохновение охватило завод! Едва ли какое другое слово могло передать те многочисленные рационализаторские предложения рабочих, сокращающие и время, и металл, предложения, которые, будто огоньки, вспыхивали то в этом цеху, то в другом. Конструктора не отставали. Чувствовалось во всей атмосфере завода, что не сегодня-завтра среди рабочих и конструкторов произойдет нечто такое, что шага на два, на пять, а то и на километр опередит все, самые остроумные выдумки современной техники.

И, вот, Матвей больше всего боялся отстать от этой выдумки! Чувствуя внутри себя биение какой-то огромной приближающейся мысли, он пользовался каждой освобождающейся минутой, чтобы присмотреться к лицам рационализаторов, понять их, взять от них огонька, как берут в поле на разжег угли из другого костра. Лицо у него было такое испытующее, такое мучающееся и, в то же время, такое горящее, что рабочие и подсмеивались над ним, и ждали от него чего-то необыкновенного.

Когда он приближался к группе рабочих, обычно собирающихся вокруг товарища, сделавшего какое-нибудь предложение, кто-нибудь говорил с легкой усмешкой:

— Полковник идет...

— Такими полковниками от Донбасса до Москвы дорога вымощена, — шутил обычный насмешник кружка. — Был полковник, а стал полковник.

Но стоило подойти Матвеем и стоило увидеть его глубоко запавшие глаза под выцветшими бровями, мокрые волосы, всегда гладко зачесанные, и весь его ищущий и жадный облик, шутки смолкали и все старались как-нибудь ободрить его, <вы> сказать ласковое слово, а, главное, — надежду на его скорую выдумку.

— Что такое выдумка? — думал Матвей. — Откуда, с какой стороны она приходит? Вот, возьмешь мастера Артемьева. Так себе человек! Никаких особых данных. Всегда считался посредственностью, очень исполнительный, правда, — но, ведь посредственность. Имя его никогда не стояло в заводской многотиражке, — ни в ругательном порядке, ни в похвальном. И однажды мастер Артемьев, тяжелый, неповоротливый мужчина, больше всего, казалось бы, любивший копаться в огороде, получил в цех, для производства детали «К-3» большую поковку. Сразу же выяснилось, что неудобство поковки заключалось в том, что при отделке детали пришлось бы стачивать до 60 % металла, заключающегося в ней. В тот же день, мастер Артемьев предложил не ковать деталь, а штамповать ее. Все шестьдесят процентов металла, который было исчез, оказались сбереженными! Вот тебе и мастер Артемьев, вот тебе и копанье в огороде.

Зависть была мало свойственна Матвеем. Но, глядя в мясистое и веснушчатое лицо Артемьева, когда имя его с похвалой произносилось на какой-нибудь «летучке», обсуждающей предстоящие задачи цеха на день, Матвей чувствовал, что зависть жжет его сердце. Правда, всем не позавидуешь! Так же, как валялись могучие дубы вдоль реки, в таком же количестве вставали могучие люди здесь, возле станков! Думалось, что самые маленькие, самые ничтожные, никудашные, и те растут с такой силой, что ошеломляешься, глядя на них.

Возьмем Полину Смирнову, ту самую девицу, которую, поддавшись минутному взрыву человеколюбия, привел в свой дом Матвей. Уж про нее-то Матвей никак не предполагал, что она махнет так быстро и высоко и с такой легкостью выйдет в люди. Правда, и начальник цеха, очень знающий инженер Усольцев, и технологи, и мастера, все, занимающиеся днем работой в цеху, вечером, за картами, теоретически и практически учили новых, пришедших на завод людей, познавать свое ремесло, любить машину, ухаживать за механизмами. И, как приятно было посмотреть на Полину, когда над ее станком показался красный флажок, — знак, что она сделала две нормы!

Чистое лицо ее с большими голубыми глазами сияло от радости. Потупившись, она смущенно смотрела в пол, когда Матвей подошел к ней поздравить ее. Вела она себя превосходно. И, глядя на нее, Матвей думал, — что ее заставило пойти на улицу, какие такие обстоятельства? По всему видно, женщина она с характером, волевая, образованная.

— Не робей, Полина, — сказал Матвей, — дело выйдет!

Полина не робела, — работа за станком оказалась не такой уж трудной и изнурительной, как она предполагала; да и наука давалась ей сравнительно легко. Она робела от другого. Ей было крайне неприятно жить у Матвея. Одна из работниц предложила ей полкомнаты в том же доме, где жил Матвей. Полина хотела перейти к работнице, но боялась обидеть



Матвея. Надо было доказать Матвею, — как он воображал, — что она совершенно «исправилась» и «пришла в себя». А для этого надо просто время. Время же было против нее и, главным образом, потому, что Мотя ненавидела Полину, и та опасалась, что не сможет сдержать себя и наговорит невесть что, а, может быть, даже и сделает невесть что, как раз подходящее для той профессии, которой, как думал Матвей, она занималась...

Никогда раньше Полина не предполагала, что ненависть такое гнетущее и отвратительное чувство, от которого никак нельзя отделаться. Сначала Полине казалось, что только одна Мотя ненавидит ее, но вскоре Полина поняла, что она, со своей стороны, тоже ненавидит Мотю странной и нестерпимой ненавистью, что так даже думалось, что Полине и не покинуть этой квартиры и кухни, где так тесно живут и дышат одним воздухом две ненависти. Полине было все ненавистно в Моте: ее решительная и широкая походка, ее черные волосы и сросшиеся брови, весь трепет ее тела, сладострастный и нескрываемый, который охватывал ее, едва только показывался где-нибудь Матвей, ее расширяющиеся зрачки, огромные, как два синих боба. От нее шел запах деревни, тяжелый и вязкий какой-то. Полина плохо знала деревню, но она думала, что именно так должна пахнуть деревня. Мотя казалась ей, вообще, зловонной и грубой, хотя, если говорить по правде, ничего в Моте не было ни зловонного, ни грубого. Она окончила десятилетку, читала часто книги по истории, говорила гладко, только вместо «бухгалтера» выговаривала «булгахтер» — и все. Голос у нее был мягкий, живой, любила она впервые... единственный порок, который чаще всего выявляется во время войны и порок омерзительный был у нее тот, что она трусила. Вой сирены заставлял ее бледнеть. Разрывы бомб наводили на нее тошноту. Все тело ее сжималось, съеживалось, и Полина, поджав губы, говорила ей с презрением:

— Вам бы, Мотя, под землей на сто метров сидеть.

Мотя молчала. Она не понимала насмешки! Она, остро огрызающаяся в иное время! Она бежала в бомбоубежище, а Полина шла на крышу, чтобы вместе с мальчишками-ремесленниками ловить и тушить зажигаемые бомбы.

С крыши превосходно виден город, Проспект, завод СХМ. От реки дул ветер. Небо было наполнено ревом и разрывами снарядов. И Полина, прислонившись к слуховому окну чердака, смотрела на город, на черно-багровые клубы пожарниц и думала о ненависти. Какое странное чувство! Полина жизнь и людей, вообще, принимала с почетом, и раньше ей никогда б не понравилось, что с людьми обращаются пренебрежительно. Матвей, именно, с Мотей, обращался пренебрежительно и грубо. А Полине теперь казалось, что иначе нельзя обращаться. «Боже мой, неужели так это и надо? — думала она под разрывы бомб. — Что со мной? Неужели я так огрубела?»

И она внутренне оглядывала все дни, проведенные ею на заводе. Прежде всего, ей пришлось отречься от всех впечатлений, которые у ней имелись о заводе по книгам. «Мы даже себе не можем представить, как часто плохие книги портят хорошую жизнь, — думала она, пытаясь

вспомнить те названия книг, которые ей говорили о рабочих и их мастерстве. — Это гнусно по прилизанности, которой наделяют бытописатели рабочих, и отвратительно по бедности чувств, которыми будто бы не обладают рабочие, хотя все и стараются как можно больше говорить о чувствах этих людей».

Что же увидела Полина? Прежде всего то, что жизнь этих людей хорошо удобрена и, значит, плодородна. Детишек у них много, чувств, вплоть до самых поэтических, — бездна... Однажды, от имени своего цеха, она принесла в заводскую многотиражку несколько строк. Случайно ей пришлось присутствовать при споре трех рабочих по поводу стихотворения, напечатанного в «Литературной газете». Смелость и широта суждений изумили ее. Хлебников и Пастернак, до сих пор пугающие наших моралистов, были им понятны. Инверсия в их фразах не была умышленной, а указывала на страстное желание учиться и понять смысл искусства...

Плодородие всегда грубо. Поэтому они говорили крепко, и иное чувство ненависти предпочитали выразить в сокращенном ругательстве, нежели в логически правильно построенной фразе. Насмешки, которые они отпускали друг другу, были так круты, что, как вначале казалось Полине, способны привести в брожение камни. Слушая такой их разговор, она так волновалась, что желая проявить стойкость и не покинуть места работы, она даже закрывала глаза. Как они свирепы! Но, прошло едва ли десять дней, и она узнала, что эта взаимная кровожадность не более, как только жест. Какая-то особая броня сковывала их вместе. Разъединить их, разорубить эту броню, пожалуй-то, не так-то легко. И это чувство дружбы, единения и силы неограниченно овладело ею! Она не могла притворяться, что грубые разговоры шокируют ее. Они ее веселили, а иногда она просто испытывала блаженство при удачной шутке или песне, которая иногда внезапно вспыхивала среди них, несмотря на то, что они, более чем кто-либо, понимали и чувствовали войну, — из их среды ушло очень много людей на войну, командирами, механиками, красноармейцами, сестрами милосердия.

Вот почему ненавидеть Мотю и встречать ее было так тяжело для Полины, помимо того, что ненависть, вообще, была ей мало свойственна. Однажды, рано утром, — Мотя вставала в пять и нарочно начинала громыхать посудой, потому что Полина любила понежиться в постели, — Полина спросила:

— Мотя, почему вы не поступите на завод? Бомбежек боитесь?

И тут же испугалась. А, вдруг, Мотя поступит? Ведь тогда Полина совсем не сможет ее ненавидеть и презирать? Как же тогда быть?

— А тебе что за дело?

— Стыдно такой здоровой и не работать, — не удержалась Полина, хотя и знала, как опасно вести разговор на подобную тему.

Мотя посмотрела на нее пристально. Grimаса исказила ее лицо. У, с какой бы радостью она исцарапала это гладкое розовое лицо, вырвала бы белокурые волосы, не поглощающие, а только подчеркивающие всю нежность движений Полины!.. Мотя смолчала. С того дня, как эта девка вошла в дом, Матвей не притронулся к Моте. Правда, он не притронулся и к Полине. Мотя понимала, чем это вызвано. Вот схлынут бомбежки,



Матвей найдет свое место у станка — и тогда... тоска завладела сердцем Моти, тоска обременяла ее.

В сущности говоря, тоска, но разного оттенка, владела ими тремя: Матвеем, Полиной и Мотей. Матвей был убежден, что любит еще Мотю. Стремление поднять свою группу, сделать что-то большое для завода и города, — а кто знает, может быть, и для всей страны, — мешало ему поговорить с Мотей о любви. «Надо делать дело», — говорил он себе, когда в голову приходили мысли о Моте. Тоска Моти была другая, — даже физическая ее боязнь бомбежек, не уводила ее от мыслей о Матвее и от стремления спасти его, увезти подальше. Она еще не знала, как тут ловчее поступить. Она боялась ошибиться. Атмосфера войны и встревоженного города тоже пугала ее. Она выжидала, тосковала и ненавидела.

Полина тосковала по-иному. Тоска ее была неровная, и, если искать оттенки ее, — она была светлая и только чуть-чуть пасмурная. Она принимала завод. Люди ей нравились, хотя, иногда, с непривычки, она и сильно уставала, и люди слегка раздражали ее, в особенности, в ночную смену, когда раскатывали черные полосы бумаги и воздух становился тяжел и душен до невыносимости. Лампы низко спускались над станками. Фрезы с особым каким-то сладострастием впились в металл. Рабочие стояли у станков, важные, как академики. Изредка открывались ворота в цех. Тьма стояла над всей площадью завода. Тьма и война! Вот тогда-то Полину раздражал покровительственный тон, которым говорили с ней рабочие. Ее лихорадило. Она пила много воды. Ночь казалась бесконечной. Как ей тогда хотелось поговорить с Матвеем! Однажды, часа в два ночи, она подошла к нему. Она понимала то состояние поисков, которым был теперь охвачен Матвей. Она превосходно знала это состояние. Ищешь днями тон голоса, звук, стремление слить его с музыкой, выражение глаз, лица... Где-то, кажется, у Л. Толстого, она однажды прочла фразу: «... беловатый хребет гор казался близок». И она тотчас же подумала, что он ей не кажется близким, но когда она увидела следующую фразу: «этот хребет виднелся из-за крыши», она увидела хребет перед собой как вот этот бетонный стол и этот круг света из-под лампы с зеленым абажуром. Как жаль, что нельзя поделиться с Матвеем этими мыслями!.. Она попробовала что-то сказать. Матвей посмотрел на нее удивленно, с легкой грубостью, свойственной ему:

— Завтра поговорим, — сказал он.

Но, завтра она уже не имела желания. Ей подумалось, что, пожалуй, лучше бы ей идти по своей специальности. В конце концов можно уехать на фронт с какой-нибудь бригадой артистов и петь... заполняя анкету, чтобы иметь трудовой список, она решила, что ей, здесь, на заводе, не сделать ничего значительного, тогда как, даже если не актрисой, она могла бы быть полезной и в другой специальности. Но, в какой?

Полина начала перебирать все, что она знает. Как оказалось, она знает не так-то уж много. Она прочитала тысячи книг — и не только беллетристики, но все эти книги оказались негодными и пустыми. Языки? Кроме немецкого, позже, чтобы читать оригиналы, а не переводы,



она выучила английский, итальянский. На приемах в Наркоминделе и ВОКСе приезжие иностранцы находили выговор ее безупречным.

Генерал Горбыч считался поклонником музыки и поэзии. Едва ли он бывал на ее концертах. А фамилия актрисы Смирновой ничего не скажет ему. Она написала командование о знании языков и о страстном стремлении выполнить какое-нибудь ответственное поручение.

Глава восьмая

Конечно, Матвей страдал не так сложно, как думала о нем Полина. Но, в конце концов страдание измеряется не сложностью его, а силой. Сила же его мучений почти доходила до удушья, углублявшегося еще тем, что он не имел возможности, — отчасти из-за некоторой стеснительности и непривычки делиться задушевными мыслями, а отчасти из-за самолюбия, свойственного всем изобретателям: «а, вдруг, если не выйдет? Засмеют?» Терпения все же не хватило. Он попробовал два-три приспособления. Фрезерный станок — предмет, достаточно изученный, и нужно, чтобы человек, желающий улучшить его работу, обладал какими-то особенными данными. Но, — мог бы подумать Матвей, — перо еще более изученный предмет и куда более простой, однако, оно и до сих пор продолжает творить чудеса?.. Как бы то ни было, предложения Матвея, высказанные конструкторам, не получили одобрения. Он услышал ответ, который сам часто говаривал ученикам:

— Работайте. Делайте. Ищите.

Фрезы не с такой силой врезались в металл, как тоска врезалась в его сердце. Станки, которыми он руководил, давали уже почти каждый день 112 %. Но, Матвею казалось, что станок его, — мощный и красивый, — возвышается неподвижно, как бы опустивши руки. Он и во сне видел движения всех его частей, осторожные и предприимчивые, чем-то напоминающие лису. Легкий запах масла наполнял комнату. Матвей лежал в постели, прикрывшись только простыней. Ему не хотелось спать. Словно стая громадных птиц, проносились над ним множество мыслей. Воздух, вздуваемый их крыльями, не освежал его глаз. Он неподвижно смотрел в темноту. Густой храп его отца доносился из душевной тьмы. Вот отец очень доволен, что у него хватило сил справиться с работой. Закинув за спину руки, в которых торчит масленка, он смотрит на двигатель, медленно и верно поднимающиеся и опускающиеся шестерни, и лицо у него веселое и ласковое.

Птицы отлетают. И, как огромный вихрь, взметается перед ним неизвестно где прочитанная или услышанная мысль: «Война ведется не только людьми, но и огромным количеством предметов вооружения!»

Где он слышал эту фразу, звучавшую теперь как упрек? Он не мог вспомнить. На заводе появилось много незнакомых людей в военной форме. Это были инженеры-артиллеристы, приехавшие консультировать производство, доселе мало знакомое СХМ. Зоркий взгляд их охватывал все достоинства и недостатки завода. Похоже, они намечали и специализацию его — противотанковые пушки, в которых так теперь нуждался фронт.



Седой артиллерист с тонкими губами, чем-то похожий на гуся, подошел к станку Матвея. Он взял в руки деталь и оглядел ее, ядовито щурясь. Все его движения говорили, что он умеет контролировать качество военных предметов в военное время. Деталь была сделана бесспорно. Он положил ее обратно. Лицо его было бесстрастно. И эта бесстрастность и разозлила Матвея. Рана засочилась еще сильнее. «Такое бесстрастие, такое поведение, — думал Матвей, — ничего не внушает, не подсказывает».

Его слегка утешила повестка на заседание у директора Рамаданова. Приглашались стахановцы, мастера и техники. Повестка не указывала темы заседания.

Когда Матвей вошел в Заводоуправление, длинное и низкое здание, расположенное как раз у самых ворот завода, дежурный у дверей, поглядев на повестку, сказал:

— В кабинете техдиректора.

Матвей пошел в кабинет технического директора Короткова. Он хорошо знал его. Они учились вместе. Коротков всегда был щеголеватым, преуспевающим и честолюбивым. Однажды, кажется, еще в пятом классе, он не сдал экзамена «на отлично» и так этим огорчился, что даже заболел. Это был, наверное, последний неуспех в жизни. Матвей поступил из седьмого класса на завод. Коротков учился дальше — и встретились они, когда Короткова назначили начальником литейного цеха. Только что был окончен Дворец культуры. Праздновали открытие. Из Москвы приехала группа артистов и поэтов.

Коротков, в синей паре, стройный, красивый, с нежными, тающими глазами, вышел из толпы. Матвей рассматривал какую-то длинную картину на стене. Коротков встал с ним рядом и сказал:

— А ты меня здорово перерос, Матвей.

— Догонишь. У тебя есть возможности, — проговорил Матвей, даже и не предполагая, что Коротков обидится.

Коротков подумал, что Матвей ему завидует. Разговор заглох. Они больше не встречались.

<Вот что> Матвей сейчас ощутил, не без удовольствия входя в кабинет Короткова. Хотя ссоры между ними и не произошло, все же именно сейчас можно поговорить по душе. Матвей ожидал радостного приветствия. Он и сам готов был радостно обнять Короткова.

Оно бы и случилось так, не стой в кабинете Рамаданов и рядом с ним унылый серый человек с ровным как степь лицом. Коротков улаживал какое-то недоразумение с директором, а человек с унылым лицом, видимо, желал приноровиться к их разговору. Коротков пожал руку Матвею и сказал только:

— Замечательно! — не объяснив, что и чем замечательно.

Рассаживались долго, а как только расселись, среди присутствующих побежал шепот, и все стали глядеть на человека с унылым лицом, который старался приблизить свой плоский нос к лицу директора. Сопровождаемый унылым человеком, директор встал за стол, покрытый красным сукном и несколькими графинами с запотевшими стенками. Похлопывая

ладонями по столу, как бы аккомпанируя себе, Рамаданов поглядел на собравшихся добрыми серыми глазами, одернул старенькую выцветшую и заплатанную толстовку, в которой всегда ходил на работу, и сказал, почти с той же интонацией, как и его заместитель по технической части:

— Замечательно!

Собравшиеся вдруг разразились аплодисментами. Матвей, ничего не понимая, оглядел их. Глаза всех были устремлены на человека с унылым лицом. А тот вдруг властным движением приблизил к себе графин с водой и налил воды в стакан так, словно он вливал туда грозовую тучу. После этого он, сморщившись, отпил глоток и поглядел на собравшихся, которые все еще аплодировали.

— Кто это? — спросил удивленно Матвей у соседа, инженера с рыжим лицом, яростно сжимавшего ладони, как ястреб когтит пойманную птицу.

Инженер, не глядя на Матвея, а, видимо, отвечая самому себе, сказал с восторгом:

— Да Дедлов же, господи ты боже мой!

Дедлов! Тот самый Дедлов, все изобретения которого он еще знал в детстве, практически изучал в армии, стреляя из его орудия. Дедлов? Кто не знает имени последовательного знатока и реконструктора артиллерийского дела, человека, который способен, нюхом, говорят, уловить самое пустяковое изменение в конструкции и неделями добиваться проведения его в жизнь. Дедлов? Удивительно! А у него такое скучное и незаметное лицо, такой ровный взгляд и такая странная привычка пить много воды...

В сравнении с ним, «наш старик», как называли Рамаданова на заводе, много выигрывал. У старика была длинная, как и в его юности, грива, теперь сильно поседевшая, и откиннутая назад гордая голова с толстым носом. Голос его, — испытанного верного оратора революции, — гремел так, что требования, высказанного им, нельзя было не исполнить. Говорил он всегда кратко, сжато. Слова его падали как спелый плод!.. «Да, далеко до нашего старика этому Дедлову», — подумал Матвей, восторженно оглядывая «старика».

Но было что-то и в Дедлове, что сильно нравилось Матвею. Он еще не знал, что именно. Может быть, простота, неловкость, даже неряшливость какая-то в одежде, так что хотелось его помыть и причесать... неизвестно. А вдруг великие изобретения создают обыкновенные люди с обыкновенными лицами и с голосом, который никак не согласовывается с их, почти гениальными, выдумками?

Как Матвей и ожидал, голос у знаменитого ученого был такой, словно он все еще не привык им управлять. Он говорил то необыкновенно радушно, то вдруг вскрикивал, будто у него вырвали клочок волос, а то цеплялся к одному слову и, облокотившись о стол, долго мямлил его.

Но, по мере роста его речи, вырастал и смысл ее. Скоро Матвей забыл все недостатки ученого, его унылый вид, его бесцветное и ровное лицо, и даже думал, что все это замечательно и иначе и быть не может. Он приноровился к течению мыслей Дедлова, и это согласование доставило ему огромное удовольствие. Глубоко дыша, открыв рот, он встречал



радостно каждое слово, принимал его как откровение. Слова эти нагромождали внутри него что-то огромное, терпкое и блестящее.

— Мы должны! Мало того. Это наша святая и непреклонная обязанность, — говорил ученый, — создание более прочного оружия. Оно должно быть удобно в обслуживании! Оно должно быть способно к проникновению в малейшие поры пехотных соединений! Но, теперь, естественно, возникает вопрос: справится ли техника с изготовлением такого оружия?

Все слушающие его замерли. Они ожидали, что великий ученый посмотрит на них вопросительно, и кто-то крикнет испуганно «создадим!», и посыплются аплодисменты, и ученый прослезится.

Произошло совсем по-другому. Задав вопрос, ученый вынул большой серый платок, высморкался, тщательно сложил платок, пошарил в карманах, достал какие-то математические выкладки и, долго, не менее пяти минут, про себя читал их. Он словно приобрел в этих листках что-то до того не бывшее у него. Когда он заговорил, голос его был другой, язвительный, ускоренный, и, как бы сказать, более современный, что ли, если попробовать передать ощущения Матвея от этого нового тона голоса. Совершенно юношеская ненависть звучала в нем!

Он говорил:

— Человечество запугано танками. С начала их появления все журналисты мира перерыли геологические справочники, чтобы напомнить вам о динозаврах, бронтозаврах, мегатериях и прочих допотопных чудовищах, которые могут вас сожрать. Это запугивание продолжалось так долго и упорно, что когда стали говорить слово «танк», это слово сияло так ярко, что у вас ломило в глазах. Ай-я-яй!

Он рассмеялся над запуганным человечеством, словно над ребенком, выпил воды, постучал по графину пальцем и продолжал:

— От вас отодвигали самое главное орудие войны, то орудие, которое только прикрывал и волочил на себе танк. Я говорю вам о пушке! Если отбросить все геологические определения, что же такое танк? Танк — в сущности крайне подвижная полевая артиллерия! Даже и тяжелые танки прорыва редко выходят из этого определения. Полевую артиллерию за-баррикадировали, поставили на колеса и пустили.

Глава девятая

— Психологическое воздействие часто путают с воздействием техническим. Танк живет на субсидию от рекламы! Но еще надо спросить, выдержит ли он экзамен на этой войне? Перейдет ли танк в университет бесспорной победы? Не сомневаюсь — эта стилизованная тупица провалится!..

Он раскрыл широкий рот и захохотал. Было что-то отроческое, молодое в его смехе, тем более, что смеялся человек, который знал, как и чем можно было уничтожить эти, как он говорил, геологические определения, с которыми, к сожалению, неизменно присутствовал ужас.

Он смеялся над танками. Смех его был заразителен, но никто не смеялся с ним. Рамаданов, закинув назад седую голову, смотрел пристально

на него. Так же смотрели пристально инженеры, техники и стахановцы. Матвей оглядел их. Глаза их говорили: «Да, это субъективное мнение. Оно нам нравится. Но, что же в нем смешного?»

И вдруг нечто забавное, непонятное, откуда-то сбоку примкнуло к Матвею, и он громко засмеялся.

Ученый поднял руку. «Тишина! — хотел он сказать этим жестом. — Мой смех не более как иллюстрация к моим словам, которые вы должны слушать, понимать, но вовсе не подпевать мне». И он продолжал:

— Но! Танк не остановишь смехом, как бы вы заразительно ни смеялись, товарищи. Танк надо разрушить, чтобы уж никакие уловки тактики не могли его ни починить, ни заштопать! Остановит его, в первую очередь, пушка. Какая? А такая, чтобы строевое командование было крайне довольно ею! Такая, чтобы она выстрелами своими, как шторой, задержала все легенды о непобедимости танковых войск!

И его неослабная и очень приветливая вера зажгла всех, он воскликнул:

— Еще не было таких войск, которых бы не разрушила артиллерия!

С притворно огорченным лицом, ученый опять поднял руку, протестуя против аплодисментов, а затем деловым тоном сказал:

— Противотанковая пушка должна быть легка и подвижна, как легок и подвижен, скажем, перочинный нож. Вот главное условие! Второе — она должна быть проста по конструкции и дешева. Вот второе и, пожалуй, основное условие разгрома танка.

Строение его речи, прилежание, с которым он говорил, указывали, что он приведет всех в ошеломление какой-то изумительной идеей, какой-то небывалой пушки. В комнате царило такое возбуждение, что ввалились сюда сейчас еще вдесятеро более слушателей, этого б никто не заметил.

Но, и тут он оказался, как всегда, оригинальным.

Вдруг Дедлов возвысил голос и пронзительным тенорком торопливо стал рассказывать о нововведениях, которые он предлагает ввести. Все даже сразу и не поняли смысл этих нововведений, вся система которых, — уже утвержденная высшими инстанциями, — оказалась хорошо продуманными и сведенными воедино мелкими улучшениями.

Ведь все же предполагали, что он огласит им по меньшей мере теоретически сейчас же осуществимую идею ракетного снаряда!

Они вслушались.

Система Дедлова вводила огромные упрощения в производство, и когда он сказал, — очень скромно, мимоходом, — что при удачном осуществлении его системы возможно увеличение производства противотанковых пушек в двадцать раз, — зааплодировали даже стенографистки!

Рамаданов торопливо перебирал руками по столу. Сердце у него билось так сильно, что это видно было по его лицу. «Замечательно, замечательно!» — говорил весь вид его и живые его движения.

— Всякое техническое нововведение только тогда может быть пригодным для массового изготовления, — вернулся ученый к тому, с чего он начал свою речь, — когда в результате общего развития производи-

тельных сил создадутся необходимые для этого средства производства и выработается соответствующая организация труда.

Взор его, как показалось Матвею, остановился на нем. Что спрашивал этот взор? Что он знал? Что он видел?.. И в ту же минуту, Матвей вспомнил статьи в газетах, призывавшие рабочих к усиленному стахановскому труду, выступления ораторов на производственных собраниях, кампанию в многотиражке заводской, вспомнил он, кому принадлежат те слова, которые он часто повторял: «Война ведется не только людьми, война ведется огромным количеством предметов вооружения!» Эти слова принадлежали Дедлову. Матвей читал их в газетной статье, подготовлявшей сегодняшнее заседание. И сейчас взор Дедлова спрашивал: «Ну, и что же вы, дорогой Матвей Потапыч, ответите на эти слова?»

Всем известно, как в полевом шпате преломляется луч солнца, обнаруживая свой спектр. Точно так же во взоре, устремленном на него Дедловым, преломилась и обнаружила свой спектр душа Матвея, его творчество. Это произошло, правда, не в то мгновение, когда Дедлов ласково взглянул на смуглое лицо рабочего, его серьезные глаза и сильно раскрытые полные губы, это произошло позже через день, через два, но вызвано это было взором, вопросительным, ученого.

Деталь, разработанная конструкторами, «1-10», которую вырабатывал на своем станке Матвей, входила в систему улучшений, придуманную Дедловым. Он только снял с нее два-три ненужных изгиба, улучшив ее, но тем не менее, деталь «1-10» требовала большого труда. Рабочий за смену делал при сильном напряжении, едва ли пятьдесят-шестьдесят деталей.

Матвей изменил весь технологический процесс обработки детали на фрезерном станке! Матвей ввел три, казалось бы, пустячных приспособления, и всем почудилось, что станок как бы дрогнул от творческого толчка, как вздрагивает человек от прикосновения к электрическому току. Мы не будем входить в сущность приспособления, о нем лучше всего прочесть в листовках Центрального технического кабинета при НКВ — «Опыт заводов», листовка «Приспособления Матвея Кавалева», но, если попытаться сказать о них общими словами, то достаточно будет написать, что Кавалев, вместо одной фрезы, смог установить несколько, и притом, в такой искусной простоте, что люди только развели руками. Обработка деталей за его станком сразу же поднялась до четырехсот штук в смену.

Через неделю Матвей, вместе с конструктором Койшауровым, разработал еще одно приспособление к станку, — деталей в день он выпускал теперь 940. Прошло четыре дня. Деталей из его станка выходило уже 1300!..

Вскоре, после рекорда в 1300, Полина присутствовала при том, как Матвей передавал свой станок Петру Сварге, тяжкобровому, угловатому человеку, стоявшему за соседним, порядком устаревшим станком. Сам Матвей с этого дня назначался мастером.

Сварга, так же как и Матвей, относился к Полине тепло и почти потцовски. Полина, с не меньшим рвением, согласилась помогать Сварге, — и однако ей жаль было расставаться с Матвеем, хотя он никуда и не уходил и мастером его ставили на том же участке, где он раньше работал у

станка. Сварга был превосходный работник, приспособления Матвея он использовал достойно, — станок, таким образом, попадал в настоящие руки, — и все же Полина думала, что «то, да не то». Иногда Матвей был груб, иногда так весел, что веселье это казалось неуместным и наигранным, иногда грустен чрез меру, но всегда в нем чувствовалось что-то большое, крылатое и умное. Быть в дружеских или даже в полудружеских отношениях, как в случае Полины, с таким человеком приятно и мило, а, главное, всегда возвышающе. Вот почему Полина сожалела, что Матвей отошел от станка. Она понимала, что в интересах завода важнее иметь Матвея командиром, чем солдатом, — хотя бы и крайне искусным, — но тем не менее ей думалось, что Матвею лучше бы стоять у станка: «А вдруг он просыплется?»

Матвей не «просыпался». Наоборот. Едва он получил участок, как заметно поднялась производительность у станков, стал равномерно поступать к ним материал, да и деталь орудия «1-10» словно бы повеселел, казалась тоньше, изящнее. Однажды Петр Сварга, с гордостью указывая Полине на великолепное орудие, которое катили мимо них, сказал:

— Замечаешь нашу деталь? Полковничья!

И в его словах звучало нечто такое, чего, как подумалось Полине, ей не высказать никогда, не пропеть, да и не понять, пожалуй: очень уж это было кровно близко Сварге и его друзьям, а Полине казалось чуточку напыщенным. Напыщенность эту объясняли и оправдывали присутствием, голос, походка и весь пыл Матвея, а теперь, когда его не было, Полине думалось: «Актеры есть, а нету автора». Вот тогда-то впервые ей показался поступок ее — приезд на завод, поступление и, особенно то, что она смолчала и не разъяснила Матвею его ошибку об «уличной», — легкомысленным, непродуманным и неправильным. Но, тотчас же она спрашивала себя: «Следовательно, если б не было уличной встречи с Матвеем, случайной встречи, я бы не осталась в городе?» И она отвечала: «Нет, осталась бы». И она спрашивала: «А, следовательно?» Но она не находила ответа.

Глава десятая

Бронников, парторг завода, читал свою статью, написанную для областной газеты:

— Правильно отмечает «Правда» в одной из своих статей: «Экономическая эффективность изобретений и рационализаторских предложений зависит от масштаба их применения. Ни в коем случае нельзя допускать, чтоб ценнейшие изобретения и рационализаторские предложения являлись цеховой собственностью предприятий. Возьмем, например, рационализаторское предложение Матвея Кавалева...»

Рамаданов поглядел в старательное лицо парторга и подумал:

«Хороший человек Бронников, и цитата хорошая, но все же статья скучная. Почему, чем старательнее и деловитее человек, тем скучнее и длиннее его статьи?...»

Бронников продолжал:

— ...Пример Матвея Кавалева подхвачен стахановцами СХМ. Бригада Севрюка дала 342 %. Бригада Киянова добилась сверхотличной настройки станков. Все помнят, что фронт требует высокой производительности труда!..

В окна заводоуправления врывается шум гигантского завода. И, будто сердце завода, отсчитывал правильные удары паровой молот. Цеха, каждый своим голосом, давали о себе знать. Рамаданов мысленно проходил по этим цехам. В каждом из них вывешены большие плакаты, поздравлявшие стахановцев с трудовыми победами. Любое слово этих плакатов говорило, что система Дедлова не только привилась на заводе, окрылила его, но и что завод имеет полное право выставить ее напоказ. Об этом самом же в завуалированной форме говорилось в статье «Правды», которая лежала под руками директора Рамаданова. Об этом же говорили все заведующие отделами, выступавшие с сообщениями, что и как они делают для проведения системы Дедлова.

Ларион Осипович Рамаданов мог быть доволен за систему Дедлова. Похоже, что она оправдывает себя... И, тем не менее, он был огорчен чрезвычайно. Он еще не показал своим ближайшим сотрудникам только что полученный приказ. Они продолжали говорить свое, и слова их теперь, еще недавно такие красочные, казались ему сейчас серыми и одноцветными, как полог палатки в дождливый день над головою. Вот взять хотя бы того же Короткова. Ну, чего он там бубнит?

— Наши советские изобретатели и рационализаторы делают большие дела. В историю Отечественной войны они войдут как пламенные патриоты своей родины, всем своим творчеством, дерзостью своей мысли, пытливостью своего ума, способствовавшие разгрому ненавистных захватчиков! Возьмем биографию Матвея Кавалева...

Рамаданов прошел к шкафу, на боку которого висела его шинель. Он накинул ее на плечи. Сидевшие за столом посмотрели на него. Жар отягчал их, и, пожалуй, они даже завидовали знобливости директора.

Рамаданов сказал с раздражением:

— И откуда вы все такие тощие слова выбрали? Как придорожные ракиты. Обождите-ка.

Он вынул приказ из длинного, с пятью сургучными печатями, синего конверта и, четко выговаривая слова, прочел его. В кратчайший срок заводу СХМ приказывалось вывезти рабочих, оборудование... дальше перечислялись номера эшелонов, порядок погрузки цехов, сырья.

Он бросил пакет на стол и сказал:

— Вот вам и ваша биография.

И начал было говорить:

— Для того, чтобы...

Но, не договорив фразы, накинул на плечи шинель и подошел к окну.

Присутствующие молчали. Весь их вид говорил: молодость может быть грамотнее или бойчее, но она не может быть опытнее старости. Что же посоветует «старик»? А «старик» — он ведь на самом деле был стариком, — смотрел в окно старческими глазами с припухшими багровыми веками. С третьего этажа Заводоуправления весь СХМ был особенно

отчетливо виден и — был особенно прекрасен в этот ветреный сухой день. Мирно и радостно, будто высокие облака в голубом и светлом небе, стояли длинные цеха. В другое время один взгляд на эти цеха поднимал в нем чувство новой, закипающей жизни.

А сейчас ему было грустно. Сухой ветер дул ему в лицо, чуть ворошил на столе оставленные бумаги, поднимал, наверное, пакет с печатьми... Старик вспоминал прошлое. Он учился в этом городе, в гимназии... Здесь, как раз неподалеку от пустыря, где сейчас стоит СХМ, был небольшой, полукустарный заводик по ремонту сельскохозяйственных машин. Двор этого заводика был заставлен лобогрейками, веялками, плугами. Управляющий, мордастый немец в зеленой куртке с большими карманами, ходил среди машин, посвистывая. Сюда, юношей, Ларион Рамаданов принес первые свои прокламации: и здесь же, года три-четыре спустя, его арестовали во время сборов на маевку. Как все это было далеко! Он помнил пыльный шлях, по которому, пешком, он направился в ссылку, — и возвращение с нее, нелегально. Он вез инструкции Ленина, его брошюры. В кармане его товарища под партийной кличкой Крутых лежала фотография. Возле круглого столика, покрытого бархатной скатертью с длинными кистями по углам, сидят двое. Один из них — Ленин, другой, тот самый партиец под кличкой Крутых... Затем — война, фронты, и вот опять Рамаданов возвращается в свой родной город, уже в новом положении — строителя заводов.

Рамаданов на много километров вокруг города настроил шахт, рудников, фабрик... все это было трудно: сначала оттого, что не хватало людей, опыта, а затем оттого, что надо было упорядочить этот опыт и правильно расставить множество людей, машин и денег. Он помнил возникновение каждого проекта, поездки к Дзержинскому, в Госплан, письма к Сталину, ожидание приема... и ласковый голос вождя, почти всегда соглашавшегося на требования Рамаданова, как бы велики они ни были. Помнил он и тот вечер, когда они, строители гигантского комбината СХМ, пришли впервые в совнарком. Проектировщик, молодой инженер, — умерший очень рано от рака, — весь трепетал, — и все же, едва раскрылась дверь в приемную, обитая черной клеенкой с медными гвоздями, инженер не вытерпел и ринулся вперед как передовой вестник! Все улыбнулись этой свежей молодости...

И стали возникать леса, корпуса, котлованы, заскрипели экскаваторы, протянулись бараки, в дорожных канавах валялись бутылки, кто-то кого-то зарезал в ревности, какой-то инженер отбил жену у другого, начались сплетни, — словом, возникал город. Набежала и зашумела слава, будто о прибрежный песок разбивались волны жизни. Возник — СХМ, за его плечами, поднялся Проспект Ильича!

А теперь? Рамаданов положил руки на подоконник. Крупные капли слез упали на полированное дерево. Их шорох слышали присутствующие — и отвернулись друг от друга. Рамаданов вспомнил недавний приезд командира-подрывника. Это был сын его друга-каторжанина, умершего лет тридцать пять назад в Нерчинске. Командир с тоской перечислял заводы, взлетевшие на воздух. От напряжения большие капли пота катились по его широким скулам.



Рамаданов знал эти заводы. Некоторые из них он построил перед тем, как приступить к строительству СХМ. Подрывник, рассказывая о взрыве макеевского гиганта, сказал: «Подходит ко мне один рабочий-старик и говорит: “Эх вы, могильщики пятилеток”». И лицо у командира стало такое невыносимо страдающее, что Рамаданов не мог на него смотреть...

Он вернулся к столу, взял в руки «Правду» и спросил:

— Матвей Кавалев, как понимаю, сейчас наиболее авторитетный стахановец завода?

Спрашиваемые молчали. Они были поражены невиданным зрелищем: мокрыми глазами и носом Рамаданова и спокойным тоном его голоса, который, казалось, всем своим тембром говорил им: нужно подчиняться приказу.

— Вы не возражаете, товарищ Коротков?

Лицо Короткова зажглось румяным блеском. Признать ему, что на заводе, кто-то, кроме «старика», значит более, чем он, Коротков, — крайне мучительно. Рамаданову это нравилось: «Парень последовательный и кое-что сделает, если направить по-настоящему». Ластясь по столу руками, и ласково играя голосом, директор сказал:

— Главный инженер не возражает? Замечательно! Все рады, что, кроме нас, есть и другие знатные люди.

Ласковость тона слегка смягчила язвительность. Коротков не обиделся. Он даже нашел силы улыбнуться:

— Здесь возражать трудно, Ларион Осипыч.

— Так вот, Коротков в исполнение приказа пойдет к Кавалеву и толково изложит ему обстоятельства, по которым тому необходимо первым выступить на цеховом собрании, посвященном задачам эксплуатации СХМ. — Директор поправил шинель на плечах и, словно грея у крышки стола, как у костра, зябкие руки, продолжал: — Я бы сам поговорил с ним, но, к сожалению, у меня температура 38,9 и мне придется, видно, прилечь.

Беседовавшие встали. Коротков, чувствуя неловкость, что беспокоит больного, все же задержался в дверях и спросил:

— Ларион Осипыч. Неужели вы думаете, что я так честолюбив, что мне неприятно говорить с Кавалевым?

— Я не осуждаю честолюбия. В вашем возрасте оно естественно. Я только хочу предупредить вас, что Кавалев честолюбив не менее, чем вы. Обращайтесь с ним осторожнее.

Коротков вспомнил свою встречу с Матвеем на открытии Дворца культуры и, понимая, кивнул головой. Когда Коротков ушел, секретарь партийной организации цеха, где работал Кавалев, молодой человек с таким веселым и ярким лицом, что каждому хотелось видеть его возле себя подольше, спросил огорченно (он ненавидел честолюбцев) у директора:

— Разве Матвей Кавалев честолюбив? Он у меня в цеху. Я не замечал.

— Насколько наш главный инженер честолюбив, настолько же не честолюбив Матвей Кавалев. Просто нет другого способа, чтобы Коротков быстрее понял Кавалева и воздействовал на него. Мне думается,

что из-за воспоминаний прошлого, Кавалев тоже поймет главного инженера.

Секретарю эта психология показалась чересчур сложной. Но он привык доверять в таких случаях «старику». Про себя он сказал, что воздействует на Матвея по партийной линии и, пожалуй, в ближайшие дни поставит вопрос о переводе его из кандидатов в члены партии.

Секретарь бросился догонять Короткова, директор Рамаданов, сославшись на температуру и озноб, ушел домой. Над Проспектом, со свирепой выразительностью, проносились истребители. Из окна кабинета видны были баррикады, упиравшиеся в мост. По спуску к реке грузовики, тормозя колеса цепями, визжа и подпрыгивая, везли обрезки железных балок для надолб. Ветер раскачивал реку.

Директор сел за стол. Перед собой он положил карту завода, список рабочих, разделенный на две графы: имеющие военную подготовку и не имеющие. Мысли стремились неудержимо и быстро, как птицы в осенний перелет, и, казалось, что воздух свистел вокруг него. Он долго сидел, закрывши глаза рукой. Тени и свет слились. Проспект соединился с рекой, надолбы колыхались как деревья... Позвонил Коротков. Со снисходительностью молодости, он спросил: «Директор, наверное, забыл пригласить врача?»

— Какого врача? — удивленно сказал Рамаданов.

— У вас же тридцать восемь и девять!

— Да, да.

— Тогда, разрешите, я приглашу?

— Да, да. Замечательно.

Глава одиннадцатая

Коротков звонил из цеха. Беседа главного инженера с Матвеем сразу же показала секретарю, что Рамаданов глубоко прав. Как только Коротков узнал, что Матвей честолюбив, огромное уважение охватило главного инженера. Он сразу же поверил в будущую славу Матвея, славу, которая на каком-то этапе, отражательно, способна повлиять и на славу Короткова. Матвея ведь можно будет всегда использовать, направить? Голос, которым говорил Коротков, был ласков, радушен и прост. В нем не чувствовалось напряжения, и Коротков, действительно, не делал напряжения. Он безмерно уважал человека, о котором директор, большевик и уж абсолютно не честолюбец, говорил приязненно. Значит, существуют такие оттенки честолюбия, которые могут понравиться всем? В глубине души хотел бы и Коротков быть охваченным таким именно честолюбием.

Матвей прочел заметки, перепечатанные на машинке. Он опустил-ся на стул, чувствуя непонятную усталость, словно напряжение, которым он был охвачен в последние дни, оказалось напрасным. Над ним поднялось доброжелательное и красивое лицо Короткова с глазами, отливающими нежно-зеленым, как верхушка дерева. И вспомнилась ему почему-то верхушка елки, которую зимой вносят в комнату и которая упрется в потолок, так что ее подрубать приходится...



— Пожалуй, Осип Сергеич, я по твоей бумажке и прочту? — сказал Матвей устало. — Мне трудно будет изложить лучше.

— Вопрос серьезный и неожиданный, — сказал секретарь. — Он, собственно, был ожидаемым, а все-таки пришел неожиданным. Беда, если напутаешь.

— Что ж тут путать? Дело ясное. Ложись на платформу и уезжай, — проговорил недовольным голосом лысый рабочий, перебивавший в углу какую-то толстую папку с бумагами. — В городе, вон, сказывают, уже домовые книги жгут.

Он сердито захлопнул папку и вышел. Коротков крепко пожал руку Матвею. Матвей ответил ему тем же, и Коротков тоже ушел. В комнате остались секретарь и Матвей. Утро, свежее и прекрасное, врывается в окна. Отсветы золотых облаков играли по полу, скользили по шкафам и бумагам, и далекая небесно-голубая дымка заполняла комнату.

Матвей, то застегивая ворот гимнастерки, то расстегивая, спросил:

— Стало быть, партийная организация тоже поддерживает вопрос об эвакуации СХМ?

Ответ был ясен и без того. Но секретарь счел нужным проговорить самым авторитетным тоном:

— Да. В положительную сторону.

Матвей ухмыльнулся:

— А у меня Сварга собирался сегодня рекорд дать. Думали, из газет явятся, охнут. Вот тебе и охнут! Так... Значит, вместо разговоров о плане и производительности труда, мы будем обсуждать насчет эвакуации?

Секретарь молча указал на бумажки, принесенные Коротковым. Там говорилось и о важности импортного оборудования, и о других мотивах. Матвей, так же молча, кивнул головой. Секретарю показалось, что он хочет сказать: «Мотивы-то указаны, да вот правильную ли дорогу указали, не знаю».

Секретарь проговорил:

— Как кандидат партии, вы, Матвей Потапович, обязаны поддерживать директивы, данные свыше.

Матвей встал. Он широко раскинул руки. Голова его, как видно, кипела словами как иногда площадь кишит народом... но какой-то седой холодок мешал ему говорить длинно и так, как бы ему хотелось.

— Ладно. Поддержу. Выступлю! Хоть и противно.

— Нам всем противно уезжать, — сказал секретарь. — Но указания свыше. Местный вопрос с заводом надо уметь расширять до размеров всей страны, Матвей Потапыч.

— Да я уж расширил, — сказал, криво ухмыльнувшись, Матвей.

Он взял бумажки, принесенные Коротковым, и сунул их в карман. Секретарь еще раз напомнил ему час цехового собрания, и они расстались.

В этот же самый свежий и прекрасный час в большой квартире директора Рамаданова послышался звонок. Пришел доктор, бородастый, жирнолицый, с приятным голосом, от которого все испытывали удовольствие, — да и сам доктор в том числе. Приятно и вкусно насвистывая, доктор вымыл руки, спросил у жены Рамаданова, как спал больной.

Жена, высокая, сумрачная старушка, сказала, что больной совсем не спал, а писал всю ночь, а затем из штаба участка фронта пришли шифровальщики... Доктор сделал неодобрительное лицо, и неизвестно было, что он не одобрял: то ли, что старушка выбалтывает военные тайны, или то, что больной работает. Правда, температура у него вчера была нормальная, но это ничего не значит, — самый злостный грипп развивается, иногда, при почти нормальной температуре. С кислым лицом, доктор вошел в кабинет.

Солнце играло на осенних цветах; две вазы, синие и длинные вышались на столе. Пахло не цветами, а пролитыми чернилами. Доктор взглянул на стол, на больного, колени которого, поверх одеяла, покрывала большая карта завода и его окрестностей. Рука больного лежала на телефонной трубке.

— Телефонные разговоры вредны, — сказал доктор, присаживаясь на стул, возле кровати. — Температура?

— Нормальная.

— Самочувствие?

— Выжидательное.

На письменном столике вспыхнула красная лампочка. Рамаданов скинул одеяло, вскочил и, как был, босиком и в нижнем белье, бросился к столу. Было что-то высокое и радостное в голосе директора, и хотя сравнение могло показаться совершенно неуместным, но голос его звенел теми переливами, которыми звенит жаворонок высоко в матовой бездне, воздушной и весенней, когда встает солнце и гаснет последняя звезда. «Ведь, в конце концов, черт возьми, — подумал доктор, послушный взмахам ладони директора, которая мягко указывала ему на дверь, — ведь, черт возьми, существуют же старые жаворонки и тоже поют не хуже молодых, а, иногда, и лучше!»

Он прикрыл за собою дверь. Донесли слова:

— Москва? Говорит Рамаданов. Я просил соединить меня с Комитетом обороны. Да? Вот замечательно! Это кто? Иосиф Виссарионович? Здравствуйте!

Заложив пальцы за подтяжки и выпятив грудь, доктор вошел в столовую и сказал сумрачной старушке:

— Кажется, наш больной скоро выздоровеет. Если б я мог, я б ему ежедневно прописывал разговор с Москвой.

Старушка посмотрела на него с досадой. Она училась в Московском Университете и ей не нравилось, когда шутили над Москвой, даже в такой изящной форме, как это сделал доктор.

Доктор был человек крайне чувствительный, — а к своим мыслям, в особенности. Когда он говорил их вслух, лицо его от волнения принимало медный оттенок, как будто рядом вспыхивал костер. Поэтому, он редко слышал что-либо сзади себя, даже тогда, когда кто-нибудь и кричал бы. Не услышал он и крика Рамаданова, который, наклонившись над трубкой и глядя рукой стол, вопил в телефон:

— Я так и думал! Так и думал, товарищ Сталин! Замечательно! Конечно, насчет эвакуации — недоразумение, коренное! Да, я написал по этому поводу записку, докладную... Да. Как же! Уже и генералу Горбычу вручил. Замечательно! Ну, конечно, откуда туча, оттуда и ведро.

Глава двенадцатая

К сожалению, инженер Коротков не знал этой поговорки, относительно тучи и ведра. Впрочем, если б он ее и знал, вряд ли он смог ее применить. Он полагал: раз туча, значит непременно дождь, и поскольку его назначили главным распорядителем эвакуации завода, то он счел необходимым поставить перед партийной организацией вопрос о немедленном созыве цеховых собраний, не откладывая их до вечера, как это намечалось вчера в кабинете директора. Рамаданов не сообщил, что здоровье его лучше, доктор промывал в телефон что-то неопределенное, — поэтому Коротков даже и не позвонил директору, что собрания назначены на утро.

И не будь бы разговора Рамаданова с Москвой, все расчеты Короткова нужно было б признать правильными: если начинать эвакуацию, надо начинать ее немедленно. Ведь мало того, что обещаны вагоны и платформы, надо их получить, прицепить к ним паровозы и привести по ветке на территорию завода. Мимо города, на восток, прошло много эвакуируемых заводов, — и Коротков превосходно знал, что такое эвакуация. Кроме того, ему, как и всем, хотелось возможно скорее приступить к работе на новом месте, развернуть там, в Узбекистане, производство по системе Дедлова, выпустить возможно больше орудий...

Трусом его никто не считал. Все присутствовавшие в комнатке начальника цеха признали вполне естественным, когда он сказал Матвею:

— Время — не столько деньги, сколько жизнь. Давай пройдемся по твоей речи, Матвей Потапыч. Сократим?

И, насмешливо прищуривая глаза, он прошелся красным карандашом по тексту, напечатанному на пишущей машинке. Речь ему казалась убедительной, но длинной. Полюбовавшись на речь, он вернул ее Матвею, и они, под руку, вошли в цех.

День был раздражающе солнечным. Сквозь открытые ворота цеха быстрые лучи так и мчались к станкам, к бетонным дорожкам, падали на одежду, играли в волосах, грели глаза. Рабочие, спиной к солнцу, сидели на грудах металла, на листах фанеры, на ящиках с деталями, которые еще не увез транспортер.

— ...и вследствие всех, вышеуказанных причин, — читал Матвей по бумажке, напряженным и неестественным голосом, то повышая его, то понижая в самых неожиданных местах, — мы, рабочие СХМ, должны полностью поддержать мероприятия по эвакуации завода. В первую очередь, нужно вывезти импортные станки, как наиболее ценное и важное, в оборонном значении, оборудование.

Он набрал воздуха в грудь и остановился. Взор его пробежал по рядам рабочих. Он увидел сумрачные, худые лица; глаза их, несмотря на солнечный и жаркий день, блестели холодно и тускло. Прямо, против себя, он увидел лицо Полины. Оно поразило его той же сумрачностью, что читалась и на других лицах. Это растрогало его. Он вертел в руках листки и, чуть пошатываясь от волнения, прислушивался к этому захватывающему молчанию рабочих, к дыханию их, очень глубокому, но такому осторожному, что даже от него не шевелились волосы на голове.

Пауза получалась томительной. Коротков, председатель собрания, смотрел на него недоумевающе.

Недоумевающе смотрела и Полина. Перед тем, как прийти в цех, она ходила купаться. Волосы она носила в косу. Они у нее мягкие, густые, белокурые, и ей приятно было расчесывать их по утрам, а еще приятнее, оказалось, расчесать их у реки, стоя босыми ногами на мягкой теплой траве. Река обмелела. Однако, женщины нашли крутую и глубокую яму, в три ряда окруженную надолбами. Проверили — нет ли надолб на дне, и тогда стали прыгать в воду, визжа и плескаясь. Кто-то, шутя, крикнул: «Тревога!» Выскочили, а затем решили: пусть тревога, а они будут купаться! Предложила это Полина, и ей было очень приятно, что старая, костлявая работница Грачиха похлопала ее по бедрам и сказала: «Ничего, девушка, из тебя толк выйдет».

Полина поглядела в ласковые и дымчатые глаза Грачихи и благодарно покраснела. Полина втягивалась в радости и удовольствия рабочих, как ни мало оставила их война. Работницы приглашали ее в гости, она ходила с ними в кино, в баню. Деликатность их изумительна. «Право, только благодаря их деликатности, — думала Полина, — я и в состоянии сохранить свое странное “инкогнито”. Будь это раньше, скажем, лет двадцать назад, как можно судить по романам, сколько бы я вытерпела оскорблений?» Только два раза к ней приставали, и только два раза, обруганные, парни тотчас же отходили со злым выражением на похотливом лице.

Подумав о том, что парней отогнали ее меткие слова, Полина решила: нет, не слова! Их сдерживала общая дисциплина, а не одни моральные понятия, хотя и они, конечно, играли свою роль. И чем больше вглядывалась Полина, тем сильнее и выпуклее перед нею вставало нечто более сильное, чем та дружба и доброжелательность, которые, вначале, она ощущала всюду и которые она объясняла всем высоким, происходящим вокруг нее. Дисциплина, как масло тряпку, пропитывала все окружающее! Появлялись ли где щупальца мещанской самонадеянности, жадности или ссоры, тотчас же, как топором, они обрубались, и лишь обрубки уничтоженного корчились и валялись в ногах, мешая проходу. И на себе это чувствовала Полина. С нею никто не говорил ни о морали, ни о дружбе, никто ее не пытался «перевоспитывать», но все время кто-то в стороне покровительствовал и следил за ней, словно бы вечером рядом с вами молча шел провожающий, стесняясь того, что он вас ведет по незнакомому месту, где вы можете испугаться. И от этого мир перед Полиной расширялся необычайно. Уверенность в победе и раньше была в ней. Но, теперь эта уверенность, она как бы несла ее на крыльях! Чудеснейшее ощущение наполняло ее. Она забывала о ненависти к Моте, да и обо всем том дурном, от которого, конечно, мир еще далеко не избавлен и не скоро будет избавлен, она думала и повторяла только — «как хорошо».

И тогда она начинала пытливо думать о себе, отыскивая свое место в общем деле. Кто же она? Авантюристка? Искательница приключений? Как будто, нет. Романтик, который хочет вырваться из пошлости артистической жизни? Она не очень чувствовала эту пошлость. Тогда, значит, она — женщина революции? Неужели вот такие и есть женщины



революции? Она перебирала героинь многочисленных романов о революции, вспоминала мемуары, документы, — и не находила ничего похожего. Значит, она не типичное явление, а исключительная случайность, которых тоже немало в революции, как и всегда в жизни? И ей становилось обидно до слез. Бедная! Она не понимала, что оценивая так случайность, вынесшую ее сюда, она тем самым уничтожала ее и превращала в типическое, ибо не все ли равно, как приносится жертва отечеству: в строго организованной форме или так эксцентрически, как случилось с нею? Река может делать поворот и туда и сюда, важны не повороты, а важно то, насколько мощна и многоводна эта река.

Сейчас Полина смотрела на Матвея недоуменно и думала: «Кто и что заставило его говорить так плохо и плоско? Ведь он же мог отказаться? Неужели Матвей такой исполнительный, такой послушный? И кому это нужно?»

Словно бы понимая ее недоумение, Матвей, не дочитав, положил листки на стол. Коротков быстро схватил их и вернул ему. «Матвей, дочитай!» — говорил этот жест. Но Матвей уже отошел от стола и, почти приблизившись к первому ряду рабочих, так что колени его слегка коснулись колен Полины, сказал совсем задушевно и просто:

— Когда надо вывезти заграничное оборудование и побережь его, тут кто спорит? Вывезем. Но тут в листках... — Он повернулся к Короткову и насмешливо улыбнулся: — Ты забыл это написать, Коротков... совсем не говорится о нашем, советском оборудовании, которое мы сами делаем. Что, выходит, им и рискнуть нельзя? Допустим, вывезем заграничные станки. А я берусь там приспособить отечественные...

— К делу! — крикнул Коротков, вставая.

— Верно. Меня дело боится, — показывая на себя обеими руками, сказал Матвей. В рядах послышался хохот. Прихрамывая, Матвей прошелся вдоль ряда, глядя на лица рабочих. Он то поднимал руки, то опускал их, словно бы выуживая с лиц, как из реки рыбу, — желания людей, их мечты. Пройдя ряд, он остановился внезапно и сказал Короткову строго: — Вот я читал твою бумажку, и до того мне стало противно, что мы сейчас уедем, когда мы имеем полную возможность защищать завод.

Полина крикнула:

— Правильно!

Матвей медленно взглянул на нее и сказал сердито:

— А ты, гражданка, молчи! Не покрикивай. Я обращаюсь ко всем квалифицированным. Хотят они уезжать? Или хотят защищаться? Я гляжу в ваши глаза, товарищи, и от вашего имени могу обещать товарищу Сталину, — что, пускай, половина завода эвакуируется, увезет импортное оборудование! А вторая половина будет давать такое же количество противотанковой продукции, какое она обещала дать согласно системе Дедлова!

— А немцы? — крикнул секретарь парторганизации.

— Немцев придется бить, если полезут.

— Ах, если? — воскликнул Коротков. — Следовательно, вы предполагаете, что немцы и не полезут?

Директор Рамаданов сидел за письменным столом своего домашнего кабинета. Он был очень доволен — и тем, что говорил с Москвой и тем, что, притворившись больным, не стал беседовать с Матвеем и, значит, не поставил ни его, ни себя, в неловкое положение; и тем, что сейчас напишет красивый приказ об отмене вчерашнего приказа об эвакуации. Правда, частично завод надо вывезти, в особенности, это касается импортного оборудования, но даже при самой придирчивой оценке это нельзя назвать полной эвакуацией. Директор имел слабость считать себя большим стилистом. Мемуары, которые он собирался написать уже много лет, по его мнению, должны были изумить мир своей красотой. И сейчас, откинувшись в кресле, он смотрел в потолок, прищурив глаза. Перед ним, чудными узорами, как хороводы звезд в далеком небосклоне, сплетались и гасли замечательные фразы приказа. Бледноватые отблески строгости должны развиваться здесь, постепенно заливая темно-лиловые волны необходимости... Все шесть телефонов, внутренние и городские, зазвонили сразу. Директор, уже отвыкший от вздрагивания, поднял самую робкую трубку и раскатистым своим голосом прокричал:

— Рамаданов слушает! А, Коротков, здравствуйте!

— Беда, Ларион Осипыч! Все цеховые собрания немедленно же узнав о голосовании, произошедшем в нашем цеху, тоже голосуют предложение Матвея Кавалева. Литейный, инструментальный...

— Какое предложение Матвея?

— А вы разве не знаете? Он вынес предложение — не эвакуировать СХМ!

Глава тринадцатая

Уже в течение часа, после того, как цех вынес резолюцию, требующую отмены приказа об эвакуации СХМ, Матвей, от всех проходящих мимо его станка, раз десять слышал ласковое прозвище «Полковник», которое звенело теперь в цеху и по заводу, как звенит отпущенный колокольчик, подвязанный хлопотливым ямщиком, дабы не мешать дремоте его пассажиров.

А где-то на стадионе, расположенном позади завода, подле спуска к реке, мальчишки-«ремесленники» упражнявшиеся в шагистике и метании гранат, уже фантазировали, как было дело: сердитый, старый инженер приказал Матвеем бросить завод и бежать. Матвей схватил инженера за ворот — и скинул с эстрады. Оркестр заиграл. Заколыхались знамена!

— Похоже, верно, что полковник, — заключил рассказывающий.

— А думали — брехня!

— Повернул по-полковничьи, — сказал обучавший, но, опомнившись, строго закричал: — Прекратить разговоры!

Работа у «полковника» в этот день спорилась. «Да иначе и быть не может, — думал он, хлопоча так усердно, что приходилось время от времени останавливаться, дабы перевести дух. — Ведь я же правду сказал! И все поддержали меня, кроме блюдолизов».



И он оглядывал цех. Поверх стальных валиков, шестеренок, сверкающего на ярком солнце металла, поверх металлических стружек, капającego масла, на него смотрели умелые и умные лица. Каждое из них как бы подтверждало: «Поговорил о деле, и правильно поговорил! Надо меньше, чтоб защищаться. Так что ж, разве у тебя нет умения? И мы не поддержим тебя? Да на год сон прогоним, а СХМ не отдадим!» Он читал эти слова без напряженья и усилия. Он пробирался не в полутьме! Он шел под солнцем дружбы и преданности! Это была настоящая помощь!

И все же он понимал, что поступил неправильно. Ведь директивы-то были даны другие? Ведь острее-то он направил против кого? Он не назвал этого имени, которое он опроверг, но ведь всем ясно, что он выступил против Рамаданова. Против директора? Против «старика»? Он — выступил против старика? Того самого старика, о котором еще мальчишкой он слышал легенды, который три раза бегал из царской ссылки и два раза из тюрьмы, который, говорят, знал лично Ленина, который командовал в 1918 году отрядами против немецких оккупантов... И теперь, этого любимого всеми старика Рамаданова он почти назвал трусом и беглецом, спасающим свою шкуру. Ух, как плохо! Совсем плохо! Раздражение точило его. Он ожесточался против себя.

«И с завода погонят! И из партии погонят!» — думал он, вставляя резец.

Подошел сменный инженер и сказал сердито:

— Кавалев, идите к директору.

— К Рамаданову?

— Вы что же, предлагаете другого назначить?

Рабочие собрались возле него.

— И мы должны идти! — сказала Полина. — Мы все можем объяснить!

— Вопрос у нас технический, — сказал Матвей, — чего сгрудились? Возвращайтесь к делу.

Он понимал напряжение, охватившее не только рабочих его участка, но и рабочих всего завода и вызванное им, Матвеем Кавалевым. Он, как и все рабочие, понимал, что вопрос, по которому вызывают его к директору, далеко не технический. Пожалуй, что, в результате разговора, придется и покинуть завод. Покинуть? Но, куда? Добро бы в армию, а то ведь на улицу! Еще недавно он приводил сюда людей с улицы, учил их, делал квалифицированными, а теперь... Он поглядел на Полину и подумал: «Вопрос технический? Зачем соврал? Она тебе не врет, она говорит правду и хочет поддержать тебя, а ты?.. Нехорошо, Кавалев, очень плохо!»

Матвей знал гуманизм директора, его страсть к преобразованиям, реформам — и не только гуманитарным, но и техническим. А, как-никак, Матвей Кавалев тоже, пожалуй, реформатор? Не говоря о реформах по части фрезерного станка, — весь его участок цеха, вырабатывающий сложнейшую деталь «1-10», состоит, главным образом, из рабочих, которых он, Матвей, или обучил, или привел к станку от дела, не свойственного этим, ныне высококвалифицированным рабочим. Рябов — бывший ломовой извозчик. Гулямов, смешно сказать, чистил на Проспекте сапоги.

Тимофеева — прачка. Соловьев — весовщик товарной конторы. Полина Смирнова, помощница стахановца Петра Сварги...

— Вот что, товарищи. Рябов, Гулямов, Тимофеева, Соловьев, Полина Смирнова — все идут со мной к директору!

И он повторил свою мысль еще раз, когда сторож проверял у них пропуски в Заводоуправление:

— Раз вы мною выведены в квалификацию, вы об этом, в случае чего, и так скажите.

Сторож сказал:

— Верно! Будет тебе жара, полковник. Потому тех, кого он вызывает к себе на квартиру, тем бывает жара. Поддержите полковника, ребята. Его вызывают не сюда, а на квартиру к самому!

...Директор встретил их в столовой. В руке он держал стакан крепкого кофе. Он оглядел пришедших и, сразу поняв мысль Матвея, сказал:

— Мне нужен не хор, а ваша ария, — сказал он, со звоном ставя стакан на стол. — Вы что же, без адъютантов ходить не можете? Или вы прилаживаетесь к будущему управлению Наркоматом?

— Ни к чему я, Ларийон Осипыч, не прилаживаюсь.

— Позвольте, а разве не вы отменили приказ Наркомата об эвакуации?

— Я, Ларийон Осипыч, не отменял приказа.

— Ага! Что же вы сделали?

— Я высказал пожелания.

— Замечательно! Хороши пожелания! — Рамаданов с силой ударил себя по затылку и, багровея, закричал: — Вот где ваши пожелания, молодой человек! Они мне шею могут сломать. Значит, вы желаете оставить завод немцам, фашистам? Берите, милые, нам некогда заниматься производством орудий! Так?

— Нет, — с усилием сказал Матвей, чувствуя, что тоже багровеет и что это-то уж совсем плохо. — Нет... Я так не думал.

— Как же вы думали? Иначе? Что же вы хотели?

— Я хотел оборонять завод.

— А где силы для обороны?

— Да все там же, на заводе.

— На заводе? Вот я вам сейчас разъясню, что мы имеем на заводе.

Пожалуйста-ка в кабинет.

И он указал на дверь кабинета. Матвей не шевелился. Разговор принимал какой-то странный оттенок. Матвей, опасавшийся, что накричит на директора, оскорбленный его грубостью, понимал, что здесь, оказывается, какая-то особенная грубость, в конце концов нравящаяся ему.

Полина двинулась в кабинет первой. Матвей дернул ее за платье, а затем сказал всей своей бригаде:

— Вот что. Идите в цех. Мы одни поговорим.

Рамаданов, не возражая, направился в кабинет. Матвей, осторожно ступая, прошел за ним, прикрыв за собою дверь.

Глава четырнадцатая

Делая ударение на глаголах, генерал Горбыч говорил в телефон, что он заедет к нему часа через полтора... Внезапно, словно он скакал по пересеченной местности и теперь выбрался на холм, генерал усиленным голосом сказал: «Через час!» и положил трубку. В трубке щелкнуло, будто телефон делал ударение на точке. Рамаданов глядел на матовый, покрытый лаком аппарат, и ему еще чудилась высокая фигура Горбыча с длинными сивыми усами и шишковатым лбом, переходящим в розовую лысину. Даже эта лысина как-то украшала Горбыча, ибо все в нем казалось законченным: рост, голос, приноровленный к росту, отделанная подвижность движений, при виде которой всегда думалось, что этот человек сумеет все: лошадей объездить? Объездит; машину отремонтировать? Отремонтирует; а что касается того, чтобы обучить человека, то об этом и говорить не стоит...

Рамаданов посмотрел на Матвея. Он стоял у низкого шкафа, почти сплошь набитого изданиями «Академии». В руке он держал фотографию, сильно поблекшую. Хрустальное стекло и золотая рамка не восстанавливали блеклости, а только углубляли ее. Два молодых человека сидели у круглого стола. Завиток на виске у одного из них стал теперь седым и сильно поредевшим.

— А это кто? — спросил Матвей, удивленно глядя на фотографию. — Знакомое лицо... Ленин?

Он почтительно поставил фотографию на полку шкафа, подальше от солнечного света. «Старик» под его взглядом заметно приосанился и сказал:

— А что?

— Я всегда думал, — ответил Матвей, — что вы должны были сняться с Лениным. Я знал, что вы лично были знакомы.

Рамаданов схватил толстую книгу в заношенной суперобложке.

— Значит, вы мало читаете? — повторил он свой вопрос, который задал было перед звонком генерала.

Матвей ответил:

— Перегрузился. Поставил себя в безвыходное положение: днем работаю, ночью думаю о работе! — Он рассмеялся. — Честное слово, скажи — не поверят. У меня и сны-то чудные. Сплошь — либо винты, либо гайки.

— Книга есть аккумулятор знаний.

— Правильно.

— Следовательно, раз вы свершаете ошибки, то они вызваны тем, что вы редко прикасаетесь к этому аккумулятору.

— Тоже верно.

Матвей подтверждал слова «старика», а сам все время думал: «Когда же оно начнется?» Неприятная терпкая кислота, словно он проглотил стакан испорченного вина, наполняла Матвея. Пора начинать распекание! Чего он ждет? Почему он ходит вокруг стола?

Матвей еще раз поглядел на фотографию. Взгляд этот словно увеличил мучавшую его нравственную акустику тех слов и тех мыслей, которые не высказал еще Рамаданов, но которые он непременно должен высказать.

Но вдруг Рамаданов схватил люстриновую кепку свою, заношенную и выцветшую, и сказал:

— У нас есть еще около часа времени. Пошли в библиотеку. Я должен отобрать кое-какие книги.

Матвей ожидал, что «старик» скажет: «И вы, может быть, отберете кое-какие книги». Старик, кажется, и не подумал об этом. Тогда в голове у Матвея шевельнулась другая мысль: «А не считает ли он меня вредителем? Нет! Не похоже. Если посчитал вредителем, то не повел бы в библиотеку. Тогда, почему именно в библиотеку, в такое время, когда, того и гляди, налетят бомбардировщики?»

Они не спеша спустились по лестнице.

Лифтер подал Рамаданову несколько писем, которые только что принес почтальон. Рамаданов на ходу вскрыл их. Должно быть, письма были от давних друзей — это можно было узнать и по староверческому, нервному почерку на конвертах, и по множеству страниц в каждом письме, и по лицу Рамаданова, ставшему задумчивым и нежным.

Они подходили ко Дворцу культуры.

Женщины-домохозяйки укладывали поперек Проспекта валы из мешков с песком. Со стороны мешки походили на те длинные лессовые ограды, которые видел Матвей в Средней Азии и которые называются «дувалами», наверное, оттого, что их не смоешь и не сдуешь.

Послышались голоса домохозяек, здоровавшихся с директором. Рамаданов отвечал на приветствия, не сгибая туловища, а по-старчески слегка согнув колени. Две женщины, вытирая о юбки руки, подошли ближе. Одна из них спросила:

— Ларион Осипыч, а ты, неужто, за книжками?

— Читаю, читаю, — ответил Рамаданов.

И Матвей было подумал: «Так, значит, это для воодушевления ихнего он идет в библиотеку». Группы молодых людей с книгами под мышкой, обгоняющие на лестнице, заставили его откинуть эту мысль.

— Здравствуйте, Ларион Осипыч!

— Здравствуйте, товарищи!

Рамаданов шел, сняв кепку. Лицо его было торжественно величаво. Он с огромнейшим уважением смотрел на молодых людей, мобилизованных в армию и, разумеется, печалющихся от разлуки с домом, с милым, с заводом, — и тем не менее, нашедших время и силу, чтобы вернуть книги в библиотеку.

Кто-то из них сообщил главному библиотекарю Дворца, что сюда идет Рамаданов.

Силигура, библиотекарь и историк, встретил их на лестнице. Несмотря на жару, на нем был прорезиненный плащ, куртка суконная, жилет, шляпа брезентовая и галоши. Знай бы Матвей хорошо Чехова, при виде Силигуры непременно бы вспомнил «Человека в футляре». Но, Матвей

и плохо знал Чехова, и не привык сравнивать литературные типы с типами, встречающимися в жизни. Он лишь внимательно поглядел в тусклые, словно бы запыленные очки Силигуры, и, увидев за ними какие-то стертые и засаленные глаза, подумал: «Неужели у подобной личности можно найти интересную книгу?»

Рамаданов, между тем, радостно пожал тонкую, до смешного, руку библиотекаря и, обняв его за плечи, подвел к Матвею:

— Знакомьтесь: Силигура — библиотекарь. Кавалев — мастер и лицо, вполне самобытное.

Забавно наряжая свое тощее лицо в улыбку, Силигура сказал едко:

— Слышал. — И он сделал величественный жест рукой. — Пожалуйте в зал.

Конечно, не Силигуре было б приглашать посетителей в это высокое и величественное зало. Приглашение должен бы высказать кто-то в мантии с превосходным титулом адъютанта или чего-нибудь в этом роде. В качестве прилагательного здесь никак не мог находиться Силигура!

В каком-то сказочном акробатическом поступке, указывающем на ум и ловкость строителей, неслись вверх, к лепному потолку, витые колонны, промежутки между которыми заполняли шкафы с книгами. Впрочем, отовсюду шкафы, словно бы застывшие водопады мыслей, обступали посетителя. Книги стояли, как поступки прошлого и как действие настоящего: и в золоте, и в холсте, и в картоне, и в малюскине*, и в коже. Это были рассказы и о благороднейших поступках людей, и о подлейших насилиях, и об актах гнусной купчей, и полные актов обвинительных к строю прошедшему и к строю, существующему неподалеку, к тому, который идет сейчас к Проспекту Ильича, сжигая и умерщвляя вокруг себя все живое. Это были и сухие академические записки, которые не сцепит с вами никакая связь; и страстные возгласы гениев, которые употребляют слово, как власть, и это слово именно в таинственной власти соединяется с вашим сердцем так же ярко, как соединяется тлеющая лучинка с кислородом. Словом — это были тома книг, тех самых книг, которые всегда говорят вам, что они готовы сделать все, что от них зависит, — и которые, как никто, исполняют точно это обещание!..

Библиотекарь провел посетителей в свой кабинет, помещающийся рядом с залом. Стекланные стенки позволяли библиотекарю видеть и впитывать в себя ту радость творчества и знания, которая господствовала в зале и сияла в глазах и во всех движениях читателей.

Рамаданов говорил с негодованием библиотекарю, который сочувственно и быстро кивал головою:

— Я считаю абсолютным подлецом человека, укравшего книгу! И ее украли у меня! — Он потряс томом «Утраченных иллюзий», который принес с собою. — Вот почему я брал читать ее у вас. Ибо, каждый цивилизованный человек должен иметь у себя эту книгу: евангелие того, как капитализм уничтожает таланты! О, если б у нас сейчас написали та-

* Так в рукописи.

кую же книгу о том, как хотят погубить фашисты наши таланты, уже в прямом бою...

Рамаданов бросил книгу на стол, говоря этим движением, что крайне сожалеет об отсутствии такой пламенной книги о современниках. Затем он прикрыл дверь, положил руки на плечи Матвея, подвел его к креслу, расположенному против кресла, за которым обычно сидел Силигура, и лукаво улыбаясь, сказал:

— Я хочу вас попросить, Владислав Николаич, об одном одолжении. Ваша «История СХМ» — чем больше я о ней думаю, тем сильнее убеждаюсь в этом — блистательный подвиг мысли. Изъявляю вам свою преданнейшую благодарность! Но, одно дело — действие на расстоянии, другое — действие в лоб. Приведите ее в движение.

Силигура, видимо, очень польщенный, быстро закивал острой головой с острой же бородкой и низко наклонился над выдвигным ящиком стола. Оттуда донесся его глухой голос:

— У меня уже написано восемь томов. Какую главу огласить желаете?

— Ту самую, где говорится о Матвее Кавалеве.

Силигура вытащил толстую, так называемую, «конторскую» книгу, разлинованную синим и красным и до половины затянутую в мохнатую материю, с глубокими выемками к краю. Он полистал ее, нашел главу, и без всякого предисловия, не глядя на слушателей, стал читать:

— Глава тридцать восьмая. «История завода сельскохозяйственных машин имени Кирова». Вот... третий абзац. «Многие растения при отсутствии благоприятного ветра оказались бы без семян. То же самое, по моему, произошло бы с Матвеем Кавалевым, стахановцем нашего завода. Видел его сегодня на улице. Он говорил резко с деревенской девушкой. Узнал ее имя. Мотя. При желании он мог бы говорить лучше. Из чего вывожу заключение — заносчив, горд и, хотя не лишен способностей, но без старания не добраться ему до берега долга, ибо это зависит от воли. Ломоносов, при полном отсутствии благоприятных условий, вышел в великие ученые. Жизнь — не прогулка за грибами...»

И он захлопнул книгу.

— Пока о Кавалеве все, Ларийон Осипович.

Глава пятнадцатая

Матвей положил несколько библиотечных книг, которые взял директор, на диван. Дверь в кабинет была плотно прикрыта, но звуки из нее неслись такие мощные, словно ее распахнули настежь. Тем не менее, директор предостерегающе замахал на Матвея руками, когда тот опускал книги: не потревожить бы декламирующего! Рамаданов старался не шуметь и поднялся на цыпочки не от почтения к таланту декламатора, а потому, что чтение указывало — генерал Горбыч находится в большом волнении и чтение ускоряет в нем разрядку этого волнения. «Хорошо считаешь, — говорит генерал, — хорошо и придумашь!»



Чорна хмара з-за Лиману
Небо, сонце криє.
Синє море звірюкою
То стогне, то виє.

Дніпра гирло затопило.
«А нуте, хлопята,
На байдаки. Море грає —
Ходім погуляти!»

Голос понизился. Рамаданов подморгнул. «Теперь пора», — говорила его гримаска. Осторожно ступая, точно накальваясь на стекла, Рамаданов приоткрыл дверь и сделал плечом движение по направлению к Матвею — входите, мол. Матвей вошел.

Высокий генерал стоял к нему спиной у открытого окна. Какой же у него голос, если, уходя на просторы Проспекта, он еще с такой силой звенит в комнате? Он держал в руке «Кобзар» и, читая, делал такие движения всем телом, точно прилаживался к чему-то громоздкому и большому, к чему крайне трудно применить. По широкой его шее, скрываясь за воротником, скользили крупные капли пота. Лысина тоже была потная. И, глядя на этот пот, только сейчас Матвей понял: как же жарко в воздухе! Одежда показалась ему липкой, сапоги, горячие и сухие, плотно прилегали к ногам, управлять дыханием было трудно.

Пливають собі та співають;
Рибалка літає...
А попереду отаман
Веде, куди знає.

Генералу, несомненно, чудилось: широкая река, плещут весла, колышутся камыши, восхитительные чайки, бросая с крыльев блестящие искры воды, взметываются вверх словно дивные весла. Атаман, коренастый, властный, предмет удивления всей Туретчины, Польши и России, не говоря уже об Украине, сидит впереди. Темные недвижные воды восхищаются его черными усами, его лицом в шрамах — а он любит свои сподвижниками, насколько это допустимо по дисциплине...

Матвей задел о стул.

Генерал Горбыч отошел от окна, медленно повернул свое лицо к вошедшим. Матвей увидел длинные усы, загорелое до лба лицо, широкий, со шрамом посредине, подбородок и желтоватые от старости, по-юношески веселые глаза, наполненные слезами поэтического восторга.

Походжає вздовж байдака,
Гасне люлька в роті;
Поглядає сюди-туди —
Де-де будь роботі?

Закрутивши чорні уси,
За ухо чуприну,
Підняв шапку — човни стали.
Нехай ворог гине!

И, точно тот атаман, генерал поднял книгу, как шапку, над головой. Матвей ожидал, что он скажет тоже что-то необычное своим огромным голосом. Но генерал сказал спокойно, совсем деловым тоном, даже не подчеркивая, как он всегда делал, глаголов:

— Ларион Осипыч. Командование, старый, одобрило вашу цидулу. И на основе ея, и на указаниях Москвы, выработало план. Вам известно?

Рамаданов, пожимая руку генералу, сказал:

— А это Матвей Кавалев.

— Матвей Кавалев... — И генерал, не останавливаясь, подошел к столу, на котором лежала карта завода и окрестностей, и, тыча проворно отделанным ногтем в разные места карты и дыша табаком в лицо Матвея, спрашивал быстро: — Видите Проспект Ильича? От него — мост? А вправо — цеха? А тут — откос? А возле откоса — стадион? А по откосу — огороды и смородинники?

Он зло спросил у директора:

— Где этот рационализатор, который смородину разводил? Тополя б хоть разводил, голова. Сейчас бы мы их порубили, повалили, завал бы устроили...

Он вернулся к шкафу, сел на диван, расставив толстые ноги в длинных сапогах. Глаза его сузились. Он дышал тяжело. Лицо у него стало утомленное и холодное, словно он думал, что отныне уже ничего не случится любопытного.

— Эх, золото в мыслях, а дерьмо в делах! — проворчал он. И, помолчав, добавил: — А вам, Кавалев, известно, что река против заводского откоса мелка?

Упрямый огонек сверкнул в глазах Матвея. Он понимал, куда гнет генерал. Матвей наклонил голову.

— Известно? — с притворным удивлением воскликнул генерал. — И, может быть, вам также известно, что немец, приготовив артиллерией себе дорогу, попробует переправить через реку танки, как раз против того откоса?

Матвей молчал.

— Какова, хлопче, фабула? И, если вы, рабочие, не покинете завода, то как же моя армия будет сражаться на его территории? Или вы предполагаете в последний момент взорвать оборудование и уйти с завода? Вместо того, чтобы увести его?

— Взорвать легко, — отозвался директор, — тут мотора не требуется. Полетят цеха вверх, как миленькие, быстрее самолетов!

Матвей понимал, что они подсмеиваются над ним. Это раздражало его. Зачем? Почему? Кому нужно, чтобы два образованных и старых человека подсмеивались над молодым, пусть горячим, но в сущности, перед ними совершенно беспомощным парнем?



— Так как же, Каваль?

Матвей решил не отвечать на насмешки.

Генерал перелистывал «Кобзар». Рамаданов взял с маленького стола, у кровати, рецепт доктора и, скатав его в трубочку, бросил в низкую плетеную корзинку. Молчание становилось тягостным. Рамаданов прервал его:

— Матвей. Защищать СХМ? Или нет?

Он повернул раздосадованное, широкое лицо к генералу:

— Не правда ли, странно? Генерал, директор завода и рабочий обсуждают: быть Бородину или не быть?

— Положение было б похуже кутузовского, не будь наши времена получше александровских. Так что ж вы думаете, хлопче?

Матвею показалось, что насмешка, звучавшая раньше в их словах, ослабела. Или он оправился и посмелел? Он сказал:

— СХМ надо защищать. Эвакуировать нельзя.

— Какими силами защищать? — резко спросил Рамаданов.

Генерал жестом остановил его и обратился к Матвею:

— Вам, видимо, Кавалев, известны основные качества полководца?

— Да.

— Извольте сказать.

Матвей выдержал взгляд генерала не потупившись:

— Главное: действовать сообразно реальным данным. Вот и все.

— Какие же реальные данные в ваших действиях, если вы взяли на себя смелость отстаивать СХМ и город?

— Есть реальные данные, Микола Ильич. Вот Ларион Осипыч считает гибельной мою меру: оставить завод на месте. А я, извините, Ларион Осипыч, считаю ваше предложение гибельным не только для завода, а и для города. Почему? Потому, что фашистам, полковнику Паупелю хочется захватить наш город. Мои сведения какие? Ну, идут колхозники, отступают рабочие из совхозов — вот и поговоришь. А они все в голос: командир этот знаменитый, Паупель, никогда такого большого города не брал, очень рвется... Вы меня извините, Ларион Осипыч.

— Нет, почему же, продолжайте.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал генерал.

— Ему, говорят, даже генеральского чина не дали, чтобы, значит, вида не испортить. Очень уж знаменито: «полковник Паупель»...

— Полковник фон Паупель.

— Извините. И я так считаю, что чем человек знаменитей, славней, тем он напористей, и тем он скорее может башку сломить...

— На себя оглянитесь, — пробурчал Рамаданов.

— Ну какая у меня слава, Ларион Осипыч? Придумал три лишних гайки да три резца, у меня и слава-то с ихней размер. Нет, полковник фон Паупель куда выше! Так вот — разрешите вернуться к основному вопросу? Полковнику фон Паупелю, как я думаю, хочется город захватить. Это он зря! Ему надо бы город-то наш обойти, отрезать, а он отрезать боится, потому что фланги у танковых войск всегда укреплены слабо, и генерал

Горбыч, человек ловкий, способен по тем слабым флангам ударить. Вот он и боится город отрезать...

— Следовательно, вы считаете, что он будет штурмовать город? — спросил генерал.

— Обязательно!

— И вам хочется тот штурм отбить?

— А как же! — улыбаясь во все лицо, ответил Матвей. — Мы для этой цели и работаем. Мы пушечек наделаем, снарядиков отольем, — пороху насыпать да и трах-трах! Честное слово, зря вы на меня сердитесь, Ларион Осипыч!

Он развел широко руками, как человек, приклеивающий объявления, и потупился, стыдясь своей вспышки. Воспользовавшись этим, генерал и Рамаданов переглянулись. Одобрение и радость светились в их глазах. Матвей не заметил ничего. Когда он поднял глаза, генерал, высоко подбрав ноги, сидел на диване.

— А не кажется ли вам, Матвей, — сказал генерал, — что ваше желание воевать, и в обстоятельствах для вас, лично, удобных, преувеличивает ваши знания, называя конкретным и реальным то, что и беспочвенно и абстрактно?

— Я об этом думал.

— И?

— Я реально учитываю обстановку. Мне, верно, воевать хочется. Но если вы не дадите мне винтовку во время боя, а велите стоять у станка, я буду стоять.

— Боюсь, что не выстоите!

Матвей потупился. «Кто знает, вам виднее!» — говорило это движение.

Генерал вскочил:

— Каваль! Поднимите голову.

Рамаданов тоже воскликнул:

— Безусловно, вы, Матвей, имеете право держать ее как следует!

Матвей поднял голову и застенчиво посмотрел на них. И им стало неловко — зачем они мучили этого, может быть, и пылкого, но уж совершенно честного человека, которому можно довериться с первого взгляда. Генерал повел шеей, словно освобождая ее от воротника. Он подошел к окну. Директор взял оставленный генералом на диване «Кобзар» и, низко склонившись над ним, стал его перелистывать, точно отыскивая те строки, которые б могли ответить его душевному настроению.

Вдруг генерал, упершись толстыми пальцами в подоконник, сказал, прямо глядя на Матвея:

— Вы, действительно, полковник?

Было в тоне его голоса такое, что вы слышите, когда спутник, шедший с вами рядом, внезапно говорит, что до города, куда вы шагаете уже целый день, вместо предполагаемых тридцати километров, осталось — пять.

— Нет, товарищ генерал-лейтенант. Командовал я взводом, когда упал с коня и повредил ногу...

— Откуда же пошло, что вы полковник?

Матвей молчал, не желая позорить отца, и в то же время не желая врать.

Сильное возбуждение отразилось на лице Горбыча. Фигура его вытянулась в линию и, идя чуть ли не церемониальным шагом, он близко подошел к Матвею и, раскрывая объятия, во весь голос закричал:

— А вы, черт возьми, Каваль, если вас народ считает полковником, должны оправдать этот чин! Вы понимаете ли, хлопче, что вы, фрезеровщик Матвей Каваль, одновременно с командованием участка и вместе с директором Рамадановым, пришли к мысли, что есть возможность защищать завод? А? Одновременно с Москвой? А?.. Вы знаете, что есть возможность выпустить энное количество важнейших сейчас орудий и выпасть из них в морду фашистам? Вы знаете или нет, что эту нашу мысль одобрил Сталин?!

Когда он говорил эту длинную тираду, все, стоя, слушали его с торжественными лицами. Но когда он окончил и сделал такой взмах руками, который означал: садитесь, они сели, где кто стоял. И все на мгновение преисполнились сознанием — здесь происходило испытание мужества, настойчивости и предвидения, всего того, чем славен издревле человек; и испытание это совершилось преблагополучнейше. Матвей, опустившись на стул, испытывал странное состояние. Какие-то влажные и приятные волны на мгновение охватили его. Он прикрыл глаза. И он вспомнил отрочество, когда однажды испытал точно такое же состояние.

Он любил. Сейчас ему ни нарисовать себе ее лица, ни вспомнить ее имени. Он хотел уведомить ее о любви и, хотя и тогда не был робким, письмо казалось ему более способным уместить в себе все его чувства. Был ноябрь. Он нес письмо через влажные и приятные сумерки; зима поздняя, снегу пало мало, да и этот, упавший, в сумерках казался тоньше себя. Длинный хвойный лес окончился. Матвей вышел к станции. Он вытащил из-за пазухи письмо. Рука его прикоснулась к холодному, крашеному железу почтового ящика. Последний раз он увидел марку, адрес... Письмо стукнулось о дно ящика, как бы жалуясь на свое одиночество... И вдруг, почему-то, Матвей вообразил себя этим письмом, несущим страстные и почти воспаленные слова. Он мысленно, — и даже, пожалуй, более отчетливо, чем перед тем, — увидел опять голубой конверт, отливающий гляncем, адрес, и приклеенную наискось красивую марку. И он почувствовал себя так великолепно, ощутил такое могущество, красоту, ум и счастье, что нельзя было б никогда и вообразить, будто можно чувствовать себя так чудесно!..

(Продолжение следует.)

Владимир КОСТИН

ЭПОХА ВЕЛИКОЙ ЗАСУХИ

С огромным удовольствием, с юношеским волнением прочитал в шестом номере «Сибирских огней» интервью с Михаилом Тарковским («Мастеровое слово»). Как художник, как сознательный, одухотворенный русский человек он идет верной стезей, и я готов подписаться под каждым его словом.

Мир, в который он себя откомандировал и по законам которого судит, мне дорог и близок — я вырос на южном Енисее (слово эвенкийское), там, где великая река две тысячи лет называлась Хем (слово тюркское). Коренная сибирская речь и весь жизненный уклад, ее породивший и напитавший, — для меня родное, кровное, «язви меня».

Но уже сорок с лишним лет я с нарастающей печалью живу в Томске, большом областном городе. Томск — город университетский, где еще совсем недавно общались на русском языке едва ли не лучше всех в провинциальной России.

Но, может быть, именно поэтому все болезненнее, все острее ощущаю разительное падение уровня языкового общения, собеседования между людьми — в нем не обогащаешься, испытываешь кислородное голодание. Могучее давление сегодняшней цивилизации усредняет все подряд — и старый, заслуженный Томск склоняется перед ним, теряя ненадолго вспыхнувшую память, увековеченную в достойном его слове.

Достойное слово вытекает из достойной жизни, окормляя ее.

Сегодня уважающий себя человек гораздо чаще находит полноценное общение в книгах, во встречах с умершими светочами былых времен. Познать себя и мир в речевых потоках нашей фельетонной эпохи невозможно. Но в том-то и дело, что желающих понять и познать себя и окружающий мир становится все меньше. Критически и, может быть, судьбоносно меньше. А ведь такое познание ведет к ответственности, требует поступков. Еще поколение назад голодная, нищая Россия заговорила вся, «от Москвы до самых до окраин», и заговорила свободно, интересно, образно и — наивно, жадно осваивая запретные массивы истории и литературы. На последние деньги люди выписывали громкие и емкие столичные журналы, разбухавшие в миллионных тиражах. Ныне те журналы сохли, и читает их мало кто, и читать в них мало что. И это обнаружилось как раз на пике относительной нашей сытости. Очевидно, что мы были одушевлены надеждой на достойную жизнь, жизнь справедливую, «не по лжи». Очевидно, что жажда чтения и культура «умственного ристания» имели мощный инерционный посыл с советских времен. Вспомним ошеломительный взрыв «оттепели»,

вспомним, что гниению брежневской эпохи противостоял всенародный культ Пушкина.

Не в потере ли надежды, общенационального упования суть проблемы? Не в этом ли корень того, что народ раздробился, что чудовищное социальное неравенство, разлагающее ныне даже университеты, опустошило людей, принудило их при нынешнем запредельном темпе существования общаться сугубо прагматически или в русле дешевого, сиюминутного гедонизма с помощью нескольких сотен слов? (Расхожее: ректор вуза — «читаю всякую дрянь в самолетах, нет на другое времени»; ребенок не общается со сверстниками, «сидит в Интернете» и половина его словаря — англицизмы из компьютерных игр; в полумиллионном городе единственный выпускник школы сдает литературу на нынешнюю корявую пятерку; в вузах исчезают златоусты — им некогда и не для чего быть, и не из чего.)

Что же с нами происходит и кто в этом виноват?

Впрочем, позволю себе небольшое отступление.

И в повседневно-бытовой, и в культурной практике мы пользуемся словами «язык», «речь», «слово» как синонимами. О писателе говорят: «У него хороший (плохой) язык» или «У него богатый (бедный) словарь». Ахматова: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Бунин: «Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бессмертный — речь». В поэтической традиции имеется в виду одно и то же: родной русский язык, он же речь, он же слово, есть высшая национальная ценность, хранитель и гарант единства и развития народа и даже заступник его, его сокровищница, духовная, эстетическая, историческая; символ его «неопалимости», именно бессмертия, его сплошная память. И не случайно сама эта тема звучит в грозowych, роковых исторических контекстах, когда надо «всем миром помолиться», когда встает вопрос о судьбе народа — «быть России иль не быть».

Но в логике нашего разговора уместно вспомнить курс общего языкознания и Фердинанда де Соссюра, который давным-давно различил, разграничил лингвистику языка и лингвистику речи, синхронию и диахронию в бытии слова, его «всегдашнее» и «сегодняшнее».

С этих позиций мы рассуждаем сейчас не о русском языке, а о сегодняшней русской речи, то есть о том, хорошо ли живет русскому языку в нашу злонравную эпоху, сыт ли он, обут, одет, не в чужих ли людях он живет и не обижают ли его? Бывает по-всякому: и микроскопом забивают гвозди. Чеховский гимназист, играя с детьми, кладет на кон рубль, а дети не согласны — ставь копеечку.

Язык же живет в «в большом времени культуры» (Бахтин), постоянно сопротивляясь истории с ее иронией. Материально он воплощен в фундаментальных словарях-лексиконах, обложенных грамматиками (морфология, синтаксис, орфография, стилистика, орфоэпия). Язык невероятно устойчив и всегда способен к возрождению и санации, как птица Феникс. Язык переваривает все и, развиваясь, всегда в конечном счете берет нужное и отбрасывает рано или поздно ненужное, наносное, балластное. Он сильнее нас, сильнее чьей-то злой воли. Он переживает эпохи расцвета и болеет, но пока существует хотя бы один том словаря и один-единственный его читатель — язык жив и может рассчитывать на самое блестящее будущее. Да, многие языки исчезли бесследно с истреблением или растворением носителей, многие, к счастью, остались достоянием хотя

бы кучки ученых энтузиастов, но на наших глазах произошло, например, фантастическое, праздничное воскрешение иврита как общенационального языка, вернувшегося в повседневность на всех ее этажах.

Язык, повторюсь, носитель всей совокупной памяти, опыта, ценностей народа. Каков язык, таков и народ, во всех его поколениях. Язык — духовная и материальная казна народа, его копилка. Иногда он превращается в клад, хорошо упрятанный, но клады ищут и находят.

Русский язык — из богатейших в мире, русская литература — из величайших в человечестве. Русский язык соответствует многочисленности и многообразию нашего народа, разнообразию наших ландшафтов, нашей безумной и мудрой истории, лабиринтам нашего исторического и психологического опыта, нашего менталитета (вот полезное слово от добрых французов!), нашей веры, и — особая статья — уникальной широте контактов с другими народами (в этом смысле подобного языка у человечества просто нет).

Полтора тысячелетия мы общались с тюрками и обогатились знаниями и словами, связанными с оружием, с коневодством и конницей, степным меню и гардеробом, топонимикой и т. д. Монгольская эпоха с ее Ясой принесла в наш словарь массу терминов военных, политических и хозяйственных, а ямщик стал символом России. Принятие христианства подарило нам церковнославянизмы и грецизмы, прямые или в церковнославянских кальках — и мы по-новому и основательно заговорили о Боге, о душе, о нравственности, о мироздании. Эпоха Петра открыла двери для немецкой и голландской военной, технической, административной, бытовой терминологии. Галломания XVIII—XIX вв. (при том что французский язык стал языком элиты и ее высокомерной изоляции от народа) помогла нам на путях общественного, психологического и эстетического самосознания, научила нас различать тонкие, изысканные, нюансированные явления в себе и окружающем нас мире. Мы обрели вкус и отвращение к пошлости...

И все это оказалось нужным, полезным, своевременным, нашим — как дрожжи для хлеба. Мы — евразийцы, «скифы мы», «нам внятно все — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». «Внятно» — потому что необходимо, потому что искалось как свое, отвечало внутренним потребностям растущего национального организма. И в этом собрании, в этом пчелином опылении русского языка другими — наша сила. Феноменально красива эта «всемирная отзывчивость» русских, нередко знающих (или теперь уже — знавших?) чужую историю и культуру лучше ее непосредственных забывчивых носителей.

Язык — это храм, согревающий паству и ответно согретый, намоленный ею. Но, увы, храм, оставаясь храмом, бывает заброшен, а то и осквернен. Заимствования бывают полезны, как правило, осуществляясь на встречном движении, — и вредны, когда их втягивает в себя пустота, вакуум, когда «свято место пусто». Тогда лекарство превращается в яд, и вопрос тут не только в дозировке (вакуум готов втянуть все), но и в том, что дрожжи встречаются не с живым тестом, а с гниющими отходами в отсутствие всякой гигиены. Пустая бензиновая бочка взрывается.

Речь — это язык, прописанный в конкретной эпохе, сюжет языка в ней. Она выражает ценности (или моду, свичаи и обычаи) данной эпохи, ее потенциал,

ее темп и даже ее акустику. То, что в ней есть, и то, чего в ней нет. Речь — первый и главный показатель благополучия или убожества нации, она свидетельствует об этом объективней и глубже любых цифр, графиков, властной демагогии и дифирамбов, ибо и самовосхваление не по делу бывает вопиюще убогим. И если люди, живущие здоровой жизнью и владеющие одушевленной, богатой, гармоничной речью, сбиваются, как собеседники-соседи Михаила Тарковского на окраинах общества, страны (куда и не добирается цивилизация), значит, плохо дело, россияне, и «зови своих мертвых, Россия!»

Русская речь в современной России производит удручающее впечатление. В массе своей россияне говорят и пишут так, как будто и не было великой русской классики, как будто они представители молодого, незрелого и бездомного народа, который, не очень-то веря в себя, не прозревая никакого для себя будущего, готов стать добычей любого хорошо одетого интервента-цивилизатора, предлагающего ему, как младшему брату, нехитрый, но по-своему надежный опыт коммуникации (за которым прячутся ценностные императивы, рожденные на чужой почве и в чужих нравственных ориентирах). Потому что цивилизатор живет хорошо, а россиянин — или плохо, или непонятно как.

Это речь людей, которые не читают глубокую литературу, словарь которых осыпался до бытового минимума, зато изобилует штампами и клише (Интернет, кино, шоу-бизнес) — и открыт настежь для чужого, такого авторитетного слова.

То есть современная массовая русская речь отражает ту редкую ситуацию, когда заимствования системно неорганичны, навязаны искусственно и даже злодейски целенаправленно. Они противоречат душевному строю, историческому опыту уцелевших россиян и, как показала практика последней четверти века, не имеют никакого отношения к доброкачественному национальному созиданию, строительству новой реальности для себя, для своих детей. Русская речь отчетливо деградирует в интересах, так сказать, Дяди. Так говорящий человек нужен, любезен Дяде.

С одной стороны, за заимствованием обнаруживаются не полезные нам подделки «как это понять и обозначить», но последовательные лукавые подмены смысла понятий, когда предлагаемое новое слово или термин, казалось бы, внешне соответствует нашему опыту, нашим моральным принципам. Тарковский приводит замечательные примеры таких подмен, в совокупности, по сути, прямо угрожающих нашей безопасности, нашей идентичности, потому что за этими словами поднимаются сомнительные инициативы — поддерживаемые в России на государственном уровне. И особенно это опасно в деле воспитания и образования, где под напором гг. Фурсенко и Ливанова невежественные и черствые педагоги последнего поколения (подмявшие своих безвольных коллег, которым все это омерзительно, но надо же как-то кормиться) сознательно трудятся по чужим лекалам, опошляя и стандартизируя юные умы и души. Детей умело, разумно делают духовно нищими и пассивными еще до того, как они поймут, сколь ужасна духовная нищета. Чтобы не мучились.

И все это впечатляюще последовательно, как прививки в детском возрасте.

А взрослому россиянину прививается, например, слово-термин «толерантность». Оно призвано заменить в гуманитарно-правовой нише русское слово «терпимость». Почему «толерантность» так часто и настойчиво звучит со всех общественных трибун? Оно «глубже», «современнее» своего русского синони-

ма? Уверяют, что оно «удобнее», поскольку «общесовременное», что оно сближает нас с Западом, как общий пароль. Допустим, в этом может заключаться какой-то резон. Но почему же при внимательном изучении смысловых контекстов, в которых оно употребляется, хочется воскликнуть: ой ли? Куда подевался вертоград многоцветный гуманитарно-культурного значения?

Для нас, русских, терпимость связана и с пониманием, и с диалогом, и с сочувствием, и с интересом к «ненашему». И всегда имеет в виду отношение к чему-то, обусловленному конкретным коллективным культурным опытом, но и едиными для всех добрых людей заповедями Христа или Магомета. Толерантность (неслучайно в ходу у нас грубо-ироническое словечко «толераст») равнодушна ко всем этим смысловым рядам и этике, национальным традициям — и фактически имеет в виду безразлично какого отдельного человека, очень даже отдельного, и при этом нас не должна волновать никакая его выразительность. Сухо, юридично, люди одинаковы, из всех смертных грехов уцелело разве что убийство. Все прочее связано с покушениями на права человека.

Мы — обитатели эпохи, в которой индивидуализм борется против индивидуальности.

С другой стороны, поражает, что 90 % заимствований замешаны на потребительской, все расширяющейся во времени и пространстве деятельности человека. О бренды-тренды, о шопинг, о гаджеты! Вами измеряется наш современник, вами он и одушевлен! И впервые в истории человечества «минобнауки» г. Ливанов провозглашает: «Наша цель — создание цивилизованного потребителя!» Не дом, не семья, не Отечество. Какое же неотвратимо злое и немое, тупое и скучное одиночество ждет нас в этой ливановской утопии, где поклоняющийся мамоне зевающий человек будет убивать скуку бесконечными поисками утех для тела и поводов для обезьяньей спеси!

Потребитель — это человеческая особь, у которой булки изначально появляются в булочной. Ему не нужно знать про климат, землю, зерно и поэзию труженика, лелеющего хлеб. На его книжной полке (если она вообще у него есть) или среди его файлов немислима книга С. В. Максимова «Куль хлеба». Там место справочникам, каталогам товаров и цен, узкопрофессиональным пособиям.

Дьявол прячется в деталях. За моими окнами — недалеко старый храм, а совсем близко, под балконом — зады школьного двора, спрятанные за деревьями и теплицей. Школа считается одной из лучших в городе. Осенью и весной здесь собираются десятки старшеклассников — на переменах, после уроков и вечерами. Курят, пьют пиво или что-то покрепче и активно, «клубно» общаются. Я их не разглядываю — я работаю за письменным столом и слушаю их в свои перемены. Слушаю два года, и внимательно: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Мне не стыдно, потому что общаются они громко и часто просто орут, навязывая мне и прочим обитателям большого дома свои тайны, свои «отроческие забавы». На пятом этаже мне «внятно все».

Я не ханжа. Я хорошо помню свои школьные годы. Моя школа вообще была лучшей в моем родном Абакане. Но мы тоже курили и матерились — чаще из конформизма и желания выказать свою зрелость. Мы тоже иногда выпивали и обсуждали девочек (в их отсутствие, конечно) и учителей, нередко беспощадно обзывая их последними словами. Эти дети не злее нас тогдашних. Охламонство в нас общее. Но в целом и главном они другие.

Я узнаю их по голосам. С десяток мальчишек и девчонок — точно. Но если бы их речи положили мне на стол в распечатанном виде, я не узнал бы в них ни одного, сработала бы только категория рода. Говорят одинаково и об одном и том же. Тематика узкая, как горная тропка. Мир вещей (товаров), хороших и плохих. Развлечения и «приколы». Личные их отношения во всей, увы, неприглядной обнаженности, наконец. Бессознательная, подаренная веком виртуальной свободы, эстрадность их громкоговорения и громкоматерения ужасает. Мы были куда стеснительнее, понимая так же бессознательно, что наше место в мире — маленькое, а голос — тоненький. А для них мира, где живут другие люди, и взрослые люди, словно бы и не существует. Они сами мир. Они, 15—16-летние подростки, никогда не говорят о старших, о родителях, о городе, в котором живут. Даже учителей — и тех на моей памяти упомянули три раза и очень лаконично. Одного назвали козлом, другую дурой, третью — хипстершей. Мы были равнодушны к учителям, любя и негодуя. Этим отрокам учителя «по барабану». Их герои — они сами, все сюжеты — в пределах возрастного коридора. История, политика — за его пределами. И особенно меня изумляет, что за два года моих «парламентских слушаний» я ни разу не внимал разговору о книге, любой книге, или о чем-нибудь добром, ярком поступке: вот Серёжка молодец, он... Нет. Тонус речей — хвастовство, агрессия, игровая или настоящая, и досада — вот, бл...

Девочки выпивают, курят и матерятся вместе с мальчиками. И в матерщине, пожалуй, будут помастеровитее и погромче — они такие непосредственные!

Вот оно, наше время, думаю я, вот они, грядущие цивилизованные потребители, вот долгожданная гендерная революция и идеалы «золотого миллиарда»!

Качество их речи, их интонации соответствуют тематике. В их словаре 500—600 слов, и говорят они безграмотно. Кажется, что это делается нарочно, ибо ну не может же такое быть. Речь — голая, лишенная даже простой бытовой образности, постная в контраст крикливости. Целые фразы, интонационные ходы разоблачают их клиповое сознание, выражающееся сплошь в их клиповой речи. Я отчетливо узнаю в их диалогах автоматические цитаты из популярных американских фильмов с их тупым, животным юмором — фильмов про подонков, аферистов, наркоманов, извращенцев и просто убийц. Злые сказки XXI века — их основная духовная пища.

Понятно, что не все и не лучшие наши дети ходят выпить, покурить и наматериться всласть на школьные зады. Но не оставляет мысль, что эти именно ребята устроятся в будущей цивилизованной жизни уютнее прочих. Да вот только самый отъявленный и растленный хулиган из моей школы сорокалетней давности разговаривал куда интереснее, самовитее и сочнее и не походил на другого хулигана. А эти дети — они потрясающе, до неразличимости похожи друг на друга, как питомцы инкубатора.

Если мир не изменится, их ждет одинаковая судьба: будут правдами и неправдами добиваться материальных радостей, а на досуге, среди стандартных развлечений, их дожидается уже вкушенный ими непобедимый масскульт, а для избранных спесивых — пост(пост)модерн.

Две стороны одной медали — масскульт и пост(пост)модерн равно разлагают человека и равно ему льстят, не поднимаясь выше его диафрагмы и возвышая в ранг деяния самое ничтожное шевеление в его просторном черепе и тесных

чреслах. Масскульт уверяет своего клиента в том, что он такой же умный, как все, но, может быть, даже больше; а пост(пост)модерн — что он такое же дерьмо, как все, но, может быть... И так и так — удобно, утешительно, либерально.

Почему же оскудела русская речь? (И не только русская, и не мы в этом первые.) Потому что оскудела русская жизнь. (А вокруг нее жизнь всепланетная.)

А почему оскудела жизнь, все более материально, пластически богатая, пышная? Но такая бессердечная, и человек в ней одинок и косноязычен как никогда.

Большие умы, начиная, может быть, с Шопенгауэра, с его размышлений о великой Скуке, предупреждали нас о грядущей угрозе развоплощения человека — до возможной потери им своих родовых свойств. Они видели свирепые моменты в тенденциях общественного развития, опасались издержек грядущей научно-технической и информационной революции, урбанистического усреднения и опошления человека. Всего того, что человек создаст сам, но что может быть больше его самого, придавит его и расплющит.

Гляжу на книжную полку: Шпенглер, Ортега-и-Гассет, Хайдеггер, Хейзинга («В тени завтрашнего дня»), Камю...

Осмелюсь хотя бы перечислить наиболее значимые составляющие нависшей над нами беды, не претендуя на полноту охвата темы и владение словом в последней инстанции.

Наверное, начать здесь уместно с переселения всей активной части человечества в города (одиночество в толпе). Человек стремительно отрывается от природы, природа для него становится вторичной, подчиненной стихией бытия (за это она отомстит). Современный человек уже и в России не знает толком ни флоры, ни фауны, тем более не разбирается в закономерностях и оттенках природы — пропала для этого практическая личная нужда — а за ней ослабевает и потребность психологическая и поэтическая. НТР обступила человека вещами, критически обжала его ими, и он оказался ими поработчен. Между людьми встали вещи. Речь худеет и бледнеет.

Информационная революция (при невиданном обесценивании слова в XX веке) мощно поддерживает глобализацию. Глобализация, она же унификация, с силовым центром в США, упрощая, усредняя и роботизируя человека, отрывает его, близорукого, от национальных и культурных корней, и мы в нашей «отсталой» России должны понимать, что происходит интервенция, не стесненная, в пафосе превосходства, никакими запретами и средствами.

А темп жизни все нарастает и нарастает: задерганный человек не успевает освоить и переварить вал современной информации, осознать, что в ней ему нужно, а что бесполезно, что хорошо, а что плохо. В этом информационно-избыточном мире торопящийся человек не успевает соотнести явления внутреннего и внешнего мира, он грубеет и мелеет, его душа выцветает. Ему некогда, он уже сам готов отказаться от национальной и родовой памяти, от братских эмоций и поступков. Идет его депсихологизация, разрываются его связи со временем, с историей. Даже любовь для него теперь частное и табуированное событие. Он отказывается от серьезных, ритмических контактов с культурой (они для него болезненны), отказывается от великого чтения. И творческих людей начинают

заменять имитаторы, создатели квазикультурного фастфуда. Вот тут-то и расцветают и пузырятся тоталитарные громады масскульта и пост(пост)модерна, поддерживаемые Интернетом, огромные привилегии получает вульгарная пропаганда нового образа жизни и тех, кто его, очевидно, уже внедрил.

Впервые в истории цивилизация фронтально и враждебно противопоставит культуре.

Цивилизация отказывается от высокой культуры и ее героев, выводит ее творцов и хранителей в маргиналы — и вполне по-большевистски проповедует свою единственность и неотменимость. Прошлого нет, потому что его нет. Пост(пост)модерн «перестебывает» его с большим удовольствием — оно же забавное, наивное. И с откровенной мстительностью, так как человек пост(пост)модерна — существо мелкое, изолированное и завистливое, не верящее никому и ни во что, что не помещается в его карманы.

Новому, зыбкому человеку в новой системе координат обширный да еще и требовательный к нему словарь не нужен, даже опасен. Ибо чем обширнее его словарь, тем меньше его поймут и примут. Нет, он останется обывателем — но ведь не простым, а мировым.

Россия и русские — на перепутье. Мы позже других соприкоснулись с глобализацией и успели критически оценить ее издержки, ее кривду. Но мы двоимся, и наша молодежь не очарована своими родителями. В то же время мы за столетие бесконечно устали от бедности, прямого насилия и лживой всепроникающей несправедливости — и многих, многих молодых людей манит «американская мечта», и активны бойкие и циничные эмиссары глобализации-цивилизации. Им легко — у них нет Родины. Как и у многих представителей политической элиты России из самых высоких кресел. Новой старой элиты дождемся ли, дадут ли ей появиться? Вспоминается грустная острота великого поэта Георгия Иванова, который в Париже, в 30-х годах, в ответ на пламенные упования одного русского эмигранта-идеалиста на «культурную элиту» заметил: «Элита едет — когда-то будет!»

Пока еще, при включенном обратном отсчете, верится, робко и со вздохами, что Россия сделает выбор в пользу Культуры. Все-таки половина из нас — люди памяти. Наши книги, наши герои с нами. Тем более что происходящее на Западе бесспорно и очевидно чревато глубоким кризисом и переоценкой избранной «дорожной карты».

Одно ясно — все это произойдет на наших глазах и коснется каждого из нас как факт в биографии.

Все проходит. Был бы человек — пройдет и глобализация. Но какой ценой мы расплатимся за грядущее духовное возрождение человека, за желание и за личную потребность говорить на родном языке, вровень с нашим великим Словарем? Вот вопрос из вопросов.

НАРОДНЫЕ МЕМОАРЫ

Пётр МУРАТОВ

ПОГРЕБ

*Невыдуманная история в обрамлении
незабываемых «перестроечных» событий*

— Подскажите мне, пожалуйста, где же зимой хранить картошку?! — Я сверлил взглядом сидевших за длинным столом членов административной комиссии нашего поселкового совета.

В ответ — тишина. И не просто тишина — удрученное, гнетущее безмолвие. Даже поднять глаза на меня никто не осмеливался, настолько я был убедителен в незамысловатой житейской правоте поставленного ребром вопроса. Нечем крыть...

Эта любопытная и знаковая история произошла в августе-сентябре 1987 года, в самый канун юбилейных торжеств. Подумать только: Великому Октябрю — 70 лет! Новейшей истории мира, самому прогрессивному строю, новому передовому бесклассовому обществу, лишённому противоречий, — уже целых семь победных десятилетий! Тем более на дворе после застойных лет торжество новой стратегии партии — политики «обновления социализма, Перестройки, Гласности и Ускорения». Вся Советская страна, да что там страна — все прогрессивное человечество готовилось широко отпраздновать знаменательную дату, славную веху мировой истории! Ура, товарищи!

* * *

К славному юбилею Октября мы с супругой Светланой тоже подготовили подарок: на свет божий вот-вот должен был появиться еще один «строитель коммунизма». Первой была дочка Люсенька, ей было год и восемь месяцев. Не сказать, конечно, что мы специально подгадывали к праздничной дате — так получилось. Но к рождению второго ребенка мы, уже умудренные опытом первенца, подготовились основательно. Комнатку метражом в целых восемнадцать квадратов обжили, «джентльменский набор» советского человека (холодильник, черно-белый телевизор, стиральную машину) заимели — живи-радуйся!

Общага наша имела свои плюсы и минусы. Главный плюс: высоченные, в три с половиной метра, потолки, благодаря чему комната выглядела очень просторной, светлой — окна были соразмерны высоте помещения, в ней легко дышалось. Таких высоких потолков в те времена в жилых домах уже не сооружали. За что такая привилегия? Все очень просто: два стоящих друг подле друга че-

тырехэтажных здания общежитий должны были служить казармами с двухъярусными койками для солдат стройбата. Жители общаг, кто порукастей, даже умудрялись соорудить вторые этажи внутри комнат.

Первоначально планировалось, что корпуса нашего НПО и жилой поселок для его сотрудников будут возводить военные строители. Но наверху переиграли — в результате строили заключенные, и казармы стройбата не понадобились.

Каждый день из городской тюрьмы приходила колонна из двадцати трехосных бортовых «зилков» с железными будками в кузовах и конвоем из двух солдат в каждой машине. Конвоиры сидели у заднего борта, зажав между колен автоматы. «Зековозки», всегда с включенными фарами, на довольно большой скорости проносились по дороге. Будки имели зарешеченные проемы для света — я всегда с грустью смотрел на скрюченные пальцы зеков, вцепившиеся в толстые прутья решеток.

Заключенные, облаченные в черные робы, сапоги и круглые кепки с козырьком, работали за высоким забором с колючей проволокой со сторожевыми вышками по периметру. Каждый час происходила смена часовых. Очень оживляли неспешную жизнь строительной зоны родственники, кореша, подруги и жены зеков, приходившие под забор на несанкционированные свидания. Помню, как одна колоритная молодуха с фингалом под глазом сипатым прокуреным голосом, не замечая никого вокруг, эмоционально кричала кому-то на той стороне: «Флуфай, ты! Я от тебя, в натуре, на третьем мефяце, понял, фука?!» Или приходили какие-то неместные пацаны, — мы звали их «юные дзержинцы», — они перебрасывали через забор пачки папирос и чая. Солдаты их гоняли, но как-то не сильно активно: видимо, существовал негласный уговор с зеками, что куревом и чифиром все ограничится.

Как-то около меня шлепнулся камешек, завернутый в бумагу. Поднял голову: зек с крыши строящегося дома знаком показывал — подними. Внутри оказалась записка и пятирублевая купюра. В записке просьба: «Помогите, пожалуйста, единственному греку в Сибири, пошлите телеграмму по этому адресу» — и дальше текст с признанием в любви какой-то женщине — написано довольно возвышенно и на удивление грамотно. При оформлении на почте знакомая телеграфистка удивленно посматривала на меня, пришлось объяснить. Денег на телеграмму ушло около двух рублей, остальное пришлось взять в качестве вознаграждения. Иногда женщинам таким же образом бросали записки с предложением дружбы, даже золотые колечки в них заворачивали.

Словом, мои детишки росли, впитав с молоком матери, что забор — значит зона, а зона — значит зеки. Однажды, гостя у моих родителей в Казани, полуторагодовалый сынок, играя, забежал за какой-то забор. Сестренка, сама ненамного старше его, увидев это, истошно закричала: «Славик, ты куда побежал?! Там зеки-зеки!» Прохожие аж остановились, недоуменно разглядывая моих детей.

На ночь охрану со стройзон снимали. Рассказывали, что в это время внутрь пробирались женщины легкого поведения — зеки их оберегали, кормили и обхаживали, небесплатно, разумеется. За пару недель иная «жрица любви» могла заработать как я за год.

Обитали там, кроме того, кошки и собаки, заключенные о них заботились. Помню, как один из них кормил щенка и нежно материл — не передать, сколько тепла и ласки было вложено в каждое матерное слово! Счастливый песик, грызя косточку и слушая родную речь, радостно вилял хвостиком.

Многие заключенные имели золотые руки. В поселке была распространена негласная торговля поделками зеков — наверное, в каждой семье была как ми-

нимум одна красиво вырезанная из дерева и красочно оформленная разделочная кухонная доска. Но и строили они, надо сказать, довольно качественно. Правда, вполне могли оставить «сюрприз»: например, заварить и закрасить, непременно между перекрытиями, лом вместо трубы отопления, замуровать в стенку дохлую кошку или крысу или залить в канализацию ведро цементного раствора. На память.

Впрочем, что-то я отвлекся.

Итак, спроектировали и построили небольшой военный городок — несостоящуюся воинскую строительную часть. Даже название ему дали: ВСО (военно-строительный отряд). Позже переименовали в АБК — административно-бытовой комплекс, но многие сотрудники еще много лет вместо «АБК» по привычке говорили «ВСО». Здания казарм, нарезав на клетушки-ячейки, приспособили под общежития, а одну казарму — под больницу.

Армейский клуб превратился в Дом культуры — там проводили собрания, крутили кино, работали кружки. А однажды совершенно непостижимым образом в наш забытый богом ДК даже занесло легендарного Вячеслава Бутусова с его невероятно популярным в те годы «Наутилусом Помпилиусом» — нам со Светой с большим трудом удалось попасть на тот незабываемый концерт.

Ангары для техники стали складами, ДОС (дом офицерского состава) и другие здания — административными корпусами, на месте плаца разбили сквер с елочками. Для нас, обитателей общаг, еще одним большим плюсом стало использование по прямому назначению военной медсанчасти — в качестве поликлиники.

Вот так, в чистом в поле, километрах в тридцати от Новосибирска и в семнадцати от Академгородка, по соседству с небольшой деревней Двуречье (в народе чаще говорили «Кирзавод»), и возник наш маленький своеобразный околоток — АБК. С одной стороны — сосновый лес, с другой, в сторону «Вектора» — засеянное овсом вперемежку с горохом поле, в сторону Кольцова — пустырь, поросший душистым луговым разнотравьем. Место почти санаторное. Зимой между зданиями — сетки из заячьих, а иногда и лисьих следов, летом и осенью — почти под окнами грибы.

Административно АБК относился к Кольцову, имевшему статус рабочего поселка. До Кольцова два километра, пешком минут 25—30, в зависимости от погоды и времени года. На своих двоих было надежнее: автобусы ходили редко — раз в час-полтора, случались и сбои в графике движения. И это было главным минусом проживания в общаге на АБК, ибо единственный магазин находился в Кольцове.

* * *

Та пора была временем царствования Его Величества Дефицита. Жратвы в стране хронически не хватало, поэтому всем выдавались талоны для нормированного отоваривания (за деньги) некоторыми продуктами. Талоны выдавались ежемесячно по месту жительства, в общаге их раздачей заведовала комендантша. И если сливочное масло всегда было одинаковым, то мясопродукты (килограмм мяса или полкилограмма колбасных изделий на человека в месяц) сильно разнились по ассортименту. Вожделенное «кило» могли отоварить как в виде мясной вырезки, так и в виде супового набора (кости со следами мяса — они постоянно имелись в наличии, бери не хочу). То же самое и с колбасой: либо «полкило» условного субпродукта розового цвета в прозрачной полимерной оболочке по два двадцать, либо дефицитный полукопченый сервелатик. Как повезет.

Везло тем, у кого в семье были неработающие или пенсионеры. С открытия магазина в нем постоянно дежурили люди в ожидании дефицита, который, как тогда выражались, «выкидывали» — выставляли на продажу. Со временем возникло некое подобие клуба пожилых людей из числа дежуривших. Отопительные батареи вдоль длинного окна магазина были взяты в деревянный короб, очень удобный для сидения. Когда моя мама приезжала к нам, она тоже там дежурила в ожидании заветного дефицита, подружившись со многими завсегдатаями. Моим родителям удавалось по несколько раз в год приезжать в командировки в Новосибирск и подкидывать нам продуктов, поскольку в Казани снабжение было получше, чем у нас, к тому же папа частенько затаривался в Москве. Это было хорошим подспорьем.

Но каково было нам, работающим? Зачастую нам доставались одни только рожки да ножки, в прямом смысле слова. Чахленькое сельпо в Двуречье, конечно, имелось, и даже поближе, чем кольцовский магазин, но идти туда в надежде, что там что-нибудь «выкинут», — только зря грязь месить. Впрочем, иногда можно было перехватить у деревенских домашнего молока или картошки, но втридорога.

Торговые работники имели немалый вес в обществе, все с ними старались дружить. Директором кольцовского магазина работал всеми уважаемый Сан Саныч — представительный, преисполненный чувства собственной значимости моложавый мужчина средних лет. Докторам наук, работникам режимных спецотделов, научным сотрудникам с воинскими званиями (мы их называли «золотопогонниками»), а также охранявшим «Вектор» прапорщикам полагались спецпайки. Нам же, простым труженикам науки — только бесплатные талоны на молоко за вредность по пол-литра в день.

Молоко в магазине тоже не всегда имелось, не говоря уже про творог. А ведь моей благоверной пришлось сходить из декрета в декрет. Нашего литра не хватало (а после ухода в декретный отпуск молочные служебные талоны ей, как неработающей, вообще не полагались), поскольку большую часть молока мы сквашивали и пускали на творожок — над умывальником в комнате всегда висел капающий сывороткой мешочек. Выручали сотрудники моего отдела, которым было лень или недосуг отоваривать в служебном буфете свои молочные талоны. Но и туда молока привозили недостаточно! Я скооперировался с одним сотрудником — мы по очереди занимали место друг для друга возле двери перед открытием буфета в обеденный перерыв, ибо любителей бесплатного молочка тоже хватало. Влетев в первых рядах, мы сразу же хватали ящик, отбегали с ним в сторонку и меняли принесенные пустые бутылки на полные. В ящике, как сейчас помню, было двенадцать пол-литровых бутылок — по три литра ценного напитка на брата. И каждый день я шел на работу под веселый перезвон пустой тары.

Отдельная тема — спирт! Специфика нашего учреждения такова, что его для работы требовалось не просто много, а очень много: для дезинфекции и микробиологических горелок. Причем спирт был хоть и не медицинский, но очень чистый и хорошего качества. В Кольцове он служил универсальной валютой, что было очень актуально в свете принятого в 1985 году «сухого закона» имени Горбачёва.

Спиртовой бартер был особым видом «творчества». На него менялось все что можно, благодаря ему возводились личные гаражи и дачи. Гаражный кооператив, что за Кольцовом на взгорье, даже в шутку предлагали назвать «Спиртовым». Позже рядом с гаражным возник погребной кооператив «Репка» (капитальные погреба с кирпичной надстройкой), который, по идее, можно было бы назвать «Спиртовый-2».

Но сперва жидкую валюту требовалось вынести из промзоны. На проходных ручную кладь шмонали бдительные прапорщики, поэтому емкость со спиртом, как правило, прятали на себе. Очень удобным для проноса был плоский узкогорлый стеклянный микробиологический матрас с черной резиновой пробкой — даже если жидкость внутри него булькала, запах не просачивался. Но тара могла в самый неподходящий момент выскользнуть из-под одежды, а однажды у одного товарища емкость, плохо закрепленная на поясе, перевернулась уже в автобусе, пробка выскочила... Ох и запашок в салоне стоял! Бедняга с пунцовым от смущения лицом замер, боясь пошевелиться — драгоценная жидкость, обильно смочив пузо и промежность, потекла по ногам. Да что там запашок! Поднеси спичку — вспыхнул бы, к чертям, как факел!

Один сотрудник как-то поделился со мной своим ноу-хау выноса спирта. Он наливал его в... двойной презерватив. «Резинотехническое изделие номер два», как тогда деликатно именовали контрацептивы советского производства, было достаточно прочным и эластичным, спирта входило много. Потом добро помещалось в сапог — мягкая емкость удобно облегла ногу в широком голенище. Но я этой технологией не воспользовался ни разу.

На выловленных на вахте несунув спирта составляли протокол, лишали премиальных. В случае рецидива можно было нарваться на штраф или слететь вниз в очередном списке на жилье или детский садик. Но спалившихся почти не было. Почему? Если человек попадался, нужно было всего лишь уйти в глухую несознанку: мол, что это за предмет и откуда он взялся — ума не приложу: «Товарищ прапорщик, в первый раз вижу! Честное слово!» Понятливые прапора схватывали ситуацию мгновенно, поэтому и среди бдительных охранников нашего славного НПО спиртец водился всегда. А уж у начальников проблем с выносом спирта не возникало вообще: в их пропусках стояла специальная отметка, запрещавшая проверку их портфелей. По моим приблизительным прикидкам, выносилось от 30 до 50 (в особо трудные годы) процентов всего спирта учреждения. Наносился ли этим большой материальный ущерб? Не думаю, ведь спирт стоил копейки. Зато все были довольны.

Таскал ли спирт я сам? Каюсь, грешен: было дело. Летом меняли его на фрукты-ягоды для детей (ведь своей дачи или просто огорода тогда еще не имели), зимой — на мясо: частники подвозили, предлагая большими частями, а то и полутушами. Хранили мясо на балконах, и если весна случалась ранней, звонкая капель вдоль домов нередко была красноватого цвета. Некоторые на балконах же разводили домашнюю птицу, поэтому на рассвете мне часто снилась родная деревня на реке Вятке — это петушки начинали свою утреннюю переключку. А уж садовая рассада по весне колосилась вообще на каждом втором балконе. С севера к Кольцову примыкал Новоборск — маленький поселок городского типа расположенной неподалеку птицефабрики. За Новоборском в лесу раскидывался обширный «скотный двор» — десятки плотно натыканных хрюкающих, блеющих, квочащих, а то и мычащих стаяк-сараюшек. Между разномастных построек и загоронок высились скирды сена, благоухали кучи навоза...

Пару раз я со товарищи совершал неблизкий вояж в клюквенное царство — затерянный среди таежных томских болот колоритный поселок Сайга с деревянными настилами вместо тротуаров и гаражами из бревен. Дело было в самый разгар «борьбы за трезвость». Местные жители меняли ведро клюквы на бутылку водки, которую в той глухомани не достать было вообще, зато клюквы — как грязи. В городе же ягода стоила очень недешево. Я возил по два литра чистого спирта, что можно было обменять на четыре ведра клюквы — рентабельность поездки была очень высокой. Однако местные относились с недо-

верием: а не разбодяжено ли? Говорим, мол, за чистоту спирта отвечаем, если что — придете, грызла нам начистите: до вечернего поезда (тепловоз с тремя вагонами до станции Тайга) мы все равно никуда не денемся. Верили. В итоге на «разборки» не приходил никто.

Народ в Сайге проживал суровый, не менее половины населения — бичи. Помнится, один из них, обменяв два ведра клюквы на пол-литра спирта, остался с нами на вокзальчике с деревянным перроном «потереть базар за жизнь»: мы люди новые, интересные, а торопиться ему, похоже, было некуда. Ну и потихонечку, часа этак за два, нахваливая качество спирта, всю поллитровку и приговорил без закуси, лишь занюхивая засаленным рукавом. И что — упал замертво? Не смешите. Даже не скажу, что его особо развезло — так, малость захмелел. Допив последний глоток, он тяжело вздохнул: чего, мол, базарить, если пить больше нечего. И, распрощавшись, удалился на сбор клюквы к следующему утреннему поезду.

Клюквы хватало на всю зиму — хранится она прекрасно. Еще и на клюковку оставалось. Что за клюковка? Прекрасный ликер на клюкве со спиртом и глицерином. Тогда, после памятного апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года, давшего старт антиалкогольной кампании по всей стране, в период тотального отсутствия спиртного и попыток власти навязать народу новую традицию проведения «безалкогольных» свадеб, все заделались заправскими виноделами. У каждого имелись свои фирменные рецепты, но никто не жадничал, щедро делясь ими. Самое простое — сбраживание фруктовых морсов и соков с сахаром, который тогда еще в дефиците не был. У многих в комнатах общежития стояли 20-литровые бутылки с бухтящей жидкостью, на горлышко надевали резиновую медицинскую перчатку. Когда перчатка наполнялась бродильным газом и раздувалась, принимая форму поднятой ладони, — это называлось «привет Горбачёву», — вино готово.

Мучила ли меня совесть, что я таскал спирт с работы? Тогда — немножко да: мешал рудимент сознательности советского человека. Сейчас — да полно-те! Государство начиная со второй половины восьмидесятых уж в какие только игры с нами не играло! Когда родилась дочка, я открыл страховой вклад под названием «Совершеннолетний». Отрывая от своей зарплаты, на которую фактически и жили, по 10 рублей (тогда это были нормальные деньги), думали, что к совершеннолетию Люсенки накопится больше двух тысяч рублей — купим ей хорошую шубу! Вот такими целями жили. И за несколько лет успела набежать немалая сумма. Какова дальнейшая судьба вклада, думаю, вы уже догадались — его не стало, деньги никто не вернул.

М-да, сколько сил и времени почти ежедневно затрачивалось на то, чтобы приобрести (чаще говорили «достать») элементарно необходимое! Тотальный «совковый» дефицит, блат, «распределювка» и всепроникающие запреты шаг за шагом разъедали устои провозглашенной монолитной «новой исторической общности — советского народа» не хуже классовых противоречий. Но тогда, в самый разгар Перестройки, в преддверии 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, официальные власти, по крайней мере на словах, еще не сомневались: «Мы придем к победе коммунистического труда!» Хотя что это за «хреновина», не ведал никто.

* * *

Казармы после перестройки их в общежития сдали в эксплуатацию в начале 1984 года. Поначалу там селили на койко-места (по три человека в комнату) несемейных сотрудников, в том числе и нас, молодых специалистов — выпускников вузов.

Поскольку профиль НПО «Вектор» был биотехнологическим, мы, вчерашние студенты, в большинстве своем прибыли после учебы на естественных факультетах университетов (Казанского, Томского, Ленинградского, Московского, Красноярского, Алтайского) или в медицинских институтах (Омский, Иркутский, Новосибирский). Головной организацией нашего объединения был Всесоюзный НИИ молекулярной биологии (ВНИИ МБ), куда я получил государственное распределение на должность стажера-исследователя.

Но самые большие «диаспоры» были из Новосибирского госуниверситета и Томского мединститута. Они слегка соперничали друг с другом. Сначала заместителем директора по науке ВНИИ МБ был Николай Борисович Черный — выпускник томского меда, потому и многими подразделениями руководили его собратья по альма-матер. Мой кореш Саня Твердохлёбов, тоже выпускник томского меда, помню, несколько высокомерно и пафосно констатировал: «Томская школа, томская мафия!» Но потом новосибирские университетчики стали теснить томичей, особенно когда пост зама по науке занял Сергей Викторович Нетёсов, выпускник НГУ, в скором будущем один из руководителей моей диссертации.

Новосибирский Академгородок находился относительно недалеко от нас. «Академ» — для нас это слово звучало магически. Жить в Академе и работать в тамошних научно-исследовательских институтах было очень престижно, поскольку Академгородок творил науку на уровне высших мировых стандартов. Но с жильем для молодежи там было туго, в отличие от активно строившегося Кольцова. Да и надбавка на «Векторе» за режим полагалась в размере 25 % от оклада, а работавшим с ООИ (особо опасными инфекциями) — еще и отпуск до 48 рабочих дней. Словом, многие выпускники НГУ, вздохнув, шли в «Вектор».

И в социально-культурном плане, и по уровню благоустройства Академгородок был для Кольцова абсолютным примером. «Как в Академе» — это сравнение служило комплиментом, «академовцы» казались нам небожителями. К тому же сам ВНИИ МБ, учрежденный в 1974 году, являлся фактически детищем Института биоорганической химии СО АН СССР. Многие ветераны нашего института той поры еще долго считали себя «академовцами», хотя уже проживали в Кольцове. Наверху было принято решение перевести ВНИИ МБ из системы Академии наук в Министерство медицинской и микробиологической промышленности и создать на его базе НПО «Вектор», сменив статус института с академического на отраслевой, прикладной. Выделялись большие средства на строительство научно-производственной базы и жилого поселка. Первым директором «Вектора» стал Лев Степанович Сандахчиев, его имя сегодня носит центральный проспект Кольцова.

Первые две типовые панельные девятиэтажки будущего поселка, который еще даже не имел названия, встали посреди чистого поля рядом с лесом в 1978 году. Народ называл этот непонятный населенный пункт «Патрикеевкой», по фамилии начальника строительства Патрикеева. «Патрикеевку» сначала передали в ведение Барышевского сельсовета. Социальной инфраструктуры почти никакой, с транспортным сообщением глухо. Поэтому переселялись из уютного, обжитого, аристократического Академгородка, даже если жили там в общежитии, пусть и в квартиры, но на «целину», со скрипом. Особенно если дети учились в какой-нибудь элитной школе, и им приходилось переводиться в сельскую, поскольку своей школы в Кольцове еще не было. Особо упорствующих даже переселяли с помощью милиции: извольте, товарищ, освободить комнату в общежитии и вселиться в свою квартиру! Тем не менее поселок стал потихонь-

ку обживаться и развиваться. И сейчас немногочисленные кольцовские первоходцы, которых я знаю, вспоминают ту пору со слезой умиления и ностальгии — насколько все-таки причудливо устроена человеческая психика.

Годом позже возник местный совет депутатов, поэтому 1979 год стал датой основания поселка, получившего свое название в честь видного генетика Н. К. Кольцова. К моменту моего распределения сюда осенью 1984 года в поселке было уже семь девятиэтажек, две пятиэтажки, школа, детский сад, стадион, а численность населения перевалила за три тысячи человек. Из них почти четверть проживала в общежитиях на АБК.

Выпускников НГУ отличало некоторое высокомерие и самомнение. Впрочем, они имели на это основание: уровень их образовательной подготовки был весьма высок. Не в обиду моей альма-матер будет сказано, но, объективно сравнивая уровни выпускников биофака Казанского и факультета естественных наук Новосибирского университетов, должен признать: последние были сильнее качеством знаний и пониманием современной биологии. Кое-кто из них безапелляционно заявлял: «Генные инженеры — это элита, все остальные — ботаники».

Первый в азиатской части Российской империи университет возник в конце XIX в. в Томске, бывшем в то время центром Сибирской губернии. Но основанный в 50-х годах прошлого века Новосибирский научный центр — Академический городок — довольно быстро забрал пальму первенства в сибирской науке себе. Томская академическая школа к тому времени успела чуть подернуться пленочкой консерватизма, или, как говорят, забронзоветь. В противоположность этому, молодые неугомонные «бузотеры» от науки, будущие доктора и академики, слетевшиеся в новосибирский Академгородок в хрущевскую «оттепель» со всей страны, в том числе и из самого Томска, обладали энтузиазмом первоходцев. И именно этот первотолчок, какой-то живой импульс тогда еще чувствовался в выпускниках НГУ; мне это в них импонировало — они были энергичней, инициативней других. Всегда смешило, когда я слышал от них забавное определение «кандидат томских наук», если выяснялось, что кто-то защитил диссертацию в Томске. Ученые советы институтов Академгородка были высокопрофессиональны и требовательны, защититься именно здесь считалось очень престижно. «Вектор» тоже имел свой совет, но он назывался «научно-техническим». Впрочем, бодаловка о том, какая научная школа — томская или новосибирская — сильнее, идет до сих пор, дай бог им обоим процветания и взаимной поддержки.

* * *

Но на наших личных отношениях эти споры никак не отражались. Мы, общежитская братия АБК, жили дружно. Все-таки большое значение имеет равный уровень культуры. Представители рабочих профессий тоже жили с нами в общаге, иногда в одной комнате, но и в общении с ними проблем не возникало.

Я приехал по распределению и заселился в общагу одним из последних, опоздав почти на полтора месяца: никак не мог проститься с друзьями и родственниками. Ничего, простили. Лишь начальник военно-учетного стола полковник в отставке Шуляк грозно спросил: «Разве вы не знаете, что говорил о необходимости соблюдения трудовой дисциплины на последнем Пленуме ЦК КПСС Константин Устинович Черненко?» Я пожал плечами, дескать, особо не слежу за речами очередного «лежащего» у власти руководителя партии, но промолчал.

Осенью того же года отмечался первый круглый юбилей ВНИИ МБ, и я сразу попал, как говорится, «с корабля на бал» — пригласили принять участие в юбилейном концерте, я согласился. Помнится, пели со сцены ДК на мотив «Синей птицы» Макаревича стихи будущего мэра, а тогда еще просто комсомольского вожака Коли Красникова:

**Мы в такие забрались дали,
Что не очень-то и найдешь,
Мы окрестности все вспахали,
Невзирая на снег и дождь.**

**Презирая уют и холод,
Мы идем всегда напролом,
Мы науки здесь строим город
Под названием Биопром.**

**Впереди еще много терний,
Много разных проблем и мук,
Но Кольцово растет и крепнет,
Как кольцо наших верных рук.**

**И «скрипеть» нам порой не надо,
Посмотрите, как там и тут
Держим мы на руках громаду,
Поднимается институт!**

Воспевание необходимости постоянного преодоления трудностей было в то время частью государственной идеологии. Хотя я, «европеец», никогда ранее за Уралом не бывавший, сразу отметил врожденную терпеливость, невозмутимость, морозостойкость и даже некоторую неприхотливость сибиряков. В Татарстане, откуда я родом, народ более экспрессивен.

Еще одной особенностью Кольцова было заметное преобладание женского населения над мужским — даже площади женских санпропускников в корпусах были в разы больше, чем мужских. Поэтому мы, мужики, были избалованы женским вниманием, даже я, никогда особо не пользовавшийся успехом у девчонок.

Отношение ко мне еще более улучшилось, когда я, взяв «шефство» над несколькими женскими комнатами, собирал у обитательниц продуктовые талоны и ходил отоваривать их в магазин Сан Саньча. Помимо чисто человеческой заботы, мною двигал еще и меркантильный интерес: глядишь, в знак благодарности ужином накормят. Общага как-никак! Но девчонки — народ интересный: они сразу же начинали вычислять, а к кому это он, интересно, ходит?

Возникла и еще одна небольшая проблемка: я забывал, что и в какой комнате успел рассказать. Любитель «поездить по ушам», я был напичкан самыми разными интересными, как мне представлялось, историями. И девчонки всегда казались такими благодарными слушательницами! Но только после женитьбы супруга призналась как-то: мол, знаешь, дорогой, я эту историю от тебя уже слышала раза два или три, еще когда ты по разным комнатам «женихаться» ходил. Почему же, спрашиваю, никто не прерывал? Ответ искренне умилил своей заботливостью и дальновидностью: «Ну как прервешь? Ты ведь мог обидеться...»

Особенно ценной помощью в отоваривании талонов оказалась в суровую зиму с 84 на 85 год: весь декабрь температура колебалась между тридцатью и сорока градусами мороза. В ту зиму только и оставалось, что ходить друг к дру-

гу в гости. Результат не преминул сказаться уже совсем скоро: только с одного нашего этажа общежития — шесть супружеских пар! В том числе и мы со Светой — «прикормили» все-таки меня в одной из комнат! Хотя она, выпускница Иркутского мединститута, как-то сразу приглянулась больше всех.

Старт свадебной кампании положил сосед через стенку Женя Коновалов, молодой специалист, женившись на моей землячке-однокурснице, тоже по имени Света.

Я упоминал, что АБК примыкал к окраине деревни Двуречье. Учитывая обилие девчонок, деревенский молодежь повадился ходить в общаги, особенно по субботам, когда в красном уголке проводили дискотеку. Да и просто слонялись по коридорам, часто в нетрезвом виде, случались и драки. В общежитие регулярно навещалась милиция, нередко устраивали проверки жильцов по комнатам. Руководство «Вектора» решило сделать общаги на АБК семейными, а оставшихся холостяков переселить в Кольцово, дом № 9 — в общежитие квартирного типа. Резонно предполагалось, что семейный люд деревенским будет неинтересен, а топтать в новую общагу в Кольцово далековато. Тем более что после принятия «сухого закона» и дискотеки прекратились. Тогда нас с супругой и облагодетельствовали долгожданной «ячейкой».

И вот где-то ближе к концу 85 года один за другим стали появляться на свет божий общежитские первенцы. Отношения между нами, посерьезневшими молодыми специалистами, дружно ставшими отцами, еще более окрепли. В общаге коридорного типа все на виду. Заскочить к кому-то в гости, стрельнуть луковицу или яичко, присмотреть за чьими-то детишками было в порядке вещей — двери в комнаты не запирались ни у кого. Молодые мамы делились сцеженным грудным молочком с соседками, если их подросшим детишкам уже не хватало своего.

А вечерами мы, молодые отцы, чтоб не мешать процессу засыпания детей, нередко собирались на кухне этажа, которой толком никто не пользовался. Удобней было готовить на электроплитках в своих комнатах, приглядывая за детьми, а не бегать туда-сюда с кастрюлями по этажу. Конечно, пожарные инспектора были очень недовольны: разок даже случился небольшой пожар в одной из комнат, но что поделаешь, жизнь диктует свои правила. Кухонными электроплитами пользовались редко — только если что-то испечь или белье прокипятить, к тому же больше половины из них не работали. Позже кухню вообще упразднили за ненадобностью, превратив ее в большую жилую комнату.

Но пока нам было где собраться, пообщаться. Обсуждали различные житейские вопросы, в том числе консультировались друг у друга по деликатным вопросам родовых разрывов, сцеживаний, маститов и так далее. Может, кому-то обсуждение таких интимных тем покажется нетактичным и неприличным, но для нас, биологов и медиков, это было вполне естественным: главное — суть. А когда показывали футбол, кто-то выносил телевизор и мы дружно болели за наших, стараясь громко не кричать. С легкой руки Сани Крендельщикова, родившегося и выросшего в Узбекистане, наша общинка стала именоваться «махалля» (у узбеков — форма близкого объединения соседей). Я и сейчас при встрече со своими бывшими соседями по «махалле» чувствую, как теплеет в груди, но... как пел Визбор, «как-то все разбрелись», да и детки наши уже давно выросли.

И, конечно же, все мы мечтали, как однажды получим собственные квартиры! Строительство в Кольцове велось ударными темпами, дома росли как грибы после дождя. Еще при трудоустройстве на «Вектор», который тоже развивался вместе с поселком, нам пообещали, что лет через 6—7 «хаты» мы получим гарантированно.

Вскоре в наших общагах на АБК началась вторая «кампания» по деторождению, правда, уже не столь синхронно, как первая. Иметь двух детей считалось нормой, многие заводили третьего, а кое-кто и четвертого ребенка. Разводов почти не было. Некоторые мои знакомые, например в Казани, довольно быстро поразводились еще из-за того, что в случае банальной ссоры сразу разбегались по своим папочкам-мамочкам. А тут никуда не денешься: общага! Приходилось договариваться, искать согласие, идти на компромиссы. Словом, рождаемость и демографическая ситуация в Кольцове были что надо. Был построен второй детский садик, заложена еще одна школа и садик, проектировался четвертый.

В вестибюле каждого корпуса время от времени вывешивали на всеобщее обозрение святая святых — списки очередников на получение жилья, которые регулярно обновлялись.

Списков было несколько: внеочередников, льготников и обычных. Льготами пользовались «афганцы» (прошедшие срочную военную службу в Афганистане), «чернобыльцы» (ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС), многодетные семьи (три и более ребенка) и матери-одиночки (в списке указывалось «м/о»). Некоторые девчонки хитрили: рожали якобы без официального мужа, хотя фактический имелся. Лишь бы получить желанный статус «м/о», жилье и уже потом узаконить брак. Гражданские браки тогда еще не имели широкого распространения, да и «фактический» муж (не путать с «гражданским»!) вынужден был маскироваться: все всё друг про друга знали, могли «стукнуть» куда следует, и заветные «буковки» обломятся. Свары из-за места в очереди случались постоянно. Инженер по учету и распределению жилой площади Надежда Шумская была одним из самых уважаемых сотрудников — ей регулярно приходилось разбираться с аргументами очередников, почему тот или иной из них должен значиться в списке выше. Во главу угла ставился стаж работы. Давали и служебное жилье — особо ценным и приглашенным специалистам, а также работавшим вахтовым методом с ООИ.

Но пока... Пока что я шел длинным общежитским коридором, вдыхая особый специфический запах, слыша детские голоса из-за тонких незапертых дверей и уворачиваясь от несущейся по коридору гикающей кавалькады детей, игравших то ли в войнушку, то ли в салочки. Возле каждой двери санки, велики, тапки, коврики... Шел и мурлыкал строки из «Баллады о детстве» Высоцкого: «Все жили скромно, вровень так, система коридорная — на тридцать восемь комнаток всего одна уборная...» Комнат на каждом этаже действительно было по 38, но уборных все же две — мужская и женская.

Мужской туалет, что находился рядом с моей комнатой, я, наверное, не смогу забыть никогда. Сперва мы с женой очень обрадовались, что комната, которую нам дали, не имела соседей — с одной стороны запасная, мало используемая лестница, с другой — кухня, место нашего общения. Да и до туалета один шаг. Но, похоже, оставили-таки зеки свой «сюрприз» в канализации. В обычном режиме все было нормально, но время от времени, в моменты «пиковых нагрузок», раздавалось злое громкое бульканье — и сточные воды через один из унитазов начинали идти «горлом». Пол коридора имел незаметный на глаз уклон в сторону нашей комнаты, поэтому все это добро через некоторое время оказывалось у нас под дверями.

Днем и вечером еще удавалось отслеживать ситуацию — кто-то из нас сразу же несся за общежитским сантехником. Но, бывало, поутру тапочки, выставленные за дверь, плавали в коридоре. Разок даже просочилось через порог в комнату. Вскоре сантехник показал мне, где прячет мощный трос для прочистки

стоков, и я, дабы не тратить драгоценное время на его поиски, уже самостоятельно героически «ложился на амбразуру» по локоть в...

Потопы все не прекращались, пришлось освоить некоторые сантехнические навыки в совершенстве. Месяца через два я решил подойти к вопросу системно: притащил деревянный брусок и намертво приспособил его к порогу туалета, да еще эпоксидной смолой все заделал. Помнится, немного заикавшийся сосед с другого конца этажа как-то спрашивает: «Это т-ты порог в туалете п-приколотил?» Отвечаю, да, мол, я, а что? «Да я вчера н-ночью в п-полусне на автопилоте п-пошел, н-ноги с-сами дорогу знают. А т-тут — б-бах! Я ч-чуть б-башку об стенку не р-разбил! Молодец, к-качественно с-сделал!»

* * *

По мере развития жилищной инфраструктуры поселка пропасть между Кольцовом и Академом переставала казаться столь глубокой. Потихоньку стал формироваться местечковый патриотизм, особое кольцовское самосознание. Почти все были знакомы между собой, работали в одном месте, вокруг все довольно прилично, преступность почти нулевая, не было алкашей, туеядцев, бомжей. Я шел по поселку, постоянно кого-то приветствуя. Типичный моногородок.

Однажды, когда я уже съехал с АБК и жил в самом Кольцове, приехал студенческий друг, не знавший моего адреса. Спросил у первого встречного, где я живу. Тот ответил, точно, мол, не знаю, но «во-о-он в том районе». Второй встречный показал дом, а третий назвал квартиру. Поиск занял пять минут. Правда, некоторые признавались, что им не хватает анонимности большого города, ибо все всё друг про друга знают, сплетничают, перемывают кости.

Принцип жизни узбекской махалли регулярно использовался и в Кольцове, правда директивно, когда нас, работников «Вектора», организованно дергали на очередной аврал. С другой стороны, я и сегодня с гордостью могу сказать: вот эту дорогу я строил, вот эти деревья я сажал и крышу школы, в которой потом учились мои дети, я гудроном заливал! Про всеобщее участие в субботниках и воскресниках даже не упоминаю. Если кто-то, к несчастью, уходил в мир иной, мы сами выбирали место упокоения на лесном кладбище и, покурив и помянув усопшего, приступали к рытью могилы, сами же хоронили — ритуальной службы тогда еще не было.

Культурно-спортивная жизнь в поселке была достаточно насыщена. На хорошем счету в районе были наши школы. В одной из временных деревянных построек открыли музыкальную школу, позже, после переезда «музыкалки», ее использовали под церковь — мы крестили там своих детей. Работали кружки, пели хоры, танцевали ансамбли, у мальчишек пользовался популярностью КЮТ (Клуб юных техников).

На соревнования в День лыжника, проходившие под лозунгом «Сибиряк — значит лыжник!», выходил весь поселок. Да и в обычный выходной погожий зимний денек на лыжне в лесу было не протолкнуться. И ездить никуда не надо: оттолкнулся палками у подъезда — и ты в лесу. Позже стали прокладывать почти профессиональную лыжную трассу.

Но самым серьезным занятием, без сомнения, был футбол! Развивались, конечно, и другие виды спорта, но футбол... Футбол был вне конкуренции. В Кольцове было аж четыре сборных, принимавших участие в турнирах всевозможных рангов! Проводились и свои поселковые турниры: кубок «Золотая осень», регулярный чемпионат по зимнему мини-футболу. Я сам не один сезон играл за команду научных сотрудников «Биолог». А потом и подросток

бился за футбольную честь Кольцова в составе младшей сборной, не раз выходявшей на турниры областного уровня.

Эх, еще бы прямое сообщение с Новосибиром наладить да снабжение улучшить! Но «главного по торговле» Сан Саныча, видимо, и так все устраивало — жизнь удалась. К примеру, в поселке вообще отсутствовал овощной магазин, возить фрукты-овощи приходилось из Академа. Впрочем, возможно, это было не в компетенции директора магазина, учитывая, что с продуктами в стране каждый год становилось все хуже и хуже.

* * *

Запасы на зиму картофеля, моркови и квашеной капусты считались стратегическими, выручали и другие соленья-варенья, многие засаливали и сушили грибы, коих вокруг росло в изобилии. Заготавливали молодой папоротник, облепиху, малину, лесную клубнику, калину, черемуху. За ручьем Забобуриха простиралось огромное поле, возделанное под стихийные огороды, воду для полива таскали из ручья на себе. «Приказано выжить!» Хорошо было тем, кто имел гараж с подземельем или, на худой конец, капитальный погреб с надстройкой. На обширном пространстве вокруг АБК, в лесу и на пустыре, во множестве прятались земляные погреба-кормильцы жителей общежитий.

Не забуду, как я в Академе купил килограммов сто капусты, распихал по холщовым мешкам и вез на рейсовом автобусе домой на АБК. Потом по мешочку перетаскивал их до общежития мелкими перебежками. Приходя с работы, три вечера допоздна не выпускал нож из рук, шинкуя драгоценный продукт. Но в холодильник все добро, конечно, не влезло. Вынес с работы два больших плотных полипропиленовых крафт-мешка для утилизации спецотходов. Расфасовав по маленьким мешочкам, всю сквашенную капусту поместили в них. Но что дальше? Приняли с супругой решение хранить мешки под окном комнаты, на большом козырьке над вторым (неиспользуемым) подъездом общежития, благо успели стукнуть морозы. Козырек имел высокий декоративный фриз из гофрированного железа, с улицы мешков не было видно, а со стороны окон общаги их замаскировали всякой ерундой. Поздними вечерами, а то и ночью, прячась от чужих глаз, я приставлял табурет к стенке и через окно лестничного марша вылезал на козырек. Отковырну пару мешочков — и назад. Хорошо, что до моего ноу-хау в деле зимнего хранения запасов на козырьке никто больше не додумался. Квашеной капустки хватило на всю зиму.

В те годы было распространено корпоративное картофелеводство. Почему «корпоративное»? Потому что все организовывали предприятия, на которых трудились «картофелеводы». «Вектор» заключал договор с соседним совхозом, тот выделял землю, распахивал, боронил, иногда даже лушил. Затем институтские землемеры нарезали участки для каждого подразделения, далее шло распределение по сотрудникам. Централизованно выделялся транспорт для поездок на посадку, прополку и окучивание.

И вот осенний финал картофельного сезона: вереница грузовиков для вывоза урожая и автобусов с векторовцами, вооруженными лопатами, вилами, ведрами и мешками. Каждый метил свои мешки, чтоб не ошибиться при разгрузке. Обычно царил боевое приподнятое настроение: зимовать будем с картошкой! Однако перед закладкой на хранение клубни необходимо было подсушить, что в непогоду становилось проблемой, ведь дни копки назначались директивно, а не глядя на небушко. Однажды кормилец сентябрь выдался очень дождливым, драгоценные клубни пришлось буквально выковыривать из топкой грязи. В па-

мяти постоянно всплывал «светлый образ» Павки Корчагина на строительстве легендарной узкоколейки. Я простыл, повредил руку. Сырые картофелины пришлось еще целую неделю сушить дома вентиляторами, иначе давшийся потом и кровью урожай попросту бы сгнил в погребе. Как после завершения героической картофельной эпопеи супруга отдраивала квартиру, умолчу.

Не знаю, каково нынешнее отношение ко всему этому, но в те времена ежегодные «битвы за урожай» мы, «товарищи ученые, доценты с кандидатами», воспринимали как само собой разумеющееся, естественно и логично. Видимо, и это было частью политики КПСС по воспитанию в советских людях стойкости и неприхотливости. Иногда даже казалось, что партия убеждена, что «нам хлеба не надо, работу давай». Иначе не объяснить, почему развитие легкой и пищевой промышленности в стране шло по остаточному принципу. Помню победные реляции в СМИ по поводу успешного запуска отечественного многоразового космического челнока «Буран». Несомненно, то был значительный научный и технологический прорыв, но почему-то никчемный в масштабах страны микроскопический вопросик «где зимой хранить картошку?» меня волновал намного больше. И не только меня.

С началом Перестройки экономические показатели страны медленно, но верно поползли вниз, с каждым годом становилось все хуже и хуже. Но партийные идеологи бодро и до определенного момента довольно убедительно объясняли и это. Лейтмотив партийной пропаганды был как в песне: «еще немного, еще чуть-чуть».

А тут 70-летие Октября, к которому, как и к каждому Его юбилею, полагалось подойти с новыми свершениями и победами. Но таковых не наблюдалось, хоть тресни, если не считать декларативного торжества новой политики «обновления социализма». Меня, кстати, всегда забавляло новомодное выражение: «социализм с человеческим лицом». А до того, интересно, чье лицо было? А может, и не лицо вовсе?..

Старый идеологический аппарат страны со скрипом, по инерции, но еще продолжал функционировать. Организационная структура — обком-райком-партком-комитет комсомола — сохранялась неизменной, но в воздухе уже носилось стойкое ощущение приближения чего-то нового, неизведанного. Уже всю «пульсировала венами» песня Цоя «Мы ждем перемен». (Интересно, как бы Виктор Цой отнесся к столь страстно желаемым им переменам, до которых, к сожалению, не дожил?) Уже народ напевал строки из «Песенки бюрократа»: «Мы не пашем, не сеем, не строим, / Мы гордимся общественным строением...» — фильм Рязанова «Забятая мелодия для флейты», имевший огушительный успех, вышел в том же юбилейном 87 году и нанес мощный идеологический удар по административно-командной системе страны. По телевизору один за другим стали показывать «полочные» фильмы: «Неизвестные штрихи к портрету Ленина», «Проверка на дорогах», «Охота на лис», «Покаяние» и другие. А новый, уже «перестроечный» фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...» и вовсе замахнулся на «устой». Большими тиражами начали печататься книги некогда опальных Солженицына, Пастернака, Платонова, Дудинцева, Войновича и других. А сколько было споров и жарких дискуссий в курилке на лестничной площадке этажа корпуса!

Понятно, что в таких условиях доносить до трудящихся набившую оскомину политику партии становилось все труднее. Меня назначили политинформатором отдела. Политинформация должна была длиться полтора часа, не меньше; соответственно и служебные автобусы с промзоны домой подавались на полтора часа позже. Но лично меня хватало максимум минут на тридцать. Так же обстояли дела и у других. В результате на проходных скапливались толпы сотруди-

ков, жаждущих поскорее попасть домой, одни возбужденные сотрудницы чего стояли: дома дети ждут! Но у прапоров был приказ: раньше времени никого не пущать! К их чести, они почти всегда его нарушали, прекрасно понимая, что рабочий день закончился, а остальное — от лукавого. Но автобусов-то не было. Народ, проклиная единый политдень и иже с ним политику партии, черным ручейком растягивался на несколько километров вдоль дороги по направлению к Кольцову и АБК. Хорошо, если погода позволяла...

Раз в месяц нас, пропагандистов, под бдительным приглядом все того же Шуляка возили на ВАСХНИЛ слушать лекции на политическую злобу дня. Я не возражал: от работы на этот день освобождали, хоть какое-то разнообразие в жизни, к тому же там в буфете часто «выкидывали дефицит». Да и некоторые лекции были очень интересными, особенно мне запомнились выступления экономиста Рифата Гусейнова. Однако наблюдалась любопытная закономерность: чем интересней лекция — тем больше в ней крамолы. Я время от времени косил глазом на Шуляка, но тот всегда сидел с непроницаемым лицом.

Словом, идейность народа, и прежде не особо крепкая, стала массово улетучиваться. Некоторое время я состоял в комитете комсомола, но исключительно для того, чтоб получить вожделенную комнату в общежитии — мы с беременной супругой тогда еще продолжали торчать на койко-местах, каждый в своей комнате. Даже не помню, за какой сектор работы отвечал. Красникова на посту секретаря тогда уже сменил Кошелев. Помню, секретарь бюро комсомола одного из корпусов Серёга Золотых однажды горько, но искренне изрек: «Ну вот, спрашивается, какого... собрались? Может, самораспустимся, и дело с концом?» Каждый в душе был с ним солидарен, но вслух согласиться и исполнить крамольное предложение пока духу не хватало.

Тонус поддерживал один только Шуляк, время от времени навещавший наши унылые заседания. Он эмоционально стыдил нас за безыдейность и безынициативность, но откуда же их взять, уважаемый экс-политрук армии, в нынешние-то времена? Пока он «полоскал мозг», мы, безучастно внимая его речам, забавлялись только тем, что считали, сколько раз он скажет свою фирменную фразу-сорняк «значит, так, да». И чем больше он возбуждался, тем чаще ее произносил. Получив комнату, я и вовсе устранился от работы в комитете комсомола. Все, время торжества единомыслия и комсомольского энтузиазма неумолимо подходило к концу. И вскоре пошли заявления простых комсомольцев о выходе из рядов ВЛКСМ, я сам знал некоторых из них. Система потихоньку сыпалась на всех уровнях.

В общем, ни шатко ни валко дело шло к знаменательной дате. Мы втайне надеялись на юбилейную праздничную «конфетку»: может, что-то выкинут из дефицита или премией какой-нибудь угостят? А может, и тем и другим. В любом случае будет несколько выходных дней.

* * *

«Все! — точно щелкнув бичом, выдала супруга. — Эту зиму, дорогой, мы должны быть с картошкой!» Я, конечно, и сам это понимал. Предыдущие две зимовки мы как-то перебивались, но с учетом грядущего пополнения семьи «второй хлеб» превращался в стратегический продукт. Тем более что на арендованном «Вектором» совхозном поле у села Верхний Коён наливались последними соками собственноручно посаженные и возвращенные драгоценные клубни — стоял благодатный август, близилась ответственная «корпоративная» картофельная страда. Погреб был нужен позарез.

Обычно самодельные земляные погреба были двух видов. «Бутылочкой» — расширяющаяся книзу полость без перекрытий, как правило на одного хозяина. И более капитальный, с накатным перекрытием из бревен. «Бутылочный» строился за два-три дня, но был менее надежным, поэтому я сразу решил на «накатный» вариант. Однако одному с бревнами не справиться, требовался компаньон. И он нашелся — Володя Фролов, сосед по этажу, у него было двое детей. Он сам мучился без овощехранилища, а средств на строительство капитального погреба с надстройкой у него, как и у меня, тогда не было. К тому же погребной кооператив «Репка» находился в Кольцове, а погреб был нужен поблизости от общаги. В последний момент изъявил желание присоединиться к нам еще один сосед по общежитию — Серёга Быков: у него тоже скоро ожидалось пополнение семьи, второй ребенок. Мы с Володей не возражали: трое — это уже «партячейка». Серёга работал в механическом цеху и обещал сварганить творило (крышку погреба). Словом, кадром он оказался ценным, тем более что вырос в деревне и в процессе строительства дал много ценных советов.

Сперва мы исследовали места скопления самодельных погребов вокруг АБК — они маячили приоткрытыми творилами: народ в августе подсушивал овощехранилища перед их заполнением. Погреба находились в лесу за водонасосной станцией и на пустыре перед ограждением больницы. Решили остановиться на лесном варианте месторасположения, к тому же гнус в августе уже особо не донимал.

Стояли погожие деньки, но нужно было торопиться. Глубокую яму с уступами для укладки бревен перекрытия вдоль вертикальных откосов втроем вырыли быстро. Работа спорилась, никто не отлынивал, мы были довольны друг другом. Порыскали в округе по лесу в поиске недавно упавших сосен (береза не годилась: ствол кривой, гниет быстро), распилили их по размеру ямы, притащили к погребу. Попутно ночью, при луне, завалили и распилили одиноко торчавший столб, проводов на нем не было. Просмоленный, идеально ровный и круглый — настоящая находка. Серёга, как и обещал, изготовил творило. Лаз в погреб выкопали чуть сбоку, с торца, обшили его досками. Установили вертикальные подпорки для поддержания наката, уложили на уступы бревна перекрытий, закрыв их рубероидом, сколотили лестницу. Засыпали и разровняли землю, не забыли и про вытяжную трубу с колпаком от дождя. Внутри погреба разгородили досками три сектора, затем укрепили, приколотив к подпоркам с одной стороны и чуть врыв в склон с другой, полочки для банок. Все! Неделя работы — и принимай, Родина, наш трудовой подарок к юбилею Октября!

Мы были довольны и горды собою — хоть методичку по «погребному строительству» садись пиши. За бесперебойное снабжение семей корнеплодами теперь можно было не беспокоиться.

Пошли дожди, мы радовались: успели! Но вот приходит как-то озадаченный Серёга: «Мужики, похоже, мы поставили погреб в водосточной ложбинке: одна стенка сочится...» Глянули: да, с такой влажностью урожай попросту сгниет. Да что там урожай: достаточно хорошего ливня — и поведет всю конструкцию... Е-мое, без сомнения, нужно рыть новый погреб. Не беда, яму выкопаем, а все остальное в наличии уже имеется.

Решили копать рядом с высоким, из бетонных плит с «колючкой» поверху, забором водонасосной станции. Только вынули земли на глубину двух штыков лопаты, как проходивший мимо мужик образумил: «Ребяты, вы что? Подкоп к ВНС-ке делаете? Первый же обход ментов — и привет! Водонасосная станция — это же режимный объект!» Нас огорошило: вот недотепы-то! Спасибо тебе, мужик!

Пошли на пустырь, где торчали маленькими холмиками чужие погребба: из соображений безопасности лучше все-таки держаться других. Пустырь на небольшом возвышении, никаких водостоков там не должно быть в принципе. Выбрали место недалеко от одного из погребов, но только начали копать, как пришел один из хозяев: «Мужики, завязывайте с работой!» Да блин! Сейчас-то что не так? Он рассказал, что погребба здесь появились еще до того, как поставили забор. Отвечаем: «Ну и что, забор чисто условный, чтоб скот не ходил, и до больницы достаточно далеко!» — «А то, — говорит. — У меня геодезист знакомый проектировал этот забор. И сказал, что, похоже, по плану забор пойдет прямо по нашим погребам! Мы с соседом чуть ли не в ножки ему бухнулись: будь другом, перенеси хоть метра на полтора в сторону! Ладно, говорит, попробую, но смотрите, чтоб больше здесь других погребов не было! Добро, говорим, мы старожилов знаем, больше никого не пустим. Так что уходите, мужики, по хорошему, не подставляйте нас!» Пришлось, глубоко вздохнув, и оттуда уйти.

Выбрали одинокое место на границе леса и пустыря под березами, от проходной ВНС-ки метров сто. Вновь довольно шустро выкопали яму, с уступами и местом для будущего лаза. На этот раз решили дожидаться дождя, чтобы изучить его последствия и только после этого уже разбирать первый неудачный погреб. Результаты эксперимента с дождем удовлетворили: стенки погребба, быстро высохнув, не сочились.

Пока работали, изучили график посещений ВНС-ки милицией. Решили, что и это неплохо, никто не осмелится «бомбить» наш погреб. Завидев патрульную машину, мы приостанавливали работу, дожидаясь, пока она заедет на территорию водонасосной станции.

Как-то, взяв отгул, я решил немного поковыряться в погреббе. Пригревало мягкое августовское солнышко, ни ветерка, я, о чем-то задумавшись, увлекся работой. Вдруг сзади дипломатичное покашливание, обернулся — передо мной милиционер: «Погреб роем?» Какой тут придумаешь ответ, с лопатой-то в руках? «Роём...» — отвечаю. «Проедем с нами!» Я тихо матюкнулся и, присыпав лопату землей, направился с ментом к «уазу».

Меня привезли в наш поселковый отдел милиции, провели в какую-то комнату, дали бумагу и ручку для написания объяснительной. Мое преступление квалифицировалось как «незаконное строительство» и, согласно Административному кодексу РСФСР, предусматривало наложение штрафа до 50 рублей и ликвидацию самого объекта незаконного строительства. Объяснительная вместе с протоколом правонарушения отправлялись на административную комиссию поселкового совета для окончательного вынесения решения и определения суммы штрафа. Не сказать, что сильно, но попал. Тьфу ты!

Административная комиссия должна была состояться через две недели, я в чем-то расписался, получил на руки предписание явиться туда-то тогда-то во столько-то и, страшно матерясь про себя, вышел, чуть не бабахнув дверью кабинета.

На невеселом «консилиуме» мы втроем «слушали-постановили»: погреб достроить. Близилась осень, скоро копка картофеля, на рытье третьего погребба ни времени, ни сил не осталось. Да и моей супруге уже вот-вот в роддом отправляться. Короче, погреб достроили. Работали в темное время суток, чтобы горящие фары машины издали были видны. Вот только никакой радости и облегчения от завершения погребной эпопеи не ощущалось, ведь могли проверить исполнение предписания насчет ликвидации «объекта незаконного строительства». Володю с Серёгой я, естественно, не сдал, а сам решил прикинуться шлангом: скажу, мол, что яму, как и обещал, забросал, а уж кто опять вынул мягкую податливую землю и достроил погреб — знать не знаю, ведать не ведаю. Пошли они...

В первый осенний день у меня родился сынок! Вроде бы все обещало вторую дочку, но я не стал торопиться покупать розовые пеленки и ленточки. Коляска нейтрального зеленого цвета осталась от дочки, которой тогда стукнул год и восемь месяцев. На помощь приехала моя мама, она помогала жене, пока я копал, сушил и спускал в многострадальный погреб картошку. У кого-то из деревенских закупили оптом морковь. «Пацан сказал — пацан сделал».

Сына назвали Ярославом. Семья в полном составе, все здоровы, запасы на зиму есть. Вот только административная комиссия близилась, чтоб ей...

Я отнес документы в поссовет для оформления свидетельства о рождении сына. Созвонившись (на первом этаже общаги висел таксофон общего пользования), договорился прийти получить документ в тот же день, на который была назначена административная комиссия, — чего два раза в Кольцово таксаться?

Пришел уже перед самым закрытием — секретарша торопилась закончить дела до начала комиссии. Мне пожали руку, сказали массу приятных слов, вручили свидетельство, красную гвоздичку и красивую открытку, где среди поздравлений и пожеланий выделялась фраза: «Радуетесь вместе с вами!» В кабинете находились другие сотрудники, они тоже радостно улыбались. Я поблагодарил, вышел и уселся на стул в холле поссовета.

Администратор, запирая дверь кабинета, поинтересовалась:

— Вы кого-то ждете?

— Нет, — отвечаю, — я на административную комиссию.

Она скрылась за дверью приемной, где обычно проходили заседания поссовета. Один за другим подходили члены административной комиссии, почти со всеми я здоровался.

Мой вопрос рассматривался первым. Пригласила войти та же сотрудница, которая только что «радовалась вместе со мной», вручая свидетельство о рождении. Назвав мое имя, она чуть заметно осеклась, выражение лица выдало некоторую озабоченность. Вошел.

— Ну, здравствуйте еще раз! — Я широко улыбнулся и сел на стул у торца длинного стола, за которым сидели сотрудники администрации поселкового совета, представители парткома, профкома, совета ветеранов, чего-то еще. Присутствовал и милиционер, незнакомый, не тот, что меня замел. Почти со всеми я был знаком если не очно, то заочно. Идейный Шуляк, обладавший уникальной способностью политизировать любой вопрос, слава богу, отсутствовал.

Зачитали информацию о «составе преступления», кто я, что я. Все молчали. Я закинул ногу на ногу и стал чуть прихлопывать свидетельством и поздравительной открыткой по ладони. Гвоздика лежала на коленях. Пауза затягивалась.

Я начал первым:

— Ну что сказать? Семья, знаете ли, растет, надо чем-то кормить. Картошку вот выкопал, а хранить негде. Начал рыть погреб, не повезло, застучали. Место выбрал на отшибе в лесу, у оврага, рядом несанкционированная свалка, деревья не валят. Ущерб государству, конечно, нанесен колоссальный.

— Ну-у, молодой человек, вы же, м-м-м, зна-а-а-ете... — неуверенно заговорил кто-то из комиссии.

Я перебил:

— Я знаю, что вы «радуетесь вместе со мной» по поводу рождения сына. — И поднял руку, демонстрируя свидетельство и открытку. — Есть, кстати, еще

дочка, почти два года. Живем вчетвером на восемнадцати метрах в общежитии на АБК. Сколько там детей! Но даже плохонького буфета нет, за молоком, за хлебом в Кольцово мотаться приходится. И я не стал бы рыть погреб, если б имел возможность купить картошку и морковку в магазине, а в Академ пока туда-сюда обернешься — уже стоимость почти четверти ведра картошки прокатаешь. Или уважаемая комиссия про это не знает?

В то время тариф городского автобуса составлял 6 копеек, тогда как тариф 119-го маршрута Кольцово — Академгородок, считавшегося загородным, — 24 копейки.

— Молодой человек, — попытался продолжить представитель комиссии, — мы все это прекрасно знаем, но...

Я вновь перебил:

— Знаете-знаете... Если вы «радуетесь вместе со мной», что сынок родился, то уж порадитесь, тоже вместе со мной, когда мои детишки картофельное пюре будут кушать.

— Не перебивайте, молодой человек! Вы могли бы построить погреб в «Репке» или договориться с кем-нибудь о хранении.

Я тяжело вздохнул:

— Понятно, значит, все-таки не «радуетесь вместе со мной». Что ж, печально... Ну не удалось мне ни с кем договориться, а строить капитальный погреб наметил на следующий год. Может быть, кто-то из вас мою картошку приютит? Нет? Между прочим, рождение еще одного строителя коммунизма — это наш с женой подарок к юбилею Великого Октября!

Все молчали. Я, взяв паузу, вновь обвел присутствовавших тяжелым взглядом:

— Подскажите мне, пожалуйста, где же зимой хранить картошку?

В ответ — тишина. И не просто тишина — удрученное, гнетущее безмолвие. Даже поднять глаза на меня никто не осмеливался, настолько я был убедителен в незамысловатой житейской правоте поставленного ребром вопроса. Нечем крыть...

Первым очнулся блюститель порядка.

— Молодой человек, не уводите разговор в сторону! — отчеканил он поставленным милицейским голосом. — Вы совершили противоправное деяние, за которое полагается административная ответственность! Вы это понимаете?

— Понимаю. — Мне стал надоедать весь этот разговор.

Ой как сразу посветлели лица членов административной комиссии, все как-то ожили, зашевелились. Еще бы, как говорили артисты Карцев и Ильченко в популярной в те годы юмореске, «товарищ понима-а-ает». Это уже немало.

Тут я вспомнил, что ни в моей объяснительной, ни в милицейском протоколе не отражена степень готовности «объекта незаконного строительства», сказано абстрактно: «погреб». И решил на хитрый ход.

— Да и о погребе, — говорю, — как таковом речи идти не может: ну вынул грунта штыка на два, делов-то!

Милиционер подвел черту:

— Предлагаю на первый раз товарища предупредить. Яму закопать.

— Не вопрос. Сделаем. Спасибо! — ответил я. — До свидания!

И, размахивая гвоздичкой, отправился восвояси. Почему-то в меня вселилась уверенность, что никто к этому вопросу уже больше не вернется, проверять погреб тоже никто не явится. Так и случилось.

А через месяц... Через месяц в нашей общаге открылся буфет, там можно было купить хлеб, разливное молоко, крупы, макаронные изделия, моющие средства, сахар, печенье, карамельки и прочее — многое из того, что через каких-то три года, в 1990-м, будет отпускаться уже не по талонам, а по карточкам. Я сохранил для истории взрослую и детскую карточки, они были разного цвета. Помню, какой драгоценностью воспринималась единственная нормированно отпущенная бутылка шампанского! Мы берегли ее как зеницу ока, до самого боя курантов в новом, 1991 году — последнем году существования Советского Союза, КПСС и правления Горби (так на Западе звали Горбачёва).

Но пока мы радовались тому, что молоко и хлеб теперь продавались под боком. Не настаиваю на том, что появление буфета на АБК стало результатом моего пламенного выступления на административной комиссии. Но все же. Это и была та самая праздничная «конфетка» к юбилею Великого Октября. Слава КПСС!

Погребом я пользовался целых три года. Первым на следующий год ушел Серёга — построился в «Репке», еще через год — Володя Фролов. Я остался единоличным хозяином нашего земляного овощехранилища. Урожай, кстати, сохранялся очень хорошо — построили на совесть.

Через год на поверхности погреба зазеленела травка, проклюнулись цветы. Приходя за провиантом, я любил посидеть на пенечке и под шелест берез послушать веселое пение лесных птичек. А зимой, откопав в снегу творило, отогрев дыханием замки и спустившись вниз, представлял себя медведем в берлоге. Потом, переехав в Кольцово, наконец-то приобрел капитальный погреб в «Репке». А свой земляной продал другому обитателю общаги на АБК за символические уже к этому времени сто рублей.

* * *

Вот, собственно, и вся история. Все произошло так, как произошло, и многое сегодня воспринимается вполне закономерным. Много лет внутри меня противной занозой сидит вопрос: а возможно ли было в нашей стране модернизировать и в целом сохранить существовавшую государственную систему без разрушения ее основ? И почему этого не произошло, ведь успешные примеры Китая или Вьетнама доказывают, что это вполне реально? Изначально Перестройка как раз и замышлялась как «капитальный ремонт» системы, недаром первыми горбачевскими лозунгами были «Перестройке — идеологию обновления!» и «Перестройка — продолжение революционного дела Октября!». И, нужно отметить, первое время советский народ с воодушевлением и даже энтузиазмом откликнулся на эти призывы, приветствуя доселе непривычные инициативы и начинания Михаила Сергеевича, даже борьбу с бичом России — пьянством — поддерживал.

Но потом, и довольно скоро, стал популярным анекдот: «Как тебе, Шарик, живется при Перестройке?» — «Как? Цепочку еще больше укоротили, миску с едой еще дальше отодвинули, зато гавкай сколько влезет!» Вскоре и «обновление социализма» завело политику Перестройки совсем не туда, став причиной разрушения всего общественного строя. Все. История судорожно перелистывала последние странички эпохи социализма. Неумолимо близились пресловутые «лихие девяностые».

Одна из причин неуспеха, которая видится мне со своей колокольни: просто в Китае пришел к власти мудрый и целеустремленный Дэн Сяопин, а у нас — неразумный, непоследовательный и говорливый первый и последний «президент СССР» Михаил Горбачёв. До сих пор, честно говоря, меня трясет от одного его голоса с южнорусским акцентом и неправильными ударениями в словах — это ведь тоже своего рода дар: сказать много и в то же время ничего, абсолютно ничего.

А с самого конца 80-х — начала 90-х годов залихорадило и родной «Вектор»: финансирование научных тем стало стремительно сокращаться, народ потянуло в стороны — кто-то слинял за рубеж, кто-то просто уволился. Численность работников НПО за несколько лет сократилась вдвое. Строительство поселка и новых корпусов на промзоне замерло, стали пустеть и некоторые сооружения на АБК. Дом культуры, гулкий и заброшенный, долгое время пугал, зияя пустыми глазницами оконных проемов.

И если родное Кольцово со временем, особенно после получения в 2003 году федерального статуса наукограда (первого за Уралом), воспряло и теперь почти ни в чем не уступает Академгородку, а здание бывшего многострадального ДК выкупила и отреставрировала для своих нужд фармацевтическая фирма «Агроресурсы», то бесхозные разрушающиеся недостроенные корпуса так и торчат сиротливо на промзоне. Хотя «Вектор», к счастью, выжил и даже ожил, но прежней численности «личного состава» сотрудников так и не восстановил. Я и сам более двадцати лет там уже не работаю, но это уже совсем другая история.

Изредка меня тянет к развалинам «исторического» лесного погребца — символа того времени. Прокручиваю в памяти разноликую пеструю цепочку событий: Кольцово — Перестройка — общага — 70-летие Октября — погреб — административная комиссия — буфет на АБК. В будущем году будем отмечать уже 100-летний юбилей Октября, а уж величать его «великим» или нет, каждый решает сам. Сынок мой, несостоявшийся «строитель коммунизма», давно вырос и воспринимает рассказ о погребце как древнее историческое предание.

С грустной улыбкой я созерцаю руины творения рук своих: бревна перекрытий подгнили, земля обвалилась. На месте пока еще угадывающегося в траве бывшего погребца-кормильца сейчас возвышается роскошный муравейник, что я нахожу весьма символичным и знаковым. Кто-то хозяйственный выгнал вытяжную трубу и снял творило — ради бога, пусть пользуется на здоровье. И все так же приезжает к проходной водонасосной станции дежурный милиционерский, пардон, полицейский «уазик», а на березках незатейливо насвистывают лесные птички.

Был бы курящим — на этом месте, наверное, закурил бы...

Кольцово, 2016 год

ИЗДАНО В СИБИРИ

— Алтайский край —

Карпухина В. Н. Литературные хронотопы: поэтика, семиотика, перевод: моногр. / В. Н. Карпухина; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Алт. гос. ун-т». — Барнаул: ИП Колмогоров И. А., 2015. — 171 с.

Научная монография посвящена хронотопической организации произведений Бориса Акунина и Михаила Булгакова. Автор определяет темпоральные, пространственные и субъектные характеристики текстов как основные составляющие поэтики данных авторов, которая рассматривается им в интертекстуальном, семиотическом и лингвоаксиологическом аспектах.

В качестве материала исследования взяты произведения, написанные в разные периоды творчества писателей: повести «Чаепитие в Бристоле», «Узница башни», романы «Азazelь», «Левиафан», «Алтын-голубас», «Сокол и ласточка», «Весь мир театр», «Детская книга» Б. Акунина; роман «Детская книга для девочек», написанный Г. Му «по сценарию» Бориса Акунина; романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман», пьесы «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич» М. А. Булгакова.

Марьин Д. В. Несобственно-художественное творчество В. М. Шукшина: системное описание: моногр. /

Д. В. Марьин; ФГБОУ ВПО «Алт. гос. ун-т». — Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. — 387, [1] с. — Библиогр.: с. 366—388.

Монография посвящена исследованию корпуса текстов несобственно-художественного творчества известного русского писателя, актера и кинорежиссера В. М. Шукшина: писем, автобиографий, дарственных надписей, рабочих записей и публицистических произведений.

Автор подробно анализирует каждый из названных жанров, выявляя особенности поэтики, стилистики, текстологии, показывает их связь с художественным творчеством В. М. Шукшина в общности мотивов и символов. Это позволяет ввести несобственно-художественные тексты Шукшина в исследовательское поле литературоведения.

Обширная источниковедческая база проведенного исследования включает в себя значительный по объему массив рукописных и машинописных текстов В. М. Шукшина из архивных и музейных фондов Российской Федерации, из частных архивов людей, некогда знавших алтайского писателя и кинорежиссера, а также рукописные источники, принадлежащие В. М. Шукшину.

*Подготовила Ольга Салос,
главный библиотекарь отдела
гуманитарной литературы
Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В. Я. Шшшкова*

Попова Т. И. Афганцы: док. повесть / Т. Попова. — Бийск: Матрица, 2015. — 117, [1] с.: цв. ил., портр.

Афганская война (1979—1989) — военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан между правительственными силами страны, Ограниченным контингентом советских войск и формированиями афганских моджахедов.

Из Алтайского края выполняли в Афганистане свой интернациональный долг 3643 человека. О тех, кто знает Афган не понаслышке, о земляках — солдатах той войны рассказывает в своей книге прозаик, руководитель детской литературной студии «Подснежник» (с. Верх-Катунское Бийского района) Тамара Ивановна Попова.

*Подготовила Елена Ширина,
ведущий библиотекарь отдела
обслуживания пользователей
Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова*

Тирская С. М. Сложить мозаику судеб...: архив. детектив / С. Тирская, В. Суманосов, Н. Орлова. — Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 2015. — 351 с.: ил., портр.

В коллективном сборнике, вышедшем в серии «Алтай: возвращенные имена», публикуются новые документы о жизни и творчестве поэтессы Белого движения Марианны Колосовой (Риммы Ивановны Виноградовой) — незаурядной женщины со сложной судьбой, уроженки с. Новообинка (ныне Петропавловского района Алтайского края). В 1922 г. Марианна покинула родину, в 1964 г. умерла в полной нищете в Чили. А стихи остались... Книга М. Колосовой «Вспомнить, нельзя забыть» (Барнаул, 2011) живет своей жизнью и стала раритетом.

Наряду с биографией Марианны Колосовой на страницах сборника воссоздается история барнаульской частной женской гимназии Будкевич, рассказывается о семье Ватман-Орловых и о сестрах милосердия Великой войны, судьбы которых связаны с Алтаем.

В издании использованы уникальные документы государственных и частных архивов, основная часть материалов публикуется впервые.

*Подготовила Алла Чадаева,
заведующая сектором общественно-научной
литературы отдела обслуживания
пользователей Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова*

— Красноярский край —

Броднева А. В. Семейный альбом Крутовских: семья красноярцев Владимира и Лидии Крутовских в контексте истории России 1881—1930 / А. В. Броднева. — Красноярск, 2015. — 142, [1] с.

Династия Крутовских занимает особое место в истории Красноярска, представители разных поколений этой семьи внесли значительный вклад в развитие города и Енисейской губернии. Имя В. Крутовского — врача, публициста, общественного деятеля — широко из-

вестно. О нем написаны книги, в Красноярске его именем назван медицинский колледж. Данное издание представляет собой фотоисторию жизни Владимира и Лидии Крутовских.

Начало фотолетописи было положено 23 ноября 1881 г. в Петербурге, когда молодые люди купили первый в своей жизни альбом и начали собирать снимки близких по духу людей. В семейном архиве сохранились фотографические портреты родственников, друзей, знакомых, встречи с которыми остались в памяти. На страницах альбома представлены также виды го-

родов, стихи сибирских поэтов, воспоминания, фрагменты писем, биографические справки, рассказывающие об изображенных на фотоснимках людях.

Бахмутов В. М. Служилый человек Пётр Бекетов / В. Бахмутов. — Красноярск: Буква Статейнова, 2015. — 323, [2] с.

Историческое повествование «Служилый человек Пётр Бекетов» стало итогом сорокалетней работы Владимира Бахмутова. Книга не является историческим исследованием в строгом понимании этого слова, это скорее авторская переработка исторического материала, связанного с жизнью и деятельностью сибирского землепроходца Петра Ивановича Бекетова. Издание содержит множество интересных фактов из истории освоения Сибири.

Характеризуя своего героя, автор отмечает, что это был удивительный человек: отважный воин, дипломат-самородок, талантливый военный строитель, руководивший возведением более чем десятка русских крепостей-острогов, умелый организатор и руководитель поисковых и боевых отрядов — «поистине государев человек».

Литераторы Енисея: от истока до устья: второе десятилетие XXI века: биогр. и библиогр. справ. / ред.-сост. С. Кузичкин. — Красноярск: Новый Енисейский литератор, 2015. — 211, [5] с.: портр.

Справочник содержит биографические и библиографические сведения о почти четырехстах литераторах, творческие судьбы которых в той или иной мере связаны с Красноярским краем.

Помимо очерков о профессиональных писателях, в сборник включена информация о людях, занимающихся литературным творчеством и заявивших о себе публикациями во всероссийских и региональных изданиях.

Статья о каждом авторе содержит краткую биографическую справку, библиографию, фотографию. «Литераторы Енисея: от истока до устья» — уже второе подобное издание, оно осуществлено спустя восемь лет с момента выхода первой книги и учитывает те многочисленные изменения, которые произошли в литературной жизни региона за прошедшее время, а также значительно расширяет круг авторов, информацию о которых можно найти на его страницах.

Коханов В. П. Дневники «Снежного барса» / В. Коханов; [ред.-сост. Г. Васильев]. — Красноярск: Растр, 2015. — 245, [1] с.: ил.

Основу книги составляют дневниковые записи красноярского альпиниста и заслуженного спасателя Российской Федерации Валерия Петровича Коханова. Титула «Снежный барс» он был удостоен в 1991 г. за восхождение на все семитысячники на территории бывшего СССР.

Записи Валерия Коханова дают уникальную возможность почувствовать «пульс времени», представить обстоятельства сложнейших переходов и восхождений и перипетии человеческих отношений в экстремальных условиях, эмоции тех, кто видел «весь мир на ладони».

Книга рассказывает о многих событиях, участником которых был В. Коханов: столбистском движении, восхождении красноярской команды на Эверест, первой автономной лыжной экспедиции через Северный полюс в Канаду, одиночном переходе через Байкал. Помимо дневниковых записей, в книге приведены и другие документальные материалы о жизни В. Коханова. Издание вышло при поддержке краевой грантовой программы «Книжное Красноярье».

Подготовила Ксения Похабова, заведующая сектором отдела краеведческой информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

Фабрика Ю. А. Пример служения России: Сибирский военный округ в Русско-японской войне 1904—1905 гг. / Ю. Фабрика. — Новосибирск: ГАУ НСО ИД «Совет. Сибирь», 2015. — 464 с.: ил.

110-летие Русско-японской войны 1904—1905 гг. не осталось незамеченным российской общественностью и российской исторической наукой. Эта война до сих пор остается «неизвестной», недостаточно изученной, а порой и просто «забытой» войной.

В представленной книге новосибирский историк на основе уникальных материалов, архивных документов, печатных изданий начала XX в. знакомит читателя с подвигами наших незаслуженно забытых предков, проливавших кровь «на сопках Маньчжурии».

Эта книга — гимн мужеству и отваге воинов-сибиряков, всегда встающих на защиту Отечества по первому его зову.

Писецкая Т. «...И эхо времени услышать» / Т. Писецкая. — Новосибирск: Изд-во ООО «Агентство журналист. исследований», 2015. — 236, [1] с.: [48] л. ил.

Каждый человек и, конечно, каждая семья — это часть истории большой страны. В новой книге Тамары Писецкой представлена полуторавековая история ее семьи с ее проблемами и радостями, слезами и победами, утратами и находками.

Чтобы не домысливать, не искажать исторических фактов, автору пришлось прибегнуть к изучению документальных источников, финансовых данных, справочников и словарей. Это и помогло ей нарисовать подлинную картину жизни

целой семьи, пройти через судьбы своих предков.

Тамара Ивановна Писецкая — член Союза журналистов, председатель правления Новосибирского Союза краеведов (2004—2011).

Красильникова Е. И. Помнить нельзя забыть? Памятные места и мемориативные практики в городах Западной Сибири (конец 1919 — середина 1941 г.): моногр. / Е. И. Красильникова. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. — 572 с.

Монография посвящена политическим и нравственным проблемам отношения советского общества к историческому прошлому России, коллективной памяти жителей провинциальных городов. В исследовании раскрыта проблематика памятных мест в городах — административных центрах Западной Сибири в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами. Представлены изменения, происходившие в исторических некрополях западносибирских городов, в сфере официальных траурных и праздничных коммемораций, в музейных подходах к репрезентациям прошлого и охране исторических памятников.

Книга будет интересна не только профессиональным историкам, этнологом и культурологам, но широкому кругу читателей, интересующихся вопросами отечественной истории XX века.

*Подготовила **Нина Глушкова**,
главный библиотекарь отдела краеведения
Новосибирской государственной областной
научной библиотеки*

Филофей (Лещинский; митр. Сибирский и Тобольский; 1650—1727). Сибирский Лествичник / святитель Филофей (Лещинский); [пер. с церков.-славян. М. Ю. Бакулин, Т. А. Сайфуллин]. — Тюмень: Рус. неделя, 2015. — 559 с.: цв. ил.

300 лет прошло со времени написания святителем Филофеем (Лещинским) этого своеобразного руководства к нравственному самосовершенствованию, в котором подробно описано сто ступеней духовного восхождения человека. В начале XVIII в. книга была подарена святителю Дмитрию Ростовскому, в чьем фонде она и хранилась в Русском историческом музее.

«Сибирский Лествичник» известен как памятник русской книжной письменности, восходящий к «Лествице» Иоанна Синайского, но являющийся ее вольным творческим переложением. За основу своего переложения «Лествицы» святитель Филофей взял ее первое печатное издание, созданное в Москве в Синодальной типографии в 1647 г.

На пути духовного восхождения в «Лествице» Иоанна Синайского тридцать ступеней — по числу «сокровенных» лет Иисуса Христа, предшествовавших его крещению и служению. Святитель Филофей, сохранив верность оригиналу с его идеей тридцати ступеней духовного восхождения человека, разделил текст на короткие главки для удобства чтения, превратив тридцать ступеней в сто.

Тобольск и вся Сибирь: альм. / [ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) и др.]. — Тобольск: Возрождение Тобольска, 2005. — Кн. 24: Бийск / [сост.: А. М. Родионов, С. В. Филатов, Ю. П. Перминов]. — 2015. — 666, [3] с.: цв. ил., карты, портр., факс.; + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Все, кто хоть однажды держал в руках уникальные тома, вмещающие в себя живую историю сибирских городов, знает, что каждый из них — находка для библиофила и ценителя полиграфического искусства.

В 2003 г. общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» приступил к осуществлению первого в России монументального книжного проекта, посвященного Сибири. Возглавил работу книгоиздатель, историк, коллекционер Аркадий Григорьевич Елфимов. Уже вышли в свет двадцать пять томов уникального альманаха, посвященные Барнаулу, Томску, Омску, Тюмени, Иркутску и другим городам.

В настоящем томе собраны очерки, посвященные Бийску.

Сказка моя! Мифы и сказки Югры / [сост. Г. Н. Библая; отв. ред. Н. В. Жукова]. — Москва; Surgut: БиблиоГлобус, 2015. — 263 с.

В рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели» вышла новая книга мифов и сказок народов ханты и манси.

Идея издания этой книги родилась еще в 2013 г., когда в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (Сургут) стартовал проект «Стойбищные чтения», направленный на привлечение внимания к чтению национальной литературы и произведений писателей, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Издание адресовано молодому поколению, а также всем, кого интересует историческое и культурное наследие югорской земли.

Баянов Е. С. Птицы Тюменской области / Е. С. Баянов; ООО «Тюмень НИИГипрогаз». — Тюмень, 2016. — 66 с.

Справочник-определитель «Птицы Тюменской области» представляет собой научно-популярное издание, предназначенное для широкого круга любителей птиц и начинающих орнитологов, и имеет прикладной характер. В книгу включены наиболее характерные виды птиц, распространенных в Тюменской области, а также редкие виды, включенные в Красную книгу Тюменской области и подлежащие особой охране.

Издание иллюстрировано множеством фотографий, сделанных автором на

юге Тюменской области во время экспедиций и полевых выездов. Большая часть снимков публикуется впервые. Справочник включает краткий перечень специальной научной литературы (атласов и определителей), содержащей более подробные описания всех видов.

*Подготовила Екатерина Фортмаер,
главный библиограф отдела формирования
универсальных и краеведческих
информационно-поисковых систем
Тюменской областной научной библиотеки
им. Д. М. Менделеева*

== Республика Хакасия ==

Суворов Г. К. Соколиная песня: стихи и письма поэта, воспоминания о нем / Г. Суворов; [сост. и авт. предисл. Л. Решетников]. — Абакан: [б. и.], 2015. — 182 с.: ил., портр.

Поэт Георгий Кузьмич Суворов родился в селе Краснотуранском Красноярского края. Окончил Абаканское педагогическое училище, после чего учительствовал в селе Бондареве Бейского района Хакасии. С первых дней Отечественной войны был в строю. Воевал в легендарной Панфиловской дивизии, затем в частях, защищавших Ленинград. В феврале 1944 г. был тяжело ранен при форсировании реки Нарвы и вскоре скончался в госпитале.

Стихи автора, публиковавшиеся ранее в красноярских газетах, в журналах «Сибирские огни», «Звезда», «Ленинград», — это хроники боевых дней, мечты о мирной жизни и философские размышления.

Глазков М. Д. Рубежи бессмертия: [очерки о Героях Совет. Союза из Хакасии] / М. Глазков. — Абакан: [б. и.], 2015. — 184 с., [1] л. портр.:

ил.

Краевед и журналист Михаил Данилович Глазков — участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант запаса. Много лет он собирал материалы для этой книги, проехал тысячи километров по местам боев, встречался с героями, их родственниками и однополчанами.

При создании книги автором использовались документы Архива Министерства обороны СССР, Главного управления кадров Министерства обороны СССР, Центрального музея Вооруженных Сил СССР, Военного отдела Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (ныне — РГБ), музеев боевой славы Тихоокеанского флота, городов Владивостока, Красноярска, Ленинграда, Севастополя.

Книга переиздана Союзом журналистов Хакасии на средства гранта Министерства труда и социального развития Республики Хакасия.

*Подготовила Светлана Ходякова,
заведующая отделом государственной
библиографии Национальной
библиотеки им. Н. Г. Доможакова*

Первая мировая война в жизни югорчан. Т. 2 / Казен. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. — Югры «Гос. архив Ханты-Манс. авт. окр. — Югры»; ред.-сост. В. Струсь. — Тюмень: Тюм. изд. дом, 2014. — 258 с.

В издании приведены краткие справочные сведения на 1870 лиц, призванных на воинскую службу в период 1890—1918 гг. Даны сводные списки потерь нижних чинов.

Издание содержит письма с фронта, известия с театра военных действий, воспоминания участников Первой мировой войны и их потомков.

Издание будет полезно сотрудникам музеев, архивов, краеведам и тем, кому интересна история Югры.

Дунин-Горкавич А. А. Собрание трудов [Электрон. ресурс] / Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. — Югры «Гос. б-ка Югры». — Электрон. текстовые дан. — Екатеринбург: Баско, 2014. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. + 1 бр. (24 с.).

В издание вошли публикации А. А. Дунина-Горкавича, исследователя севера Западной Сибири, лесничего, члена множества научных обществ Россий-

ской империи. Географические границы его научных исследований простирались от устья Тобола до Ледовитого океана, от Васюганских болот до Полярного Урала. Представлены работы автора по рыболовству и сельскому хозяйству, этнографии народов Сибири, а также основной труд ученого — трехтомник «Тобольский Север» — энциклопедический свод знаний о природе, экономике и населении региона, увидевший свет в конце XIX — начале XX в. и до настоящего времени сохранивший актуальность для исследователей.

Югре 85: история с продолжением / авт. текста А. А. Рябов. — Ханты-Мансийск: Новости Югры, 2015. — 208, [5] с.: цв. ил.

В издании рассказывается о современной истории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, начинающейся 10 декабря 1930 года, когда был подписан документ об образовании округа. В книге собраны сведения о разных сферах жизни региона за 85 лет.

*Подготовила Анастасия Кениг,
заведующая отделом краеведческой
литературы и библиографии
Государственной библиотеки Югры*



Светлана ГОЛИКОВА

ИЗ НАСЛЕДИЯ АЛЕКСАНДРА ЗАКОВРЯШИНА. ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Александр Георгиевич Заковряшин (1899—1945) — график. Специального художественного образования не получил. Работал в Минусинске, Новосибирске, Томске, Алма-Ате. Один из организаторов Минусинской группы общества художников «Новая Сибирь» (1926). Сотрудничал в качестве художника в журналах «Настоящее», «Товарищ», «Сибирские огни» (Новосибирск), газете «Красное знамя» (Томск). Участник I весенней коллективной выставки картин, этюдов, графики художников Минусинска (1926); выставки Минусинской группы общества художников «Новая Сибирь» в Минусинске (1928); I Всесибирской выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры в Новосибирске, Красноярске, Томске (1927); выставки живописи, графики, скульптуры группы художников в Красноярске (1929); западносибирских краевых художественных выставок в Новосибирске (1933, 1934, 1937); выставок произведений художников Казахстана и Средней Азии в Алма-Ате (1938—1943), Москве (1941). Участник Великой Отечественной войны, погиб под Берлином.

В многогранном творческом наследии блестящего сибирского графика 1920—1930-х гг. Александра Георгиевича Заковряшина выделяются несколько портретов писателей, связанных с историей литературной жизни нашего

края и с журналом «Сибирские огни». Эти произведения не складываются в единую серию, напротив, они отличаются разнообразием художественных средств и технических приемов, к которым обращался автор, и служат характерным примером стилистической свободы и гибкости в его творческих поисках. Появление этих портретов связано с издательскими заказами или же с откликом Заковряшина на заметные события современной ему культурной жизни.

Одним из таких событий, привлечших к себе внимание многих деятелей сибирской литературы и искусства, стал юбилей А. М. Горького, отмечавшийся в 1933 г. Незадолго до этой даты томские художники, к числу которых принадлежал в то время Заковряшин, постановили считать подготовку к 65-летию писателя одной из своих главных творческих задач. Два портрета Горького, созданные Заковряшиным в начале 1930-х гг., воплощают эту задачу и представляют разные подходы художника к ней. Композиция поясного изображения немолодого Горького определяет строгий, несколько отчужденный характер образа. Решенный в манере дружеского шаржа, портрет Алексея Максимовича, читающего журнал «Сибирские огни», исполнен с живой непринужденностью и покоряющей пластической выразительностью. Он подчеркивает ту хорошо известную роль,

которая принадлежала А. М. Горькому в становлении сибирской литературы и журналистики 1910—1920-х гг. «О “Сибирских огнях” Горький не раз говорил: “Хороший журнал, отличный журнал”. “Не затирать областной литературы”, — писал он, напоминая о “Сибирских огнях” на страницах “Правды” и “На литературном посту”», — с признательностью отмечал В. А. Итин в статье «Две встречи (М. Горький и советская литература в Сибири)», рассказывая о внимательном и благожелательном отношении Алексея Максимовича к первому краевому литературному периодическому изданию. Эта заинтересованная, дружелюбная благожелательность с большим обаянием выражена Заковряшиным в созданном им портрете знаменитого писателя.

Еще одна юбилейная дата — 70-летие со дня рождения Ромена Роллана — стала поводом для публикации в первом номере «Сибирских огней» за 1936 г. открытого поздравительного письма сибирских писателей к Роллану. Здесь же читатели журнала могли увидеть и портрет Роллана, исполненный А. Г. Заковряшиным в иной стилистике по сравнению с изображениями А. М. Горького. Воспроизводя в линогравюре известный оригинал, художник акцентирует свойственную этой технике выразительность силуэта, обобщенного красочного пятна. Прием контражура, лежащий в основе портрета Роллана, позволяет Заковряшину подчеркнуть драматическое столкновение яркого света и сгущенной тени, создавая убедительное представление о глубине и сложности творческой личности выдающегося французского писателя.

С историей «Сибирских огней» связан и дружеский шарж на Лидию Сейфуллину, помещенный в третьем номере журнала за 1934 г. На журнальной стра-

нице портрет сопровождается шутивным комментарием, отсылающим читателя одновременно и к стилистике, и к тематике произведений писательницы: «Наши историки литературы открыли, что Л. Н. Сейфуллина писала гомерическими стихами: “Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, он у торговок съестные продукты скупал”». В публикации этого шаржа легко увидеть знак неофициального, товарищеского внимания редколлегии журнала к Лидии Николаевне, входившей в круг основателей и первых авторов «Сибирских огней».

Портрет Л. Н. Сейфуллиной также исполнен в любимой А. Г. Заковряшиным технике линогравюры, художественному языку которой присущ энергичный, нередко грубоватый штрих в сочетании с большими, напряженными по тону цветовыми плоскостями. Эти выразительные возможности гравюры на линолеуме, использованные Заковряшиным уверенно и точно, позволяют ему достичь яркой гротескной зрелищности изображения. Особенностью его индивидуального почерка в этой технике служат крупные зубчатые штрихи и зигзагообразные линии, восходящие к силуэтным вырезкам из бумаги, популярным в народной городской среде 1920-х гг. В портрете Сейфуллиной, лаконично и остро передавая характерные черты ее внешнего облика: округлое лицо, огромные глаза, густую челку, скрывающую лоб, — Заковряшин создает узнаваемый образ, полный не насмешливой иронии, но живой теплоты.

Портреты писателей, составляющие лишь одну из множества граней творчества А. Г. Заковряшина, дают возможность увидеть в нем замечательного мастера, обладавшего оригинальным дарованием и ярким художественным темпераментом.

АВТОРЫ НОМЕРА

Бабилов Евгений Александрович родился в 1962 г. в р. п. Ордынское Новосибирской области. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института, работал учителем, режиссером народного театра, сотрудником Министерства культуры Новосибирской области. Автор четырех поэтических сборников, многочисленных сценариев и песен. Живет и работает в р. п. Ордынское.

Болдырев Андрей Владимирович родился в 1984 г. в Курске. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Нева», «Сибирские огни», «Эмигрантская лира», «Кольцо А» и др. Лауреат Волошинского конкурса (2015) в номинации «Рукопись неопубликованной книги». Член Союза писателей Москвы. Живет в Курске.

Виноградова Елена (Евленья) Михайловна родилась в 1962 г. в Великом Устюге. Окончила Московский текстильный институт, факультет прикладного искусства, отделение «художественный дизайн одежды», затем в родном городе — художественное училище по классу «резчик по дереву». Публиковалась в областных газетах, в «Литературной газете», в журналах «Алтай», «Нева», «Двина» и др. Живет в Великом Устюге.

Голикова Светлана Павловна — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — русский писатель. Юность прошла в Западной Сибири. С 1921 г. жил в Петрограде и Москве. Фронтовой корреспондент «Известий». Автор многих произведений художественной прозы.

Иванова Валерия родилась в 1972 г. в Иркутске. Окончила ИГУ. Публиковалась в «Сибирских огнях». Живет в Иркутской области.

Костин Владимир Михайлович родился в 1955 г. в Абакане. Окончил филологический факультет Томского государственного университета, кандидат филологических наук. Преподавал, был председателем Томского отделения Союза российских писателей. Живет в Томске.

Муратов Пётр Юрьевич родился в 1962 г. в Казани. Окончил Казанский государственный университет. Кандидат биологических наук. Автор книг «Встретимся на “Сковородке”», «Воспоминания о Казанском университете». Живет в Кольцове (Новосибирская область).

Николаенко Александра родилась в Москве, училась в Московском государственном художественно-промышленном университете им. С. Г. Строганова. Художник, иллюстратор, поэт. Живет в Москве.

Сапрыкина Серафима родилась в 1988 г. в Волгограде. Окончила философское отделение Кубанского государственного университета. Магистрант СПбГУ, направление «религиозная философия». Публиковалась в журналах «Знамя», «Ликбез», в сборнике «Новые писатели» и др. Автор книги «Падчерица речи» (2015). Лауреат премии журнала «Зинзивер». Живет в Санкт-Петербурге.

Соос Урмас родился в 1965 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «физика космоса». Работал в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе, в Национальном институте ядерной физики в Милане (Италия). С 2000 г. работает в университете г. Оулу (Финляндия) начальником станции измерения космических лучей. Автор научных и научно-популярных публикаций.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19,

тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф



Сдано в набор 6.07.2016 г. Подписано в печать 21.07.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.

Тираж 1500 экз.

<http://книгосибирск.рф>

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.